# HHCAA

7-8

TCHISLA, CAHIERS TRIMESTRIELS, PARIS

Н. Бълопевтовъ. М. Гординъ. Г. Ивановъ. Л. Кельберинъ. Д. Кнутъ. В. Мамченко. Н. Оцупъ. С. Прегель. В. Смоденскій. Ю. Софіевь. Ю. Терапіано. И. Чинновъ. Стихотворенія. — Ан. Ал. феровъ. «Дурачье». — Ек. Бакунина. Тъло. — А. Буровъ. Была земля. — З. Гиппіуст. Перламутровая трость. — Ю. Фельзенъ. Письма о Лермонтовъ. — А. Штейгеръ. Кирпичики. — В. Яновскій. Разсказъ студента. — Г. Адамо-В. ЛНОВСКІЙ. РАЗСКАЗЪ СТУДЕНТА. — 1. АДАМО-ВИЧЪ. Комментаріи. — II. Бицили. Вѣнокъ на гробъ романа. — Н. Оцупъ. Литературный дневникъ: 1. Серебряный вѣкъ. 2. Климъ Сам-гинъ. — Г. Ивановъ. О новыхъ русскихъ лю-дяхъ. — Д. Мережковскій. Блаженства. — Ю. Терапіано. Человъкъ 30-хъ годовъ. — В. Вейдие. О. Ренуаръ. — А. Луръе. Пути рус-Б. Бендас. О. Ренуарв. — А. Лурье. Пути усской школы. — Отвътъ нашимъ крити-камъ. — Г. Адамовичъ. Памяти Бодлера. — Н. Оцупъ. Поэзія въ СССР. — А. Формаковъ. Двъ могилы. — Е. Задкиндъ-Аленина. Нъмецкіе писатели о совътской Россіи. — А. Споръ о Достоевскомъ. — Берлинская хроника: 1. О Союзъ поэтовъ. 2. Объ Институтъ славистовъ. — Бабзе. Осенній Салонъ. Литературн. собранія. — Н. О. Новая постановка Лифаря. — В. В. Пинассо. Манэ. — Н. О. О выставкъ Чапска-го. — Фр. Кубка. Письмо изъ Праги. — В. В. Роспись въ Медонской церкви. — Э. Марковичъ. О фотографіи. — Н.В. Журналь Брид-жа. Въстникъ теннисной федераціи. — II. Бициали. П. Милюковъ. «Очерки по ист. русск. культуры». — А. Браславскій. А. Купринъ. «Юннера». — В. Яновскій. М. Осоргинъ. «Свидьтель исторіи». — В. Варшавскій. С. Горный. «Ранней весной». — В. Варшавскій. В. Сиринь. «Подвигь». — Ю. Терапіано. Ю. Фельзень. «Счастье». — Ю. Терапіано. Н. Берберова. «Повелительница». — Н. О. П. Бицилли. Хрестоматія. — Г. Адамовичъ. А. Буровъ. «Была Зем-ля». — Л. Червинская. А. Таль. «Клътчатое солнце». — Ек. Бакупина. В. Зензиновъ. «Le Chemin de l'Oubli» — В. Варшавскій. Маріенгофъ. «Бритый человъкъ». — В. Третья-ковъ. О латышскихъ поэтахъ. — Н. О. О варшавскихъ поэтахъ. — Ю. Терапіано. Объ Ар-сеніи Несмъловъ. — Н. Андреевъ. Вацл. Бъгоунекъ. «Русская литература за пятильтку». --Н. Андреевъ. Левъ Славинъ. «Наслъдникъ». — Е. Бакунина. «Русская сказка». — Л. Теплицкій. Б. Николаевскій «Исторія одного предателя».— В. Варшавскій. М. Алдановъ. «Земли, люди».— А. Браславскій. Шишмаревъ. «Тихонъ Тимофеевичъ и его практика». — Къ юбилею «Современныхъ Записокъ». — Матеріалъ для девятой книги. — Оглавленіе.

### АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ:

1, Rue Jacques Mawas, Paris (XV)

# ЧИСЛА

СБОРНИКИ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ НИКОЛАЯ ОЦУПА

КНИГА СЕДЬМАЯ ВОСЬМАЯ

1 9 3 3

Если бы можно было, Перелетъвъ столътья, Перелетъвъ могилы, Въ тълъ возстать иномъ,

Какъ прилетаютъ въ клѣти Голуби съ вѣстью къ милой, Какъ прибѣгаютъ дѣти Съ пѣснями въ отчій домъ.

2.

Ничъмъ, ничъмъ, ни призрачной улыбкой Развъянныхъ по небу лепестковъ, Ни приступомъ безпомощной и зыбкой Мольбы твоей, ни всплескомъ робкихъ словъ, Ни умиленьемъ, ни любовнымъ жаромъ, Ни нъжностью, расцвътшей въ сердцъ старомъ, Ни рокотомъ классическихъ поэмъ, Ни солью слезъ, ничъмъ, ничъмъ, ничъмъ...

Мы съ тобой бродили по старинному городу; Надъ нами высокія башни спѣшили въ лазурь, Мраморныя нимфы ниспадали въ брызгахъ каскадовъ, Золотые орлы со шпилей пытались взлетѣть.

Но намъ было грустно. Такъ въ праздничный полдень Еще больнъе томитъ обычная тоска, Такъ еще сильнъе ощущаешь всю пыль переживаній, Выговаривая громкое слово: любовь.

И намъ казалось: мы сидимъ въ пріемной у дантиста, Гдѣ рыжая рухлядь вазъ и грязный коверъ, И, перебирая старые, захватанные журналы, Видимъ тамъ этотъ городъ и въ немъ — себя.

2

Glaubt ihr an die offenbare, sichtliche Einwirkung einer bösen Macht?

E. T. A. Hoffmann

Когда съ рельсъ сойдя, съ легкимъ сладостнымъ свистомъ Повздъ спотыкаясь мчится, круша себя, Когда разбрасывая балки, известь и сваи, Охваченный пламенемъ рушится домъ,

Когда испуганнаго убійцы синеватый ножъ Безвольно вонзается въ покорную плоть, Когда вдругъ въ ночи падаютъ бомбы На влажный отъ сна и тумана городъ,

Тогда странно какъ то яснъетъ въ душъ, И — благоговъніе и трепетъ! — видна надъ міромъ Въ небъ гладкомъ и плоскомъ, какъ потолокъ, Громадная тънь недвижной руки.

# ГОРОДЪ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Вашъ городъ, Нина Александровна — веселый городъ Ходятъ тамъ люди не просто, а въ припрыжку. Отъ башни къ башнѣ протянуты канаты, И на нихъ пляшутъ въ полдень львы и медвѣди. Все въ вашемъ городѣ пестро и забавно: Дома раскрашены, какъ пасхальныя яйца, Аэропланы танцуютъ въ небѣ аэропланные балеты, Даже ночью кувыркаются люди или звѣри, Чтобы ни на минуту не прекращалась суматоха. Только иногда на городъ находятъ словно тучи И на лица пляшущихъ падаютъ тѣни. Точно они все готовы отдать за совсѣмъ простое утро И за немногія, простыя, какъ небо и хлѣбъ, слова.

Душа человъка. Такою Она не была никогда. На небо глядъла съ тоскою Взволнована, зла и горда

И вотъ умираетъ. Такъ ясно, Такъ просто сгорая до тла — Легка, совершенна, прекрасна Нетлънна, блаженна, свътла.

Сіянье. Душа человѣка Какъ лебедь поетъ и груститъ, И, крылья раскинувъ широко, Надъ бурями темнаго Вѣка Въ беззвѣзлное небо летитъ.

Надъ бурями темнаго Рока Въ сіянье. Всего не успъть... Дымъ тянется... Слъдъ остается...

И полною грудью поется, Когда уже не о чемъ пъть.

2.

Часъ отъ часу. Годъ отъ году. Про Россію, про свободу Про послъдняго царя.

Какъ въ него прицъливали, — Какъ его разстръливали. Зря. Все зря.

Помолиться? Чтожъ молиться... Только время длится, длится Да горитъ заря.

Какъ ребята баловали, Какъ штыкомъ прикалывали — Зря. Все зря.

Сильнъе жизни? Горя нътъ такого, Зачъмъ - же плакать жалкими слезами! — Все выше, выше, млечными стезями, Изъ глубины туманнаго, земного...

Все тише, тише, въчнымъ приближеньемъ Какъ хорошо забыть о человъкъ...

— О гдъ теперь, безпомощнымъ движеньемъ Вы креститесь, мои закрывши въки?

2.

И то не нужно, и другое... И ты уходишь понемногу, Ты думаешь быть ближе къ Богу Въ ночи блаженнаго покоя.

Уже ты близокъ къ средоточью Сферъ, исчезающихъ въ эфирѣ, Ты дышешь музыкой и ночью Почти забывъ о нашемъ мірѣ.

Да, но и мы тебя забудемъ И равнодушно спросилъ имя, Когда ты возвратишься къ людямъ. Чтобъ умереть, хотя - бы, съ ними.

Для жизни, которая камнемъ лежитъ, Но больше для той, о которой молили: Для счастья, которое долго томитъ, Для горя, которое скоро забыли,

Для дальнихъ, кого мы могли - бы любить, Могли - бы любить и любить не сумъли, Для легкости въ этомъ безсмысленномъ тълъ, — Мнъ кажется, стоило, все - таки, жить.

Все тѣ же декораціи — забытыхъ переулковъ Средневѣковый воздухъ и покой. Кривые фонари, и стукъ шаговъ негулкихъ, Печаль и сонъ пустыни городской.

Глухія зданія на старомъ звѣздномъ фонѣ. — Зайдемъ въ кафэ. (Не холодно - ль тебѣ?) Тамъ хриплый рваный голосъ въ граммофонѣ Споетъ намъ — не о нашей ли судъбѣ.

Я ждалъ тебя давно: предвидълъ и предслышалъ. Я зналъ, что ты придешь и улыбнешься мнъ Своей улыбкою (милъе нътъ, ни — тише...) Съ такимъ довъріемъ, какъ будто мы во снъ.

Знакомы мить твой грустный лобъ и плечи, И нъжное дыханіе твое, И токъ души живой и человъчьей... Я зналъ тебя до нашей странной встръчи, И полюбилъ тебя давно.

Вокругъ — все то же: ночь, глухія зданья. На башнъ бьетъ какъ - бы послъдній часъ. Но глазъ твоихъ стыдливое сіянье, Но грусть твоихъ непримиримыхъ глазъ, (Ихъ гордое, мятежное безсилье..!) Но грусть и страсть неутоленныхъ глазъ Все измънили, все преобразили, Все переплавили, освободили насъ

Отъ міровой, отъ безпощадной власти — Для счастья краткой встрічи городской, Для темнаго безвыходнаго счастья, Чреватаго горячею тоской.

2.

По твоимъ виновато - веселымъ глазамъ, По улыбкъ твоей, воровато - невинной, По твоимъ постаръвшимъ — мгновенно — губамъ, По испуганнымъ пальцамъ, прелестнымъ и длиннымъ, Задрожавшимъ чуть - чуть въ моей твердой рукъ, По сердечному, острому, краткому стуку, По мгновенной, смертельно - блаженной тоскъ, (Когда я цъловалъ замиравшую руку) Я узналъ обо всемъ. Я все понялъ, мой другъ. Я воочію видълъ: обманутъ и преданъ.

И ушелъ. И вступилъ въ очистительный кругъ — Одиночества, грусти, свободы, побъды.

Туманами образы отъ рая до ада Изъ болотъ до вершинъ, къ изступленью И стынутъ смертельною лънью, И цъпкими взмахами падаютъ. Измъряетъ въ душъ полуночные будни Спокойное райское море, Въ жизни безумное горе Безъ въры, любви — блудное. Усталость природно разумная — Постоянной, невольной бъдности — Силится душу на звъзды нести Въ послъднюю, умирая, грозу. Кто то упорный любви хотълъ, Чтобъ на землъ (въдь больше нигдъ) Изъ-за счастья скомканныхъ дълъ -Корчилось битое тъло.

2.

О тишинъ мельчайшаго дробленья, Изъ ничего оглохнувшаго зова — Луна молчитъ и море изъ низовъ Буранами застыло въ звеньяхъ. Молчитъ душа, взметенная насильемъ Невольной жизни — райскаго закона, Умъ загнанный молитвою закованъ И снится бунтъ ему о силъ.

Тяжелымъ шагомъ Демоны повисли Надъ простотой — о, такъ безумной, — рая И слово въ горлъ пламенемъ сгораетъ. Взлетаютъ вдругъ и замираютъ мысли. И умираетъ ночь, какъ умираетъ день, Такіе разные и равные другъ другу, Сжигая образы по облачному кругу, Молчитъ душа, безлюдная вездъ.

3.

Лъсъ, вечеръ, покой,
Пролетаютъ торжественно птицы,
Умираютъ звъздныя лица
Въ травъ подъ ногой.
Замираетъ въ вискахъ на днъ
Напряженность скользкаго гнъва.
...Запахъ ушедшихъ дней,
Западъ осенній въ огнъ...
На деревьяхъ цвътетъ тишина,
— Покорный, привычный плънъ —
Такъ, не сжимая колънъ,
Въ любви догораетъ жена.

За конторкой бюро, У прилавка бистро, Въ камеръ Г. П. У. И на свътскомъ балу,

И свободные и несвободные, Всъ мы сердцемъ и жребіемъ сходные.

Отдается въ наемъ, Продается на сломъ, Разрушаются стъны кирпичныя, Повторяются сцены обычныя. . .

Эти ночи въ звѣздахъ, Эти сны о деньгахъ, Эти граждане, эти правительства, Эти подвиги, эти мучительства

И о счасть в своемъ Разговоры в двоемъ.

2.

Для силы сладострастія — Любви нераздъленность, Для нъжнаго участія — Надежда и влюбленность... Но будни, если у двоихъ Вся тайна мира и согласія, По образу въ любви святыхъ Пульхеріи и Афанасія,—

Такой распространяють свъть, Что вамъ о жизни назначеніи Не надо спрашивать: отвъть Весь въ непрерывномъ воплощеніи.

Городъ дътства, блаженная грусть Этихъ улицъ мнъ такъ знакома. Отъ гимназіи и до дома Знаю вывъски всъ наизусть. Помню ранца стукъ на бъгу, Молоко въ плетеной корзинкъ. На скалистомъ, зломъ берегу Ищетъ сердце дътства тропинки. Всъ начала и всъ концы, Все наличье счастья земного — Городъ дътства, весна, скворцы, Даже блъдные леденцы, Что краснъютъ въ памяти снова!

2.

Притихъ базара гулкій улей, Усталъ отъ крика и жары. Надъ мѣдно желтою кастрюлей Остановилися пары. Изсохла хлѣбная лепешка Въ іюльскомъ воздухѣ густомъ, И распластавшаяся кошка Виляла медленнымъ хвостомъ. Цвѣты и зелень никли вяло, И былъ такой горячій свѣтъ, Такое солнце осѣняло, Что даже розовый мѣняла Дремалъ надъ горкою монетъ.

Въ этомъ мірѣ стыда и полушекъ Прегрѣшенья его сочтены. Блѣденъ ротъ, оттопырены уши, Подъ колѣномъ истерты штаны. Это мальчикъ убогій и хворый, Что земли до конца не постигъ, Весь источенный мудростью Торы, Именуемой Книгою Книгъ. Эти руки, не къ небу ль воздѣть ихъ? Не къ тому ль кто безмѣренъ и золъ?.. И часами въ рѣшетокъ просвѣтѣ Онъ мелькаетъ и смотритъ какъ дѣти На площадкѣ играютъ въ футболъ.

### 4.

Стучится дождь незначущій и робкій, Проносить рыбъ клеенчатый рыбакъ. Въ промокшемъ домѣ тишина и мракъ, Забытый соръ и пыльныя коробки. Дворняги лаютъ медленно, безъ силъ, Дрожатъ листы на лужѣ синеватой. Давно ужъ гость звонка не теребилъ, И вотъ вчера каштанъ прощальный сбилъ Послѣдній дачникъ палкой суковатой!

Если ты любишь кого - нибудь больше себя, Если ты въришь кому - нибудь такъ какъ себъ, Если въ отвътъ никогда не любили тебя, Если солгали и лгали, и лгали тебъ.

Рано иль поздно объ этомъ узнаешь и ты. Рано иль поздно — о, если - бъ ты могъ не узнать! — Остановится сердце, окаменъютъ черты, И прозръютъ глаза и уже не сомкнутся опять.

Можешь тогда, ты того человъка убить, И Господь не осудить тебя и душа не осудить, Можешь тогда, ты того человъка простить Но еще тяжелъе тебъ послъ этого будетъ.

Потому - что убивъ ты не сможешь его позабыть, Потому - что простивъ ты не сможешь его разлюбить.

2.

Семь буквъ, три слога, слово, имя, Ты — Сіянье изъ небесной темноты.

Семь буквъ, какъ цѣпь стальная — не порвать, Семь буквъ, до смерти ихъ не дописать,

Три слога, три крыла, взметая прахъ Какъ вътры пролетаютъ въ небесахъ.

Одно простое слово, но оно Какъ уголь до бъла раскалено. Въ томленіи смертномъ, на смятой постели, Хрипя, задыхаясь, томясь Отъ боли и страха... Но ангелы пъли Надъ комнатой душной кружась.

Никто ихъ не видълъ и пънья не слышалъ — Всъ знаютъ что Ангеловъ нътъ — Томилась душа и стонала все тише, И гаснулъ за окнами свътъ.

Но ангелы пѣли — кружась надъ душою, Цѣлуя оскаленный ротъ — О вѣчномъ блаженствѣ, о вѣчномъ покоѣ, О славѣ надзвѣздныхъ высотъ.

I.

Отъ загара и отъ вътра бурый Надъ волнами ты имъешь власть. Днемъ работаешь — толково, хмуро Чинишь ты разорванную снасть.

Ну, и я, старикъ, тружусь до пота Подъ немолчный и глухой прибой. Ты смъешься надъ моей работой И качаешь бълой головой.

О тебъ я думаю: счастливецъ!
Ты въ мой трудъ не въришь — блажь и ложь.
Думаешь: "бездъльникъ и лънивецъ"
Помогать тебъ къ сътямъ зовещь.

А когда угаснетъ день несносный, Трудъ дневной и мы доволочимъ, Приходи на дальніе утесы — Посидимъ, покуримъ, помолчимъ.

2.

Все выпито. Послѣдняя, пустая Бутылка убрана. Уже разсвѣтъ. Летитъ обыкновенная дневная, Земная жизнь — навстрѣчу и въ отвѣтъ.

Выходимъ мы на улицу глухую (Чуть обозначенъ городъ по утрамъ). Друзья мои, подумайте, какую, Какую жизнь поднять хотълось намъ!

Она еще въ рукопожатьи каждомъ. ... Всплываетъ шаръ. Плыветъ въ туманъ влажномъ. Изъ черныхъ трубъ густой клубится дымъ И грохотъ утреннихъ телъгъ по мостовымъ.

3.

Я быль плохимь отцомь, плохимь супругомь, Плохимь товарищемь, плохимь бойцомь. Обманываль испытаннаго друга, Лгаль за глаза и льстиль въ лицо.

И дъвушекъ довърчивыхъ напрасной Влюбленностью я мучилъ вновь и вновь. Но вмъсто страсти сильной и прекрасной Унылой похотью мутилась кровь.

Но Боже мой, съ какой послѣдней жаждой Хотѣлъ я вѣрности и чистоты, Предѣльной дружбы, братской теплоты, Съ надеждою встрѣчался съ каждымъ, съ каждой.

Отъ ненависти, нъжности, любви Останется въ мозгу воспоминанье, Желчь въ печени, соль мудрости въ крови, Усталость въ голосъ, въ глазахъ — сіянье.

Когда нибудь — прійдутъ такіе дни — Я жизнь пойму, мной взятую невольно, Совсъмъ одинъ, вдали отъ всъхъ, въ тъни, И станетъ мнъ такъ ясно, пусто, больно.

И я почувствую себя безъ силъ, И будетъ тайное мое открыто: Все, для чего я лгалъ, молчалъ, гръшилъ, Что про себя таилъ. Моя защита,

Любовь моя, окажется жалка — Какое ей придумать оправданье? Какъ въ воздухъ просъять горсть песка? Жизнь лишь обманутое ожиданье.

Да, часто къ Богу я въ слезахъ взывалъ, Преображенья ждалъ, добра и чуда, Но не пришелъ никто, не отвъчалъ Ни съ неба, ни изъ праха, ниоткуда.

Умъть молиться, върить и любить, Найти слова, спокойныя, простыя, Быть искреннимъ — нельзя. Намъ страшно жить; Неправедные, ко всему глухіе,

Среди людей, пронзенныхъ древнимъ зломъ, Ночами, въ свътъ безъисходномъ, ложномъ, Тревожимые внутреннимъ огнемъ, И ты и я, всегда о невозможномъ

Зачѣмъ мы думаемъ, сестра моя? Стучатъ шаги. Надъ городомъ печальнымъ Міры — іерархія бытія — Нѣмыя звѣзды. Въ ларчикѣ хрустальномъ

Ключъ счастья спрятанъ гдѣ то на лунѣ; Багдадскій воръ несется на пегасѣ По облакамъ за кладомъ. Если бъ мнѣ!..

— Что дастъ намъ счастье? Въ каждомъ нашемъ часѣ,

Въ минутъ каждой мъста нътъ ему, И въ жизни нътъ спасенья, нътъ покоя. Идти сквозь одиночество и тъму Домой — ты знаешь, что это такое.

Я за весною пошелъ. Путь не открылся далекій. Въ близкую, долгую мглу Канетъ, кончаясь, мой слъдъ.

Снится чужая земля. Сердце забьется и смолкнеть. Сердце весною, зарей, Синью полно и мертво.

2.

Меркнетъ дорога моя. Боли не выскажу людямъ. Болъе пътъ не могу, Сердце смолкаетъ мое.

Счастье мерцало и миъ. Канула капля слъпая. Слабая мгла глубока. Рано смеркается смерть.

До самого конца Иванъ Осиповичъ Хлыстовъ жилъ своей обычной жизнью — "какъ всъ". Только въ послъдній день за ужиномъ онъ, вдругъ, всталъ изъ-за стола и сказалъ, обращаясь почемуто не къ хозяину-французу, а къ русскому сосъду: "Эхъ, вы! — супа - и того не умъете приготовить! "Слова были произнесены по французски громко и дерзко въ присутствіи всѣхъ завсегдатаевъ. Ивана Осиповича съ бранью выпроводили... Затъмъ его видъли танцующимъ въ дансингъ часовъ до одиннадцати вечера; половина двънадцатаго — онъ разговаривалъ на улицъ съ Сычевымъ (Сычевъ былъ пьянъ и помнитъ только, что Иванъ Осиповичъ казался бурно-веселымъ, безпрестанно хлопалъ его по плечу, за что-то хвалилъ, разсказалъ о своемъ уходъ съ завода — его въ этотъ день сократили—и на прощанье далъ пять франковъ на водку), а въ двънадцать онъ повъсился. Когда на утро прислуга вошла въ комнату, то колъни его почти касались пола, малъйшее, даже безсознательное усиліе могло спасти его отъ смерти... Вотъ и косякъ оконной рамы, черезъ который онъ перекинулъ веревку. Хозяйка разръзала ее потомъ на двадцать три части и распродавала по десяти франковъ за обръзокъ. Послъдній — самый маленькій и оборванный достался мнъ, какъ подарокъ за небольшую услугу. Онъ и сейчасъ лежитъ у меня на полкъ въ трюмо, на немъ еще уцълъла съроватая пыльца отъ высохшаго мыла.

Хлыстовъ не оставилъ послѣ себя ничего: все его богатство заключалось въ засаленномъ костюмѣ, съ заложенной въ боковой карманъ предсмертной запиской. Она содержала одно только слово: "Дурачье"!

Скучно въ нашемъ пригородъ и пусто — до тоски. Даже этотъ суррогатъ времени, что остается послъ работы, вымученный десяти-

часовымъ трудомъ, обезкровленный и безвкусный, какъ спитой чай — мить въ тягость. Хочется все думать, думать... а думать не о чемъ: отъ жизни тошнитъ.

Иногда по вечерамъ къ заходу солнца выхожу побродить по улицамъ, навъстить знакомыхъ — не своихъ (своихъ у меня нътъ), — хлыстовскихъ. Но и здъсь не легче: на улицахъ душитъ чужая толпа, а у знакомыхъ — свое, родное.

Вотъ они — знакомые... неотвязною тънью скользящіе за мной въ пропасть, маленькіе, жалкіе, уязвленные люди — обыватели — какъ я.

### ЕГОРЪ ПЕТРОВИЧЪ СЫЧЕВЪ И КЕЛЬНЕРША АННА ИВАНОВНА

Сычевъ работаетъ на постройкъ чернорабочимъ. Онъ высокъ, худъ, мускулистъ, широкоплечъ, одътъ въ дырявый "комбинезонъ", на затылкъ апашская каскетка, лътъ ему — за сорокъ. Почти каждый вечеръ передъ "шабашомъ" его можно видъть въ верхнемъ окнъ зданія съ ладонью, козырькомъ прижатой къ бровямъ, съ пьянымъ взглядомъ, устремленнымъ куда-то вдаль черезъ Парижъ, черезъ все видимое — онъ "провожаетъ солнце". Къ работъ онъ явно не пригоденъ, его терпятъ за чудачества, за дътское благодушіе, за безпримърное, стоическое непостоянство въ исполненіи обязанностей.

Съ Анной Ивановной они знакомы уже нѣсколько мѣсяцевъ. Вопреки слухамъ Егоръ Петровичъ вовсе не волочится за ней, онъ только умиляется передъ окружающей ее атмосферой женственности и благопристойности. Ему, напримѣръ, пріятно бываетъ ласкать ея ребенка, называть его самыми нѣжными, ни на что не похожими именами, съ многозначительнымъ видомъ повторять незначущія, случайно оброненыя ею слова, сидѣть на ея стулѣ...

Анна Ивановна — кругленькая, румяная дама, похожая, по словамъ Егора Петровича, на сдобный пирожокъ съ жару, ходитъ по ресторану, какъ боярышня, лебединой поступью, что завсегдатаевъ приводитъ въ восторгъ, а у новыхъ людей вызываетъ усмъшку. Ее можно было-бы назвать совсъмъ миловидной если-бы не странноровное, холодное и тупое сіянье глазъ, словно у изваянья Будды или женщины съ улицы. Когда Анна Ивановна сердится (это случается

при подсчетъ чаевыхъ), ея глаза надменно сощуриваются, лобъ наливается блогородною кровью (ея дъдъ былъ при дворъ). Анна Ивановна, несомнънно очень цъльная натура. Лишь три вещи сбиваютъ ее съ толку: 1 — несоотвътствіе между добромъ и воздаяніемъ, 2 куда дъвались прежніе военные? 3 — почему она родилась не при дворѣ Людовика 14-го? Всю остроту этихъ положеній особенно живо испытываютъ на себъ двое людей — мужъ и Егоръ Петровичъ. Мужъ — бывшій военный — "мямля", съ первыхъ дней совмъстной жизни пріученъ чувствовать себя неблагодарнымъ, хотя женой не нахвалится и работаетъ, какъ рабъ; "Мой мужъ ничъмъ не замъчателенъ — любитъ говорить Анна Ивановна — но онъ славенъ своей женой!" Сычевъ — бъдняга, ему и военнымъ-то совсъмъ не привелось быть (онъ — бывшій судебный следователь), добра отъ Анны Ивановны, по совъсти, не видалъ, но всю вину за ея "убъжденія" безоговорочно взваливаетъ на себя. Тому есть особая причина. Тутъ начинается такая чепуха, что и разсказывать стыдно.

Однажды въ субботу вечеромъ забрелъ къ Егору Петровичу въ чуланъ товарищъ по работъ — закадычный и въроломный другъ. по прозвищу — Интеллигентъ. Интеллигентъ принесъ съ собою двъ бутылки водки, краюху хлъба и штукъ восемь соленыхъ огурцовъ. Друзья напились до одурънія. И тутъ-то Интеллигентъ подползъ къ уху Сычева и конфиденціально сообщилъ ему, что Анна Ивановна въ него влюблена. "Врешь, — прохрипълъ Сычевъ — этого не можетъ быть, это не иначе, какъ насмъшка!" Но блаженная улыбка расплылась по его лицу, глаза посоловъли, онъ размечтался. Другъ торжествовалъ, какъ могъ. "Теперь вообрази... — пролепеталъ онъ Егору Петровичу, прыская со смъху — вообрази, что я — Анна Ивановна, а ты — Егоръ Петровичъ... и что-бы ты сказалъ или сдълалъ?!" Сычевъ опрокинулъ стаканъ и страшнымъ взглядомъ въ упоръ взглянулъ на Интеллигента, затъмъ, не спуская глазъ, приподнялся на отяжелъвшихъ ногахъ, повелительно протянулъ къ двери указательный палецъ и гаркнулъ зычнымъ голосомъ на весь домъ: "Пошла вонъ, потаскуха!!"

На слѣдующее утро на его привѣтствіе Анна Ивановна отвѣтила уничтожающимъ молчаніемъ. Егоръ Петровичъ бочкомъ подобрался къ ней и попытался жалкими словами снискать снисхожденіе; онъ такъ пресмыкался, несъ такую околесину, что Анна Иванов-

на удостоила, наконецъ, его презрительнымъ взглядомъ. Сычевъ воспрянулъ духомъ.

- Анна Ивановна, голубушка, печальница вы моя, сказалъ онъ въдь, слова мои не въ обиду вамъ, а въ честь, не такъ все это надо понимать, въдь, я-же прежній Егоръ Петровичъ...
- Вы гадкій, низкій, распущенный, неблагодарный человѣкъ тихо отвѣтила Анна Ивановна оставьте меня въ покоѣ: я васъ ненавижу.

При первой встръчъ съ Интеллигентомъ Сычевъ вытянулся во весь ростъ, судорожно сжалъ кулаки. "Подлецъ, какъ только я терплю тебя!" — процъдилъ онъ сквозь зубы. Интеллигентъ — человъкъ мелкаго тълосложенія — съежился весь, оскалилъ зубы и грустно хихикнулт, въ рукавъ.

Анна Ивановна не злопамятна, черезъ нѣсколько дней все было забыто. Но Сычевъ помнитъ; съ тѣхъ поръ онъ еще болѣе опустился, сталъ совсѣмъ ползучимъ растеніемъ и всѣ грѣхи Анны Ивановны беретъ на себя.

И что самое удивительное, оба продолжаютъ оставаться при твердомъ убъжденіи: Егоръ Петровичъ — что въ него влюблена Анна Ивановна, Анна Ивановна — что въ нее влюбленъ Егоръ Петровичъ.

### ГИТАРИСТЪ ТРИШКА

Тришка — таково его прозвище — служилъ на одномъ заводъ съ Хлыстовымъ и былъ съ нимъ знакомъ. Четыре года онъ слылъ героемъ труда: не гнушался никакой работы, никогда не впадалъ въ отчаянье и, вдругъ, — "свихнулся". Все пошло прахомъ, за нъсколько непристойныхъ, шальныхъ поступковъ его съ позоромъ выгнали. Передаютъ, будто онъ преднамъренно попортилъ части новыхъ машинъ, звърски избилъ шефа, а вечеромъ уже навеселъ, забъжавъ въ какое-то бистро, обхватилъ руками чугунную печку, вырвалъ ее вмъсте съ трубою и принялся кататъ по полу, приговаривая: "И тебя и всъхъ, и тебя и всъхъ — презираю!" Съ тъхъ поръ прошло мъсяца два, на работу онъ уже не поступалъ, жилъ, какъ "бабочка", за комнату не платя, объдая где-то въ кредитъ, все свободное время посвящая гитаръ и пънію — "искусству".

Я какъ-то не удержался — спросилъ, что-же это его такъ вы-

било, изъ колеи. "Тришка" взглянулъ на гитару и улыбнулся кротко и нъжно, какъ ребенокъ.

- А вотъ она, все она... отвътилъ онъ.
- Вы уже давно играете?
- Скоро два мъсяца.
- Подучились?

"Тришка" подозрительно покосился на меня, тоскливый, скорбный огонекъ блеснулъ въ его глазахъ (и какъ такой человъкъ могъ избить шефа?).

- Плохо... ни слуха, ни голоса! тихо, словно вздохъ, сорвалось съ его устъ.
  - Но какъ-же такъ, что-же заставило васъ пойти на это?!
  - А вотъ просто такъ взялъ и заигралъ...
  - И гитару купили?
- Гитару? нътъ... На заводъ лотерею у насъ устроили: ну, вотъ и выигралъ... Съ этого и пошло.
  - Такъ. Что-же дальше предполагаете дълать?

"Тришка" сразу перемънился, онъ какъ-то ушелъ въ себя, только глаза одни — глаза затравленнаго волка — косо и зло остановились на мнъ (вотъ такой могъ и машины исковеркать и шефа избить).

— Иггать, пить и гулять! — вызывающе отвъчаль онъ, сразу переходя на офицерскій говоръ. — Не угодно-ли лучше закугить? Или, можеть быть, выпьете гюмку водки?...

## мученица

Нужно сказать, что Въра Карловна вообще не выносить евреевъ; евреи, это — саранча, бичъ земли, корыстные виновники всъхънашихъ бъдствій. Богъ противъ того, кто за нихъ. "И чего они всъ не поъдутъ въ эту ихнюю Палестину? — задумчиво говариваетъ она. — Поъхали-бы, перегрызли-бы другъ-друга, и дъло съ концомъ!" Если кто-нибудь скромно возражаетъ, что и евреи — люди, Въра Карловна усмъхается. "Какіе-же это люди, государь мой? — благо-душно отвъчаетъ она — Развъ это люди?.. Это — хамово отродье!"

"Абрамъ" для Въры Карловны — наказанье Божіе. Она ночи не спитъ при мысли, что въ квартиръ — въ е я квартиръ живетъ

этотъ "извергъ рода человъческаго". Его постоянное невидимое присутствіе отравляетъ ея жизнь, какимъ-то неумолчнымъ волчкомъ онъ втирается въ ея нехитрыя думы, чертомъ мерещится ей во снъ. "Оставь ты его въ покоъ! — часто твердитъ ей мужъ. — Что онъ тебъ дался? Парень онъ славный, за квартиру плотитъ исправно... Гдъ ты найдешь такого? И такъ еле концы съ концами сводимъ!" Въ такихъ случаяхъ Въра Карловна обычно умолкаетъ изъ любви къ мужу и изъ страха передъ возможнымъ денежнымъ кризисомъ. Но какъ она тогда клянетъ въ душъ то роковое стеченіе обстоятельствъ, что свело ее съ "Абрамомъ"!...

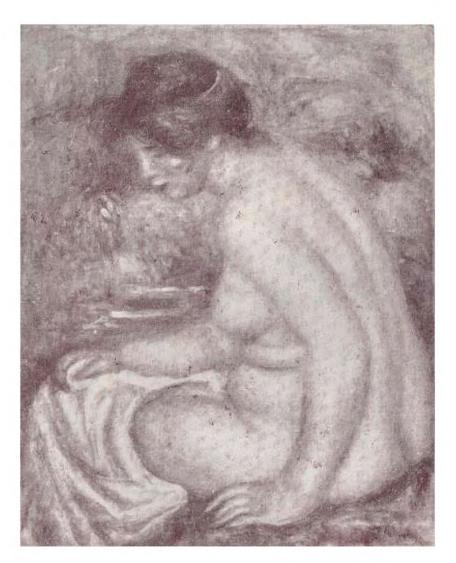
Съ годъ тому назадъ, послѣ Пасхальной Заутрени повстрѣчалась Вѣра Карловна Птицына съ группой старыхъ знакомыхъ, гдѣ былъ и "Абрамъ" — въ тѣ времена извѣстный ей лишь по наслышкѣ. Начались, какъ водится, взаимные разспросы, поздравленія, христосованья... по очереди подходятъ къ ней; на душѣ свѣтло и радостно. И видитъ Вѣра Карловна, приближается къ ней "Абрамъ" — самъ не свой, на лицѣ такая грусть, что и сказать нельзя; подошелъ, протянулъ вздрагивающую руку и шопотомъ повторилъ за всѣми: Христосъ Воскресе! Конечно, она отвѣтила, не задумываясь. Именно тогда и было порѣшено сдать ему комнату.

"Абрамъ" — самый обыкновенный еврей "изъ простыхъ": носъ у него съ горбинкой, надъ губой и на вискахъ пробивается синеватый пушокъ, дъвичій румянецъ, волосы — курчавые; говоритъ онъ съ анекдотическимъ акцентомъ и нисколько этого не стъсняется; работаетъ — маляромъ. "Абрамъ", или за глаза — "Абрашка" — какъ всякій еврей, обидъ не забываетъ, но мимоходныя повседневныя оскорбленія сносить легко и охотно прощаеть ихъ при одномъ намекъ на раскаянье. Въръ Карловиъ онъ прощаетъ все даже безъ раскаянья "за доброе сердце". "Ви можите менья увърать и говорить все, что вамъ захочется — отвъчалъ онъ ей обыкновенно — но я вамъ все равно нье повэру!" Бывало сидятъ они втроемъ за чаемъ, и вотъ Въра Карловна начинаетъ разсказывать мужу, какъ-бы не замъчая "Абрама": "Ты знаешь, Темкинъ-то — разорилъ Арбузова, совсъмъ по міру пустилъ... а въдь какой ръдкостный человъкъ!.. И всъ они такіе, и всего-то ихъ съ горсточку, а сколько людей сгубили!" "Абрамъ" лѣниво вскидываетъ глаза. "Проклятый жидъ!" — меланхолически бросаетъ онъ. Въра Карловна тотчасъ-же



Ренуаръ. Письмо.

Renoir. La lettre.



Ренуаръ. Купальщица.

Renoir. Baigneuse.

вскипаетъ, и много, бывало, надобилось мужу времени, чтобы возстановить миръ...

Мало по малу разговоры за столомъ стали сокращаться, потомъ у "Абрама" объявились заказы, онъ перешелъ на самостоятельную работу и уже совсъмъ пересталъ показываться на глаза. Но мученій отъ этого у Въры Карловны не убавилось. Совсъмъ недавно я слышалъ такой разговоръ между нею и мужемъ:

- Нѣтъ, я не могу, я умру, это выше моихъ силъ! жаловалась она вѣдь отъ одного запаха его въ пору хоть въ Сену бросаться!
- Вздоръ! холодно отвъчалъ мужъ. Да хоть-бы и запахъ отъ какого маляра не пахнетъ скипидаромъ?
- Скипидаромъ?! Да развѣ это скипидаръ?! Ты понюхай любого спекулянта и почувствуешь точно такой-же запахъ!
  - Такъ чѣмъ-же это по твоему?

Въра Карловна какъ-то согнулась по-старушечьи, оглянулась по сторонамъ, перекрестилась и медленно проговорила съ дрожью въголосъ:

— Ко-пы-томъ...

Птицына окончила въ Россіи гимназію съ золотой медалью.

Какая досада, какая тупая, смертная тоска наблюдать за всъми этими людьми! Пусть это только осколокъ цълаго, пыль эпохи, кривая усмъшка жизни — но въдь это-жъ люди, въдь это-жъ русскіе, въдь это-жъ мы?!

Бъжать отъ нихъ! Но отъ нихъ не убъжишь... Бороться съ ними! Но какъ бить лежачаго?.. Ихъ презирать! Но они-же любятъ меня, они — повсюду со мною, они — во мнъ, они, это — я!

Лицо Хлыстова въ зеркалъ становится все пасмурнъе и пасмурнъе.

ЕК. БАКУНИНА

TBIO

Введеніе въ романъ.

То что я пишу отъ перваго лица, вовсе не значитъ, что я пишу о себъ. Мое я потеряно и замънено образомъ женщины, отлитой случайно обрушившимися условіями по типовому образцу. Въ этой женщинъ я тщетно пытаюсь найти исчезающее, расплывающееся — свое. А нахожу чужое, сходное съ другими. Слъдовательно и разсказывая о себъ, я говорю о другихъ. Мнъ только удобнъе разсматривать этихъ другихъ черезъ себя. Виднъе. Такъ нътъ ничего скрытаго, ошибочнаго, ложнаго, выдуманнаго.

Сейчасъ я долго смотръла на себя въ зеркало. Я видъла лицо. которое совершенно не выражаетъ того, что за нимъ. Между тѣмъ это мое лицо. Случайная смъсь длиннаго ряда покольній. Я совсьмъ не хочу имъть такое лицо. Не только потому, что оно некрасиво (хотя некрасивая женщина — неудавшійся замысель), а потому, что въ немъ нътъ моей сущности. Въ круглыхъ карихъ, маслянистыхъ глазахъ нътъ ни горънія, ни бунта. Въ спокойномъ состояніи они сонливы и невыразительны. Въ минуты отчаянья (я замътила), глупы. Нътъ ничего безсмысленнъе карихъ глазъ — они всегда похожи на телячьи. Щеки уже не выръзаны правильнымъ нъкогда оваломъ — сказываются годы. Между изломанными темными бровями — двъ продольныя морщинки. Темно рыжіе, остриженные тифомъ волосы, почти прямы и гладко зачесаны назадъ. Лобъ большой, выпуклый; широкій, татарскій носъ; жестко (или горько) по бабьему поджатый ротъ. Потомъ начинающій отвисать подбородокъ и вянущая шея. Тъло еще твердое, но уже начинающее полнъть.

Все это меня возмущаетъ нестерпимымъ контрастомъ между сущимъ и должнымъ. Съ какимъ остервенѣніемъ я сорвала бы эту старѣющую кожу, выбросила груди, колышущіяся при ходьбѣ, вырвала ненавистные, не такіе какъ хочу, глаза. Родиться съ неудоб-

нымъ женскимъ тѣломъ и быть урѣзанной изъ за внѣшности въ своихъ возможностяхъ! Въ этомъ есть нѣчто непоправимое и озлобляющее меня. Но приходится выносить свою наружность и все остальное. Не могу назвать "міромъ" это остальное. Слишкомъ ограничена сфера и срокъ моего бытія и я сама ограниченное существо. Совершенно ясно, что многое недоступно мнѣ только потому, что я женщина. Форма моего тѣла и связанныя съ нею особенности усложняютъ и обезцвѣчиваютъ существованіе. Нахожу въ этомъ завѣдомую несправедливость. Жизнь поэтому возбуждаетъ мой гнѣвъ.

Ея какъ бы нътъ. Для человъка живущаго воспоминаніемъ о прошломъ и мечтою о будущемъ, котораго не будетъ — настоящее не существуетъ. Оно не то, не пріемлется мною и всегда остается позади. Каждый данный моментъ уже прошелъ. Я вступаю въ слъдующій, самъ собою связанный съ чъмъ то для меня неизвъстнымъ. Все навсегда запутано. Я ничего не понимаю. И я уроженка неблагополучной страны, гдъ и гладъ и моръ, мятежъ и гнетъ смъняли тругъ друга и гдъ неожиданно, ни съ того, ни съ сего, рождались и смутьянили души Достоевскій и Толстой, Бакунинъ и Ленинъ. Я изъ Россіи, перевернувшейся вверхъ дномъ.

Живя — утопая, захлебываясь, я растеряла весь тотъ грузъ, который даетъ человъку устойчивость. Стыдъ, долгъ, Богъ, нравственный законъ — все, съ чъмъ пускаются въ плаванье, пошло ко дну, а я всплыла какъ бочка, съ которой сорваны обручи и которую распираетъ извнутри.

Совершенно непонятно и невъроятно то, что я живу въ Парижъ. Если начать разматывать клубокъ воспоминаній, то нить приведетъ къ чиновному петербургскому дому, дачъ въ Петергофъ и наслъдственному мъсту на кладбищъ. Въ домъ была ровная, однообразная, тягучая, въками устоявшаяся жизнь. Въ ней разросталась, ширилась и все заполняла собою скука, корни которой питались твердой увъренностью въ томъ, что будущее можетъ быть только повтореніемъ прошлаго. Однажды вечеромъ, захлопнувъ крышку рояля, я ушла къ поразившему мое воображеніе извъстному пъвцу и предложила ему себя съ равнодушной дъвичьей любознательностью къ тому, что будетъ. Пъвецъ оказался грубымъ, миъ было больно и непріятно (обдъленность пода сказалась уже тутъ). Я ушла запачканной съ однимъ желаніемъ — не вспоминать о томъ, что было. Но эпизодъ,

бывающій мимолетнымъ для мужчины, для меня затянулся навсегда. Навязанное мнѣ тѣло забеременѣло, пѣвцу пришлось жениться. Это и есть мой мужъ. Банальная случайность, которою почти всегда бываетъ моментъ становленія женщиной, обратилась въ позорную и неопрятную привычку. Въ силу нея, я съ мужемъ измѣняю самой себѣ и иногда пытаюсь найти утраченную вѣрность въ случайныхъ и рѣдкихъ измѣнахъ.

Институтъ современнаго брака включаетъ въ себя адюльтеръ, дающій успокоеніе нервамъ и освѣжающій застаивающуюся до затхлости супружескую жизнь. Къ сожалънію я не принадлежу къ числу тъхъ поверхностныхъ мужеподобныхъ, спортивныхъ женщинъ, для которыхъ одинъ изъ видовъ спорта — любовь — протекаетъ легко. разнообразно и пріятно. Меня не удовлетворяєть и легковъсное упражненіе душевно - сексуальныхъ эмоцій, именуемое флиртомъ. Я серьезна и женственна, вольнолюбива и въ то же время есть во мнъ нъчто, жаждущее безграничнаго подчиненія. Но перешагнувъ, какъ мив кажется, черезъ то, что именуется условною моралью — я постоянно наталкиваюсь на внутренніе запреты несовм'єстимых в этимъ понятіемъ поступковъ. Странная явь моего существованія воспринимается мною поэтому тяжело. Особенно тягостна мнъ покорная, все выносящая преданность мужа. Женившись по необходимости, онъ съ годами привязывается все больше и больше. Мое же отношеніе къ нему развивается въ обратномъ смыслъ. Я почти ненавижу его за свое отвратительное къ нему милосердіе, разслабляющую жалость, унижающее состраданіе. Жалость вообще разъедаетъ меня, какъ материнская любовь.

Отъ чиновнаго Петербурга и Петергофа сохранилась у меня приверженность къ музыкъ, бездумному бездъйствію, шелесту листьевъ, движенью облаковъ и морскому простору. А жить приходится въ тъсной квартиръ парижскаго большого дома, шумъ котораго непрерывно раздражаетъ. Но у дома есть призрачный сосъдъ, осколокъ прошлаго — старый, покривившійся и подпертый деревянной балкой домишка. Въ отдаленныхъ кварталахъ Парижа еще сохранились кое гдъ такіе умирающіе дома съ трогательно уцълъвшими передъ ними деревьями, кора которыхъ черна какъ сажа и подъ которыми на убитой землъ растетъ не трава, а зелено - желтая плъсень. Такіе дома кажутся подслъповатыми, въ нихъ есть что - то

безнадежное и не знаю, что меня въ нихъ привлекаетъ, но скверную свою квартиру я сняла именно изъ за сосъдства такого полумертваго выщербленнаго, крошащагося какъ гнилые зубы домишки. Рядомъ съ нимъ, на пригоркъ, наполовину заслоняющемъ мои окна, посъръвшая отъ дождей древняя балюстрада: каменныя кегли съ шариками наверху. Шарики кое гдъ сбиты. Откуда она? Надъ нею лоскутъ неба, а въ небъ лопасти листьевъ ближняго каштана.

Этотъ старый домъ осужденъ на сломъ и когда я гляжу на него, мнѣ все кажется, что онъ снится мнѣ. И жильцы въ немъ тѣни, многолѣтніе, доживающіе свой вѣкъ. Вверху старуха со вставнымъ глазомъ, фіолетовыми волосами и попугаемъ и высохшій старикъ въ ермолкѣ. Внизу — въ одной половинѣ — вязальщица съ парализованными ногами. Она всегда вяжетъ, придвинутая къ окну. Ея блѣдные, непрерывно шевелящіеся пальцы, похожи на кишащихъ червей. Полупьяная консьержка носитъ ей остатки пищи. Консьержка пьетъ потому что у нея убили въ Марокко сына. Окно другой половины всегда завѣшено грязной, выцвѣтшей соломенной цыновкой. За нею прячется зеленоватая женщина въ черномъ и раздутый, бѣлый какъ рубцы или вымоченная телячья голова, ея мужъ - часовщикъ. Этихъ людей и этотъ домъ я вижу цѣлыми днями. Но жильцовъ большого дома, гдѣ я живу, — я не знаю. Съ ними я встрѣчаюсь только въ полутьмѣ лѣстницы. Запертыя двери и больше ничего.

Въ моей квартиръ никогда не бываетъ солнце. Она прямо на землъ и отдаетъ погребомъ. Поэтому она дешева. Въ окна видно все что дълается внутри и ихъ надо завъшивать тюлемъ. Тюль пылится и отъ него въчная полутьма. Но если за нимъ меня не видно и не слышно, то мнъ все видно и слышно и чужая жизнь назойливо врывается въ мою. А во дворъ все время перекликаются люди.

Утро начинается разговоромъ одноглазой старухи съ консьержкой, потомъ, съ проходящими мимо въ дворовую уборную, эписьеромъ и мясникомъ, съ женой часовщика, съ часовщикомъ, съ попугаемъ — старуха ужасъ какъ говорлива. Голосъ у нея отвратительно хриплый, дребезжащій; у консьержки сиплый басъ, у эписьера сладкій, поющій фальцетъ, мясникъ говоритъ баритономъ, часовщикъ гнуситъ, у жены его голосъ приглушенно тихій, точно горло ей заткнули кляпомъ. Лаютъ двѣ собаки, гоняясь за кошкой консьержки. Эписьеръ и мясникъ весь день что нибудь скребутъ и моютъ подъ

краномъ, находящимся снаружи окна моей спальни. Мнъ кажется, что запахъ помоевъ проникаетъ сквозь стъну, а вода льется въ самой комнатъ (запахъ и звукъ — мои основныя воспріятія). Я задыхаюсь — у меня больное сердце. Когда же открываю окно — то комната наполняется противной смъсью жавеля, которымъ консьержка моетъ лъстницы и нечистой дворовой земли, а мнъ надо отвъчать на стереотипныя фразы и улыбаться отвътными улыбками. Я закрываю окно. Становится опять душно.

Пъвецъ давно потерялъ голосъ и теперь сталъ шофферомъ. Въра, моя дочь отъ него, ходитъ въ лицей. Ей уже шестнадцать лътъ. Случайно зачатая, она вросла сначала въ мое тъло, а потомъ въ душу, какъ ядовитый наростъ, сосущій соки. Она цъпко привязываетъ меня къ тому постоянному пересиливанью, перемоганью себя, какимъ является моя жизнь съ того момента, когда съ брезгливымъ удивленіемъ, отвращеніемъ и сознаніемъ безповоротно совершившагося несчастья, я увидъла ее, выдавленную изъ себя, безпомощно свъшивающуюся съ ладони акушерки, еще опачканную кровью и слизью, багрово сизую, казавшуюся мяснымъ комкомъ, вырваннымъ изъ моего живого тъла.

Ужасно слащавы и смѣшны изображенія мадоннъ надъ розовыми младенцами, вообще обожествленіе рожденія! Одно изъ безобразнѣйшихъ, унизительнѣйшихъ насилій на которое обречена женщина... Стоитъ только представить себѣ рожающаго Іисуса Христа или Доріана Грея, чтобы то, что привычно пріемлется, предстало совершенно неописуемо нестерпимымъ. Дьявольски постыдный шаржъ, но опять лишь на женщину. Моментъ страсти, которымъ ограничивается роль мужчины въ дарованіи жизни, можетъ быть, въ какомъ то рѣдчайшемъ, почти не существующемъ сочетаніи — красивымъ. Роды всегда срамны.

Мить было чрезвычайно трудно освоиться съ мыслью, что я больше не принадлежу себть, что въ любое мгновеніе и при всякомъ настроеніи меня назойливо можетъ позвать къ себть постоянно марающееся, мутноглазое, ненасытное существо. Меня возмущали набухавшія груди, требовавшія сосанья и я себть казалась похожей на какое - то крупное отелившееся или ощенившееся животное. Однажды ночью Втра такъ измучила меня крикомъ и своею ненужностью, что я ртво швырнула свертокъ съ ней на кровать. На мгновенье мить

захотълось вовсе избавиться отъ нея, но тотчасъ же я ощутила пронзительную жалость къ ея безпомощности. Именно изъ сознанія ненужности ребенка никому, если ужъ мнѣ не надо, возникла ничѣмъ не оправдываемая, губительная для личности, самозабвенная, жертвенная материнская любовь. Все отдать и ничего, ничего взамѣнъ не ждать! Это стало какъ бы моей второй натурой, и эта любовь, какъ крапива жгучая, какъ крапива же стала глушить желаніе что то спасти для себя, уберечь душу отъ безсмысленнаго расточенія.

Въра все больше становится похожа на отца, а отецъ тъмъ болъе становится чуждъ мнъ, чъмъ болъе у меня накопляется случаевъ для сравненія его съ другими. Онъ огрубълъ отъ работы, пьетъ, нечистоплотенъ. Въ Россіи я почти не жила съ нимъ подъ однимъ кровомъ, такъ какъ онъ часто уважалъ на гастроли. Здвсь я вынуждена спать съ нимъ въ общей постели. Это и то, что съ этимъ связано, такъ мучительно, что я по ночамъ работаю, часто до разсвъта. На мое несчастье, женскіе пальцы воспріимчивы къ шитью. Я вышиваю шелковыя платья. Уже давно слъпну надъ этой работой. Ненавижу ее, тугью отъ нея, въчно хожу невыспавшаяся съ красными бълками глазъ. Но все-таки это лучше, чъмъ работать по мастерскимъ, какъ я дълала раньше. Дома нужны мои руки, Върг требуетъ ухода. И хотя я считаю ее стороннимъ, насильно вторгнувшимся въ меня и насильно вышедшимъ изъ меня существомъ — у меня къ ней всепревозмогающее, прощающее чувство. Она же требовательна, груба, эгоистична.

Въ квартиръ есть нъкій акустическій фокусъ. Въ мрачномъ корридоръ, начинающемся отъ входной двери и упирающемся въ кухонную, вслъдствіе плохихъ дверныхъ и оконныхъ створокъ даже въ тихую погоду слышится по временамъ стонущій вой — воздушная тяга, сквознякъ. Когда же погода вътряная — корридоръ завывываетъ какъ буранъ. А въ комнатахъ внезапно начинаютъ стучать водопроводныя трубы. Вой наводитъ на меня тоску, стукъ пугаетъ (пугливость, граничащая съ трусостью, позорно неотдълима отъ моего пола).

Впрочемъ страхъ, тоска и непониманіе того что во мнѣ и вокругъ меня — стало моимъ обычнымъ состояніемъ, вѣроятно вслѣдствіе нездоровыхъ условій жизни, лишенной радостныхъ ощущеній. Въ своихъ полутемныхъ двухъ комнатахъ я двигаюсь, совершая все

ть же повторныя дъйствія, подобно разъ навсегда заведенному автомату. Стандартная русская женщина въ эмиграціи. Та, которую революція и послѣдовавшіе за ней разрушительные годы, отъ юности вразъ перенесли къ преддверію старости и втиснули въ однообразный, неизбъжный укладъ. Вотъ также точно какъ я (а, говорятъ, я — неповторимо), по отелямъ и по квартирамъ, изъ угла въ уголъ, изо дня въ день. Тождество сомнабулъ. Сонъ, отъ котораго никакъ не проснешься. Мнъ кажется страшно смотръть на меня (и на нихъ) со стороны. Молчаливая или тихо бормочущая сама съ собой тень. Иногда я тихонько пою. Но у меня превосходный слухъ и безобразный голосъ. Вслъдствіе этого я не выношу своего пънія и умолкаю, какъ только начинаю слышать, что запъла. Многое изъ того, что я дълаю, я замъчаю не сразу. Напримъръ того, что у меня беззвучно шевелятся губы. Или шепчутъ. Что я улыбаюсь своимъ мыслямъ — (върнъе — кривлю ротъ), что, бываетъ, останавливаюсь посреди комнаты и долго стою, какъ помъшанная. Можетъ быть и впрямь тъ, кто какъ я — изъ угла въ уголъ, изо дня въ день — немного помъшаны. Было отъ чего помъщаться каждой.

Значительную часть дня (за вычетомъ домашнихъ работъ) я провожу согнувшись за иглой. Но случается, что ничего не въ состояніи дълать — напримъръ передъ обычнымъ нездоровьемъ — и поджавъ подъ себя ноги, сижу на жесткой кровати съ остановившимися глазами. Страшная душевная подавленность (вліяніе того, что независимо отъ меня происходить въ моемъ тълъ) выражается въ это время въ томъ, что у меня до боли въ груди стъсняется дыханіе. Я чувствую себя совершенно, совершенно одинокой, какъ если бы я была одна въ непроницаемой камеръ затонувшей подводной лодки — и въ то же время противопоставленной тому непостижимому нагроможденію событій, какимъ является міръ. Возможно, что великіе философы, основатели религій, поэты или избранные писатели давно разръшили мое недоумъніе передъ жизнью. Возможно, Но не передо мною самой. Я — частный случай съ сопутствующей этому случаю цепью фактовъ, освещаемыхъ извнутри. Этотъ внутренній свъть иногда ослъпляеть какъ молнія, но затъмъ лишь, чтобы ярче увидъть въ мгновенномъ прозръніи необъяснимое безсмысліе этого прозрѣнія, если ничего невозможно измѣнить. Все же книги единственный способъ ослабить узы. Но, какъ и большинство женщинъ, я не читаю ничего кромъ литературной дребедени, случайно попадающей въ руки. Я даже не успъла переварить тотъ запасъ знаній, какой пріобрътался изъ своеобразнаго снобизма — моды на науку — существовавщаго въ Россіи. Уродливый пореволюціонный бытъ въ корнъ подсъкъ всякаго рода снобизмъ. И вотъ я тычусь своимъ умомъ, какъ слъпой котенокъ мордой, въ непонятное, темное, неизвъстное. Иногда набиваю шишки. Мудрыя же путеводныя книги мнъ недоступны. Даже въ газетъ я пропускаю первыя двъ страницы и перехожу къ происшествіямъ и фельетонному роману.

Но за то я не только не пробъгаю равнодушно рубрику происшествій, но подолгу думаю надъ каждымъ человъческимъ несчастіемъ или крупной катастрофой. Я мысленно ставлю себя на мъсто пострадавшихъ и въ моемъ одиночествъ достигаю чрезвычайнаго искусственнаго сосредоточенія на каждомъ событіи, какъ бы вживаюсь въ него. Такъ я послъдовательно становлюсь — самоубійцей, раздавленной землетрясеніемъ, заживо похороненной, утопающей, замерзающей или сгорающей, разбивающейся на смерть при полетъ или изуродованной автомобилемъ, потерявшей ребенка (особенно мучусь надъ случаями Айседоры Дунканъ и Линдберга) или облитой сърной кислотой и т. п. Я довожу себя до полной очевидности и когда зрълище страданія становится совершенно нестерпимымъ — предстаютъ неразръшимые дътскіе вопросы — почему и зачъмъ. И непримиримое: за что.

И ясно, что разъ неизвъстно почему и зачъмъ, и за что — другимъ, то значитъ и меня ждетъ какое нибудь несчастіе (дохожу до совершенной увъренности въ этомъ). И вотъ я должна жить и ждать, не будучи въ силахъ ничего ни отвести, ни предотвратить. Конечно, сильнъе всего страхъ за Въру. Въру я хотъла бы уберечь отъ всего міра и, пожалуй, цъной всего міра, такъ чтобы пушинка не упала на ея жесткіе отъ стрижки темно-русые волосы. (Гипертрофія материнскаго чувства преображается въ жестокую готовность не только собой, но в с т мъ пожертвовать. Богородицы — конфетки материнства, Рафаелевы трафареты, слъдовало бы поэтому замънить болъе правдивымъ символомъ, вродъ многорукой богини Кали съ вымазаннымъ кровью ртомъ)... Но я знаю, что Въру ждетъ неизбъжность и что въ этомъ моя вина, вина давшей жизнь. Иначе какъ виной я это не считаю, не могу считать послъ Россіи... Въ предъльномъ развитіи

— мысль: было бы лучше если бы Въра умерла. Тогда ужъ спокойно... Но дрожу за нее при малъйшемъ заболъвании...

Что мы погибаемъ — очевидно. Старъемъ и силъ все меньше, а жить все труднъй. Цъпляемся за свой жалкій уголъ, но кажсрокъ квартирной платы задолго является кошмаромъ и надолго истощаеть послъ. Михаилъ Сергъичъ шофферъ никуда не годный. Онъ близорукъ, нервенъ, неумълъ. У него постоянно несчастія, а въ благополучные дни онъ зарабатываетъ до смѣшного мало. Послъднее же время, случается, и вовсе ничего не привозитъ. Женскій трудъ вообще оплачивается грошами, но и его становится все меньше. Говорятъ, мое шитье скоро прекратится вовсе. Никому не нужно вещей. Кризисъ... Въ газетахъ все чаще случаи семейныхъ самоубійствъ (точно "семейныя бани"). И способъ установился: газовый кранъ. Мнъ особенно памятенъ случай въ набитой золотомъ Америкъ. Въ жутко замолкшемъ "флятъ" (такъ тамъ зовутъ человъчьи конуры), взломали дверь и нашли мертвыми отца, мать и сына. Лампочка горъла въ изголовьи кровати мал:чика, книжка выпала изъ сонныхъ рукъ. Рядомъ, на стулъ, закушенное яблоко и недопитый стаканъ воды. Мальчику дали сначала уснуть. Онъ ничего не зналъиего увели съ собой, чтобы не оставлять Такъ и было написано въ предсмертной запискъ. А олного. умерли потому что стало не на что жить. Невозможно стало заработать деньги — состарились. Это были русскіе.

Неужели мнѣ такъ придется поступить съ Вѣрой и это будетъ высшимъ проявленіемъ моей любви? (Убійства изъ состраданія тоже въ большомъ ходу, но убиваютъ больныхъ. Какъ будто жизнь здоровыхъ не есть перемежающаяся и все усиливающаяся боль). Смогу ли пройти черезъ это? Какъ начнется этотъ день?

Все будетъ какъ всегда — обѣдъ, можетъ быть даже лучшій, чѣмъ обычно: напослѣдокъ. Чаепитіе, разговоръ. Я куплю Вѣрѣ полфунта сушеныхъ абрикосовъ — она ихъ любитъ, но я никогда не въ состояніи купить ей больше четверти фунта. Передъ сномъ я ее поцѣлую, поглажу по головѣ, приложусь щекой къ ея щекѣ, преклонивъ голову къ подушкѣ. (Ни единой слезы. Все въ себѣ). Потомъ подоткну одѣяло подъ матрацъ и присѣвъ буду ждать, когда смежатся длинныя Вѣрины рѣсницы. Я буду мысленно видѣть ее только что родившейся, еще нелюбимой, неомытой, красной, скользкой, съ

прилипшими къ темени влажными, темными волосами. Потомъ сосущей, пальчиками перебирающей мою грудь и косящей на меня однимъ глазомъ... Вотъ она стоитъ въ опрокинутой вверхъ дномъ табуреткъ... Ползаетъ, смѣшно ѣздя на малиновомъ задкѣ и загребая ногой. Наконецъ, нетвердо ступая, едва удерживая въ равновѣсіи свое тѣльце — ходитъ... А первая ея улыбка, первый невнятный слогъ — мма - мма - мма, и первое боязливое слово — "хоха" (о шумящей въ клозетѣ водѣ). И вотъ вплотную передъ нею будетъ послѣдняя хоха — смерть. Хватитъ ли у меня любви это сдѣлать? Надо - ли? О томъ — вправѣ - ли — не думаю. Вѣдь нельзя же ее оставить одну, какъ не оставили того мальчика. А намъ жить дольше будетъ нельзя и для Вѣры мы ужъ ничего больше не сможемъ сдѣлать.

Въ темномъ углу, наединѣ сама съ собой, я забываю о томъ, что стоитъ лишь сбросить навожденіе одиночества, выйти на свѣтъ, на воздухъ, въ паркъ или просто на улицу, чтобы снова захотѣть жить и не только для Вѣры, но и для себя и чтобы срокъ жизни показался ничтожно краткимъ, а смерть совершенно невозможной, такъ что какъ будто ея никогда и не будетъ, потому что немыслимо допустить, чтобы была. Можетъ быть съ другими и бываетъ, но не со мной, не съ нами... Или гдѣ то далеко, такъ что не видно... И не надо смотрѣть туда.

Но въ моемъ погребъ - склепъ, — мысли безысходны. Въ Бога я не върю. Какой Богъ, когда возможны война и разстрълы, матери, грызущія отъ голода руки и поящія кровью дътей (Китай). Матери пожирающія дътей (Россія). Отвратительныя, неизлечимыя бользни. Омерзительные пороки. Гибель, гибель, гибель, — на сушъ и на моръ, въ небъ и на землъ. Молиться некому.

Близкихъ у меня тоже нѣтъ. Кровные, которые всегда были обременительно - ненужными — убиты или затеряны въ Россіи. Душевные — растворились по городамъ и годамъ. Мужъ — чужой. Вѣра — пустота. Съ любовникомъ я разошлась. Просто знакомыхъ не люблю. Когда я слышу, что кто нибудь подходитъ ко входной двери и нашариваетъ звонокъ, я замираю, какъ будто это подкрался сбѣжавшій сумасшедшій. Не шевелясь и притаившись, я пережидаю, когда прекратятся повторные звонки и пришедшій уйдетъ, думая, что меня нѣтъ дома. Иногда люди не довольствуются звонками, а, обойдя дворомъ, заглядываютъ сквозь тюль въ окно и стучатъ въ

него... Зловъщій стукъ пальцевъ по стеклу... А я стою гдѣ нибудь за шкафомъ, красная, съ бьющимся сердцемъ, чувствуя себя отталкивающей, подобной насторожившемуся спруту. (Въ музеѣ Океанографіи я видѣла какъ забившійся въ зеленую, тинистую дыру бѣлесый, надутый спрутъ, съ выпученными, неотрывными, злыми глазищами, дѣлался лиловымъ отъ сладострастной алчности, когда набрасывался на дохлую рыбу. Долго потомъ бываю разстроена, въ какомъ то нелѣпомъ испугѣ, съ нарушеннымъ строемъ мыслей; но постепенно всѣ отстали. "Васъ никогда дома нѣтъ".

Намученная такъ за день самой собою, я бываю рада, когда возвращается Въра, а иногда и мужъ. Поздно онъ не ъздитъ—плохо видитъ. Хлопочу, суечусь возлъ нихъ, принимаю и подаю, спрашиваю и отвъчаю. Слова каждый день почти одни и тъ же. Иностранцу было бы легко научиться понимать семейные разговоры. Потомъ наступаетъ пора ложиться спать.

Писатели зачъмъ то выдумали любовь. Будто бы существуетъ безпредъльная душевная близость, нъжность, нъга, страсть, наслажденіе, раствореніе другъ въ другъ, дополненіе другъ друга, красота формы и красота содержанія, беззав'тная преданность, неразрывность, гармонія взаимнаго влеченія, соотв'єтствіе между таинственной сущностью жизни и обстановкой, въ которой она протекаетъ. Это все взрывчатыя слова. Изъ за нихъ въ моей убогой жизни тлъетъ фитиль неодолимаго желанія встрътить хотя бы подобіе такой любви. Каждая женщина хочетъ этого. Романтизмъ въченъ и не въ этомъ ли секретъ успъха наивныхъ романовъ и кинематографическихъ фильмовъ, любовныя перипетіи которыхъ вызываютъ слезы на глазахъ. Настоящія слезы! Я мысленно изм'тняю мужу съ выдуманными героями. Иногда пытаюсь делиться съ нимъ и Върой своими романами. Мужъ, хохоча, говоритъ: "Ну, Въра, мама опять влюблена? "Въра же на всъ мои "бредни" повторяетъ: "Любить можно только богатаго. Я выйду замужъ за инженера, хоть какого угодно урода, только чтобы много зарабатывалъ. У меня будетъ шикарная квартира и автомобиль... "Никакой романтики эта дъвочка не признаетъ. Я же вынашиваю образъ своей любви (которой ужъ никогда не будетъ).

Ночью, когда за желѣзными ставнями затихаютъ людские голоса и отчетливѣй становится слышенъ глухой шумъ города — у меня нѣмѣютъ спина и руки. Мнѣ кажется, что шитье мое длится вѣчность и никогда не кончится. Я сплю, бодрствуя. Лампочка затѣнена синимъ сукномъ, отъ этого въ настоящее вдругъ вклинивается кусочекъ прошлаго:

...первый классъ, спальное купэ, мягкое покачиванье вагона, розы на столикъ, удушливый ароматъ, спокойствіе увъренности въ будущемъ, довъріе къ мчащему паровозу, любимость...

— Мужъ спитъ и всхрапываетъ, за тонкой стъной сонно вздыхаетъ Въра, а я на мягкомъ шелкъ выстилаю крестъ за крестомъ. Пестрый узоръ, рождаемый моею рукою, единственное во всемъ окружающемъ меня, что носитъ на себъ въяніе искусства. Его насыщенные тона напоминаютъ о солнцъ, просторъ, о вътръ, треплющемъ расшитый рукавъ, о кажущейся легкости чьихъ то жизней... Но скупые обрывки моихъ мыслей отъ воспоминаній, романовъ и ужасовъ неизмънно возвращаются въ кругъ домашнихъ дълъ: какъ бы не опоздать къ сроку, а то больше не дадутъ работы, да хватитъ ли заплатить за газъ, да сколько привезетъ Михаилъ Сергъичъ, да не пора ли опять стирать... Точно такія мысли тамъ, по угламъ, у другихъ... Потомъ вдругъ въ ушахъ раздается звонъ и...

...пальцы мои летаютъ по клавишамъ рояля. Я слышу музыку. Кромъ нея нътъ и не было ничего...

...Вдругъ толчекъ: задремавъ, я качнулась на стулъ. Изъ того, что есть моя подлинная дъйствительность, я возвращена въ чуждую, томительную явь. Шить больше нътъ силъ. Еле раздъвшись, немытая, я подползаю подъ одъяло и, лежа на самомъ краю постели, стараюсь поймать только что одолъвавшій сонъ. Но засыпаю не скоро: мъшаетъ храпъ Михаила Сергъича, спертый воздухъ, а главное озябшія отъ неподвижнаго сидънья, холодныя ноги.

Если же у меня нътъ работы и я ложусь въ постель одновременно съ мужемъ и если при этомъ не была съ нимъ враждебно суха и каменно холодна (что бываетъ въ періоды моихъ частыхъ мысленныхъ и ръдкихъ физическихъ "измънъ") — то наступаетъ неизбъжное: весьма распространенная каррикатура на любовь.

Мужъ робко пододвигается, кладетъ голову на плечо жены, трется объ него... Можно и оттолкнуть, но жену связываетъ съ нимъ

привычка, годы жизни, мученія, которыя она ему причиняла, страданія, которыя вмѣстѣ пережиты, дѣтскія болѣзни, сознаніе того, что въ трудную минуту мужъ не покинетъ, какъ собака, но сильнѣе всего отвратительная женская жалость, безстыдно - снисходительная терпимость, животная человѣчность, если допустимо такое сопоставленіе. Баба говоритъ не люблю, а "жалѣю". Должно быть у замужней женщины есть что то отъ этого бабьего жалѣнія. Кромѣ того жена знаетъ, что когда нибудь придется уступить. Лучше ужъ скорѣй, чтобы выгадать отсрочку на будущее время.

Женщина лежитъ не двигаясь. Рука мужа переходитъ въ дѣйствіе. Шарящія движенія, какъ будто слѣпой ощупываетъ кожу. Это совсѣмъ не похоже на ласку... Надо не замѣчать... не думать... Но противъ воли мысль воспроизводитъ ощущенія не мертваго, а отзывающагося тѣла и это вызываетъ глубочайшую брезгливость къ совершаемому надъ нимъ.

Это омерзительное претерпъваніе, уничижающее жальніе, постыдное и безстыдное милосердіе, эта судорога въ темномъ закуткъ — есть какой то неуловимый остатокъ, пережитокъ понятія долга. Гипнозъ слова — мужъ. Всъмъ моимъ противящимся существомъ я знаю, что этого не должно быть, что это недопустимо, невыносимо, унизительно для меня, что не можетъ быть такого долга, который переживается какъ позоръ. Но во мнъ, въ женскомъ моемъ я, живетъ наслъдственная, въками выработанная уступчивость. Женское тело можетъ отдаваться безъ страсти и въ этомъ его проклятіе. Я лежу и думаю сколько женщинъ, такъ же какъ я, по ночамъ подолгу не смыкаютъ глазъ, обобранныя своей рабъей покорностью, грубой мужской поспъшностью или повелительной необходимостью. Тихонько беззвучно плачу... Мнъ хочется гладить себя и иъловать...

Внезапно начинаютъ стучать водопроводныя трубы. Собака залаяла во дворѣ и откуда то издалека доносится слабый, протяжный паровозный гудокъ. Въ этомъ звукѣ всегда есть щемящая нота, напоминающая разсвѣтъ, снѣжныя поляны, медленно проходящій мимо соннаго города товарный поѣздъ. Бѣлая беззащитная грусть. Оброшенность... Я засыпаю... Въ полуснѣ мысль: что же такое мои измѣны? Измѣны кому и чему?

Въ шесть часовъ утра раздираетъ уши будильникъ. Начинается стандартный день. Въ голову заколачиваютъ гвозди, встать нътъ силъ. Я лежу въ тяжелой дремѣ, но опасеніе того, что Вѣра изъ за лѣни уйдетъ въ лицей голодная, заставляетъ подняться. Вѣра мой непрестанный толкачъ и безжалостно обирающій меня ростовщикъ. Во имя чего я расточаю на нее свою жизнь? Кчему эта умиленная, предвосхищающая каждое ея желаніе, готовность все для нея и ради нея сдѣлать? Она ни въ чемъ мнѣ не помогаетъ, скверно учится (по два года въ одномъ классѣ, а чего стоитъкаждый годъ), лжетъ, любитъ только платья, красится... Если бы это была чужая дѣвчонка — я бы выгнала ее. Вѣрины же недостатки я вижу, не прощаю ихъ, но не могу побороть въ себѣ рабскаго чувства матери. Только возмущаюсь, глядя на себя со стороны.

Сунувъ руки въ рукава халата и запахивая его полы, вся охваченная холодомъ полуподвальнаго помѣщенія, я иду въ кухню варить овсянку. Отъ нея бываешь сытъ весь день. Газъ шипитъ. Встаетъ Михаилъ Сергѣичъ, фыркаетъ подъ краномь, брызгается и брызги циплютъ мой подбритый затылокъ и голыя пятки. Я переступаю на другое мѣсто, волоча по плитяному полу деревянным сабо и, размѣшивая ложкой хлюпающую, пузырящуюся гейзерами кашу, высчитываю сколько у меня денегъ и что на нихъ можно купить, чтобы ѣды хватило на весь день.

Михаилъ Сергъичъ тряпкой на щеткъ подтираетъ полъ, размазывая грязь. Тъло обнажено до пояса, изъ подмышекъ торчатъ густые рыжіе клоки, лопатки выпячены, плечи сгорблены, между сосками шерсть, животъ выступаетъ впередъ. Изъ брюкъ сзади торчатъ желтоватые хлястики исподняго бълья. Никакъ не могу привыкнуть къ неизбъжному безобразію бъдности, отсутствію ванны, заношенному бълью, которое самой же надо отстирывать, къ этой необходимости видъть другъ друга полураздътыми. Сколько это рождаетъ излишней непріязни и раздраженія! И ко всему — мужская нечистоплотность. Отъ бани до бани, а и бань то нътъ!

Почему я никогда не живу настоящимъ? Почему все что я ьижу и слышу заслоняется тъмъ чего нътъ, можетъ быть не было и для меня во всякомъ случать никогда не будетъ? Это заставляетъ меня терять много времени на мысленное зръніе, которое къ тому же требуетъ отъ меня музыкальнаго выраженія (я могла бы быть не плохой музыкантшей) и, не получая его, оставляеть въ непрестанномъ томленіи, похожемъ на сексуальное. Но какой любовникъ насытить голодъ творчества! И зачѣмъ этотъ голодъ, если никогда ни одна женщина въ мірѣ но родилась композиторомъ (мелочь — не въ счетъ. Бетховена, Баха, Грига, Гайдна, Шопена, Чайковскаго, Скрябина — женскаго пола не было и не будетъ. Тутъ — предѣлъ. Черта, которой не прейдеши). А между тѣмъ я мыслю звуками, слышу сама себя, изнываю... Зачѣмъ же это, если я задавлена и не могу ни выбраться изъ подъ осколковъ постоянно падающихъ на меня чужихъ жизней, ни освободить душу изъ ограничивающаго ее тѣла. Я хотѣла бы быть змѣей и выполэти изъ себя обновленной, какъ она выползаетъ изъ кожи. Но я всего на всего лѣзу вонъ изъ кожи.

Михаилъ Сергъичъ выходитъ. На смъну ему появляется заспанная Въра въ длинной ночной рубашкъ и войлочныхъ туфляхъ. Она лъниво чиститъ зубы и моетъ только лицо, шею и руки. "Сними рубашку, Въра, и вымойся какъ слъдуетъ, "говорю я. Въра, которая по утрамъ всегда не въ духъ, непріязненно взглядываетъ на меня, молчитъ и не дълаетъ того, что я прошу. Пусть бы сказала, что не хочетъ. Но почему молчитъ? "Въра, ты слышала. "То же молчаніе. Кладетъ на мъсто щетку, снимаетъ полотенце съ деревянной въшалки. "Въра". — "Ну, слышу, отзывается, наконецъ, Въра, "такъ въдъ холодно, а воды нътъ теплой. Я вечеромъ мыласъ". И она уходитъ въ комнату, гдъ оботрется одеколономъ, потому что такъ скоръе. Она предпочитаетъ его водъ и чъмъ старше, тъмъ становится неаккуратнъе, соблюдая только внъшнюю, показную чистоту. На мои слова не обращаетъ вниманія.

Когда это началось? Въ какой моментъ стало таять дътское благовоспитанное послушаніе и замънилось нескрываемымъ высокомъріемъ отмалчиванья? И почему мнъ всегда отъ этого больно? Почему всъхъ больнъе ранитъ меня то существо, которому я больше всего отдала привязанности и заботы? Скверная гримаса вмъсто благодарной улыбки! И это мнъ никогда не будетъ безразлично... Безразличіе, презръніе, равнодушіе, озлобленіе или просто спокойствіе — все это не для случая — Въры. Противъ этого случая мой разумъ безсиленъ.

Мужъ и дочь торопливо фдять и уходять, оставляя послъ



Манэ. Ameлье. Manet. Atelier.



Манэ. Гаръ. Мanet. Bar.

себя сбитыя постели, грязныя тарелки, истоптанный полъ. Я ставлю на газъ воду для мытья посуды и иду убирать комнаты. Мыть и убирать свое тѣло я должна погодить и выносить его до этого пыльнымъ и потнымъ. Женское тѣло не приспособлено для тяжелой работы. Жирное, съ открытой полостью, оно грязнится отъ физическихъ усилій. Какъ ужасно проработать цѣлый день въ современной одеждѣ, въ закрытомъ помѣщеніи ни разу не обмывшись! Ненавижу физическій трудъ въ зданіяхъ, также, какъ люблю гимнастическія и спортивныя усилія, воздухъ, наготу и воду. Уборка и всякія домашнія работы мнѣ непривычны. Я утомляюсь вдвойнѣ отъ необходимости приневоливать себя. Но присутствіе въ комнатѣ приходящей прислуги, если бы даже на это у меня были деньги, еще непріятнѣе. У всѣхъ ихъ шарящіе, лживые, насмѣшливые, щупающіе глаза.

Въ квартиръ душно. Отворяю окно ("бонжуръ, мадамъ. Иль фэ бо тамъ ожурдюи". — или что нибудь въ этомъ родъ). Поглядываю на ползущее надъ старымъ домомъ облако. Стуки выколачиваемыхъ ковровъ и постелей и гулъ то приближающагося, то удаляющагося трамвая несутся мнъ навстръчу. Влажный и нечистый воздухъ. Вверху, межъ облакомъ и домовой крышей, растянуто небо, похожее на застиранное полотенце.

...Неужели бываетъ полнеба въ закатномъ заревъ, полморя въ огнъ?.. Въ каждой щели, въ любомъ углубленіи, на выступахъ и въ яминахъ — навсегда въъвшаяся грязь. Трясу осторожно простыни, чтобы не запачкались о решетку окна. Консьержка моетъ подъ баллюстрадой крыльцо противоположнаго дома. Сверху смотритъ старуха. Обмънъ любезностями. Ежасъ закрываю окно. Сразу становится темнъй. Отъ этой утренней противоестественной темноты — нудно. Въ вискахъ ломота отъ недосыпанья, въ поясницъ боль еще съ послъдняго аборта. Мнъ хочется лечь и заснуть, но неубранное помъщеніе убиваетъ это желаніе. (Мужчина повалился бы все равно). Кромъ того надо отнести въ мастерскую оконченную вышивку. Вздохнувъ, я принимащсь за безплодный ежедневный женскій трудъ.

Сколько лѣтъ это уже длится? Далеко позади остался Петербургъ съ красивымъ ничегонедъланьемъ или создаваніемъ воображаемыхъ цѣнностей. Революція обнаружила истинную цѣну вещей, но и она не научила меня не замѣчать того, что противно.

Наоборотъ, всматриваюсь пристально въ ощущеніе отвратительнаго. Меня мутитъ отъ вида скользкой, жирной, заплеванной раковины, но она и запахъ, идущій отъ короба съ отбросами по какому - то закону противоположностей напоминаютъ мнѣ томительный ароматъ, несшійся при заходѣ солнца отъ длинной прямой аллеи, густо усаженной по обѣимъ сторонамъ бархатными, бѣлыми цвѣтами табака. Эта аллея вела отъ виллы знаменитой балерины, фаворитки царя, къ морю. Нигдѣ, никогда воздухъ не былъ такъ пряно пахучъ, не сливался въ такой гармоніи съ золотыми крыльями огромной птицы заката. Гамма небесныхъ тоновъ!

...И вотъ предо мною медленно развертываются полотна безумнаго художника — Чурляниса. Музыка въ краскахъ...

…Грязныя тарелки брякаютъ одна о другую, какъ на суетливомъ вокзалъ. "Пе-ервый зва-анокъ. Масква-а, Курскъ, Аре-олъ" — басовитое, нараспъвъ, перечисленіе станцій...

...Звенятъ перемываемыя серебряныя ложки, уцѣлѣвшія отъ потопа, твердо стукаются одинъ объ другой мокрые деревянные черенки ножей... и я въ вагонъ - ресторанъ: крахмалъ салфетокъ и скатертей, ритмическое погромыхиванье колесъ...

Машина времени то поворачиваетъ назадъ, то съ яростной скоростью врывается въ то, что сейчасъ. Толчокъ и опять толчокъ. Обрывокъ музыкальной мелодіи. Это я напѣваю полузабытую арію и качаю въ тактъ головой...

...струйка воды, побъжавшая отъ мокрой посуды, капаетъ на ногу. Все съеживается во мнѣ въ скомканный комокъ лежащаго на стулѣ бѣлья. Мнѣ надо выстирать Вѣрину и мою смѣны.

## BUJA 3EMJA

Просторные, высокіе, въ два пролета, безъ плафона, пріемные покои, съ хорами на высотъ перваго пролета, съ двумя стръльчатыми, почти во всю высоту стѣны, окнами желто - синяго стекла, уютный мягкій свътъ, покой и уютъ, создавали впечатлъніе чего то увъреннаго и затаеннаго, впечатлъніе церковной готики, преддверья какого то храма, таящаго въ себъ, еще никому пока невъдомыя, но же близко. за тяжелыми, двойными, бархатно - атласными портьерами, почти созръвшія, оформленныя, ръшенія нъкоего строго оберегаемаго частнаго, надгосударственнаго, неофиціальнаго, совъта, хранилища какихъ то важнъйшихъ тайнъ... Тяжелые, плотно - тканные, однажды герметически уложенные ковры, — фамильные подарки Шенбрунскихъ дворцовъ старинному роду фонъ-Флатовыхъ, — тоже казалось тщательно хранили, смягчали, оберегали, отъ непосвященнаго слуха, точно впитывали въ себя голоса, оброненныя замъчанія, обрывки мыслей вліятельнъйшихъ, родовитыхъ сановниковъ, бывшихъ министровъ, и — кандидатовъ, чаявшихъ новыхъ высокихъ отвътственныхъ назначеній... Торжественно. — увы часто очень поздно и неожиданно, — жаловали въ салонъ Стратоновыхъ-Флатовыхъ извъстные своимъ "либерализмомъ" великіе князья въ сопровожденіи не очень глубокомысленныхъ, но, на все готовыхъ, блестящихъ адъютантовъ. И тогда расшитыя лавровымъ золотомъ генеральскія и министерскія груди, и фраки политически "оппозиціонно" настроенныхъ профессоровъ и общественниковъ, и блиставшія въ залитыхъ оранжево золотымъ світомъ, бальныхъ залахъ, великосвътскія красавицы, въ торжественно-радостномъ поклонъ, встръчали, присъдали... Обожаемый великій князь успъвалъ съ такой плънительной улыбкой, прямо въ сердце столькихъ красавицъ, на ходу, процъдить, уронить такихъ всего нъсколько словъ, — дороже любого жемчуга...

Въ обычные, опредъленные дни, затажали сюда, къ Стратоновымъ, чаще всего послъ доклада Государю, пріятно настроенные, и окрыленные милостивымъ пріемомъ, министры, но чаще всего, не встрътившіе сочувствія, въ часы доклада, у уставшаго, или обременнаго семейными и иными путанными вопросами, Его Величества...

Въ заглушенномъ, герметическими коврами и тяжеловъсными добротными драпри, кабинетъ сенатора Стратонова, непосвященные, но тоже въ политику игравшіе толстосумы, — при непремънномъ условіи, что новый строй долженъ прежде всего оберегать собственность и порядокъ, — эти непосвященные тоже часто улавливали въ воздухъ, въ кабинетъ Стратонова, какія то безпокойныя, разъъдающія, странныя какія то слова: "подгниваемъ ваше высокопревосходительство"... "Пусть ка попробуетъ на этотъ разъ распустить"... "Нашей трибуной будетъ Марсово поле"... "Въ безволіи Его Величества вся наша бъда"... "Намъ, привыкшимъ върить въ непоколебимость русскаго солдата... а о патронахъ никто не позаботился... Развалъ... Гибнемъ... Дъйствовать пора"... "Революція будетъ безкровна!... и т. д.".

Полнъйшій сумбуръ въ ръчахъ, отсутствіе планомърныхъ, разумныхъ и активныхъ дъйствій вмъсто съъздовъ и диспутовъ, отсутствіе воли и плана на ближайшіе дни, полная растерянность при возраставшей демагогической словесности съяли всюду тревогу, подозрительность и расшатываніе аппарата...

Стратоновъ любилъ не столько свободу дъйствія, сколько остроту и "свободу слова". Еще молодымъ профессоромъ его самого плѣняли острые силлогизмы, неожиданныя словесныя построенія, откуда то сами собою вылетавшіе феерверки-афоризмы, острыя, какъ рапира, презрительно - великодушныя ироніи, и этотъ каскадъ апплодисментовъ подъ конецъ его лекцій, когда вдохновенный профессоръ въ воздухѣ такъ изящно и безстрашно отрубалъ голову и "азіатчинѣ" и "татарщинѣ", и молодежь призывалъ "на борьбу съ дьяволами, удушающими свободу", — громъ и стонъ молодыхъ и крѣпкихъ глотокъ потрясали основы аудиторіи, и всѣмъ въ тѣ дни, въ самомъ дѣлѣ, казалось, что какой то поблизости коронованный лютый врагъ задался спеціальной цѣлью мѣшать всѣмъ жить, что только тѣмъ и занято это невидимое чудовище, что подсиживаетъ и подстерегаетъ оно "свободу" каждаго студента, что не

будь этого "дьявола", какъ счастливо жилось бы и "товарищамърабочимъ", и "трудолюбивому крестьянству", и "христолюбизому воинству"...

Молодому Стратонову, профессору дъйствительно талантливому и большой эрудиціи, казалось недостаточнымъ читать свой курсъ, увлекать и убъждать, для него съ теченіемъ времени потребность въ обжиганіи юныхъ душъ, въ пусканіи ловко завуалированныхъ и ядомъ, модничающей тогда оппозиціи, отравленныхъ стрълъ, въ эффектныхъ феерическихъ словесныхъ выпадахъ, протестахъ, — потребность эта стала для Стратонова органической, въ прямой ущербъ подлинному знанію, учебнымъ догмамъ и основамъ. Сладокъ былъ тогда тотъ ядъ Стратоновыхъ, и полной грудью вдыхали его и младъ и старъ, а лекціи выдающихся ученыхъ, сухихъ и жесткихъ, какъ сама логика, и насквозь пропитанныхъ глубочайшими знаніями подлинной науки — у этихъ ученыхъ аудиторіи пустовали, а сами эти столпы науки, профессора съ міровымъ именемъ, именовались или "учеными сухарями", или — получали презрительную кличку "послушныхъ слугъ министерства народнаго просвященія"... И ничего удивительнаго не было въ томъ, что любимый нъкогда молодежью профессоръ, Стратоновъ а впослѣдствіи, къ шестидесяти годамъ, сенаторъ съ "оппозиціоннымъ" прошлымъ, встръчался въ общественно-политическихъ кругахъ, на юбилеяхъ, на докладахъ, въ разныхъ комитетахъ, съ восторженной почтительностью, и тутъ же избирался въ предсъдатели какъ оппозиціонными "фрондирующими" фраками, такъ и пролетарско - демократическими пиджаками... Ядъ долгихъ десятилътій никого не убивалъ, никого серьезно не калъчилъ, онъ былъ сладокъ, и его охотно пили, а заграница, Европа, даже очень симпатизировала ему, этому спеціально восточному напитку, этимъ см'ъльчакамъ, этому новому "восточному освободительному теченію"... Но ядъ этотъ сталъ вдругъ у многихъ вызывать рвоту, и въ глазахъ всей, тогда заболъвшей, интеллигенціи отъ этого дурмана появилась пелена, близорукость, и отравленные этой тогда еще неизвъстной, странной бользнью, стали терять чувство смущенія, осязанія, чувство мъры и чувство отвътственности... Подобно веселящему газу, этотъ ядъ послъднихъ десятильтій настолько одурманивалъ, за ръдкими исключеніями, самыя трезвыя головы, что когда даже огненная лава

долгожданныхъ свободъ, — свободъ, а не свободы, — ихъ подземные удары, гулъ и пламенный пепелъ уже явно угрожали, потрясали самую основу великой и необъятной, и тогда еще, въ эти страшныя минуты агоніи, на глазахъ у всѣхъ, громы и потоки истерическихъ апплодисментовъ продолжали оглушать, восхищать, ослѣплять самодовольныхъ и восторженныхъ Нероновъ...

любимый модный профессоръ. обшественный Стратоновъ. дъятель, а по женъ породнившійся съ какими то саксонскими герцогами, вращался въ высшихъ сановныхъ и государственныхъ сферахъ. уважаемый и желанный... И газеты разныхъ направленій, два раза въ году, подъ Рождество и Пасху, избирали его излюбленной мишенью порою весьма ѣдкихъ политическихъ шаржей и памфлетовъ. Также и эта невинная популярность шла на славу и пользу Стратонову, и на слъдующей же лекціи, встръченный не только своими, но и изъ другихъ аудиторій, громомъ апплодисментовъ, онъ подымался до ръдкихъ высотъ вдохновеннаго протеста, направленнаго противъ "царскихъ опричниковъ", "узурпаторовъ власти" и "предателей свободы"... Аудиторіи рев'яли. И Стратоновыхъ на рукахъ носили, гдъ бы они ни появлялись, на Югь, на Съверъ, въ самомъ сердцъ страны...

Въ частной семейной обстановкъ Стратоновъ былъ большимъ хлъбосоломъ, добрякомъ и радушнымъ хозяиномъ. Студенты, вожаки, сдълавшіе изъ него общественнаго оракула и полубога, часто безпокоили его, Стратонова, на дому, и, очень нуждаясь, позанимали, прихватывали толику... Бородатые, часто съ волосатыми затылками, съ засаленными воротниками синихъ мундировъ при двухъ пуговицахъ, со стоптанной обувью, — не столько слабовольный профессоръ, сколько баронесса Стратонова фонъ - Флатова съ ужасомъ обнаруживала на Шенбрунскихъ коврахъ густо пыльные слъды и запахъ дурно - пахнущихъ папиросъ. И послъ ихъ ухода происходили обычныя громкія размолвки между супругами, и прислуга на цълые часы растворяла всъ двери и окна...

— Я не понимаю васъ, господинъ профессоръ, этихъ вашихъ студентовъ... Я часто слышу ваши бесъды о какихъ то "свободахъ"... Я послала бы этихъ вашихъ студентовъ прежде всего постричься, побриться, да въ баню... У насъ въ Дрезденъ, въ Гетингенъ, въ Гейдельбергъ тоже имъются профессора, и студенты, и высокая наука,

и понимаютъ наши въ наукъ не меньше вашихъ, но подобнаго безобразія, такого неприличія, такого... забыла одно такое у васъ хорошее слово есть... какъ его... ахъ да... такого хамскаго отношенія къ личности Его Величества и къ его семьъ... да, да, да!.. это отвратительно, мерзко, гадко!.. да вы у насъ даже отъ послѣдняго шорнфегера, чисторуба, не услышите такихъ альковныхъ мерзкихъ сплетенъ, а у васъ это стало зауряднымъ явленіемъ, у васъ эти сплетни стали въ каждомъ домъ застольнымъ блюдомъ... Я давно собиралась серьезно поговорить съ вами, Иванъ Константиновичъ. Это отвратительно, понимаете, отвратительно и гадко собирать вокругъ себя этихъ безнаучныхъ, бородатыхъ, въчныхъ студентовъ и неопрятныхъ оболтусовъ, и на лекціяхъ вы всегда выбираете почему то тему "противъ", обязательно противъ кого то, и затъмъ эти ваши будто очень ученые доклады, по моему, просто устаръли и все о какихъ то "революціхъ" да матеріализмахъ, на которыхъ молокососы и выдохшіеся старцы, и эти... ваши бездѣтныя... дѣвицы только и вздыхаютъ... Неужели, Иванъ Константиновичъ, васъ самого еще не стошнило отъ всъхъ этихъ пошлыхъ апплодисментовъ и — игръ въ такъ называемую высокую конспиративную политику...

Баронесса фонъ - Флатова уже лътъ двадцать замужемъ за Стратоновымъ и въ первые годы ея замужества она многое узнала, читала, поняла и все же полюбила кръпко, безразсудочно она эту "огромнъйшую", какъ любила она выражаться, страну и писала она это слово съ большой буквы въ своихъ письмахъ домой, къ своей знатной роднъ, изъ Саксонскихъ бароновъ, графовъ и принцевъ... И какой счастливой чувствовала бы себя ея маленькая родина, — такъ мечтала она часто вслухъ въ своихъ дневникахъ, — если она владъла хотя бы пятой частью этой богат в йшей, этой плодородн в йшей, неисчерпаемой богатствами лъсовъ, ръкъ, золота, хлъба, нефти, металловъ и пушнины, — этой самимъ Богомъ благословенной святой страны, — и какъ бы ея земляки боготворили бы такую родину, какъ возносили бы ее, какъ молились бы за благо ея, какъ защищали бы братья ея до послъдней капли крови эту Землю! А тутъ — никакъ не могла баронесса разобраться во всемъ надвигающемся хаосъ окружающаго — куда ни придешь — недоумъвала баронеса — "одно какое то злорадство и таинственное злопыхательство, — трусливое и недостойное", — и всъ чего-то ждутъ, жаждутъ, мечутся, бранятся.

сплетничаютъ, и точно заговорщики тихо крадутся, поджидаютъ кого-то... "Но если ужъ нуженъ бой, то открытый, а не выпускать на эстраду однихъ профессоровъ, адвокатовъ и горлодранцевъ"...

Баронессъ надо было родиться въ Россіи, тогда она не такъ уже строго судила бы "задыхавшійся въ мертвыхъ тискахъ отживающаго самодержавія великій народъ"...

Баронесса фонъ - Флатова смутно и давно ощущала въ воздухъ, кругомъ, бурю, какой то "Sturm", какъ она выражалась, и не понимала, почему всъ, почти всъ, не за, а противъ. Противъ всего. Противъ чего собственно — ей не объясняли. Европа по своему объясняла себъ настроенія этой страны. Сущность всего общественнаго круговорота — полагала Европа — была — противъ. Это быль своего рода восточный общественно-политическій стажь, долгій, продолжительный лейтмотивъ всего живого, мыслящаго, ведущихъ и ведомыхъ, — какъ то нельзя было, просто неловко и неприлично было въ хорошемъ обществъ, на лекціяхъ, въ театрахъ не апплодировать этому "противъ", этимъ распалявшимъ страстнымъ выступленіямъ... Это быль какой-то всеобщій коллективный протесть. психозъ заболъвшихъ народныхъ массъ, безъ опредъленнаго сговору сговоръ завуалированныхъ и разъединенныхъ заговорщиковъ, протестъ и призывъ переходнаго безвременья, — четко слышались уже гулы развалинъ и бури и потоки огненныхъ ръчей и пламенныхъ надеждъ... Такъ полагали равнодушные къ судьбамъ чужихъ странъ историки Европы...

Рядъ лѣтъ всѣмъ вдругъ показалось, что "просто дышать стало нечѣмъ". И это носившееся въ отравленномъ воздухѣ "противъ" такъ всосалось, такъ сжились, — съ этимъ старъ и младъ, что временами общество, люди и дѣла, точно застывали въ какомъ то оцѣпенѣніи, смутномъ ожиданіи чего-то такъ часто откладывавшагося, чего-то страшнаго и все же страстно долгожданнаго, что въ конечномъ итогѣ, должно было принести, какъ разсуждали дипломаты, освобжденіе этой "полуазіатской странѣ", возрожденіе... И трехсотлѣтній грузовикъ, нѣсколько отсталой конструкціи, долго и упорно неподдававшійся сдвигу, однажды подъ напоромъ "всѣхъ порабощенныхъ массъ", кряхтя и стеная, вдругъ подался на нѣсколько сантиметровъ впередъ, на радость "задыхавшимся въ невѣжествѣ и рабствѣ гражданамъ", навстрѣчу открывавшимся "свободамъ", чтобы

затъмъ сразу низринуться въ такую пропасть, дно которой узрять лишь поколънія грядущихъ въковъ...

Послѣдній, осторожно высказанный взглядъ, принадлежалъ "ретроградамъ", одинокимъ профессорамъ "узко - мѣщанскихъ воззрѣній", которыхъ въ порядочномъ, "свободно-мыслящемъ обществъ" просто не принимали...

О пропасти и о безднъ не думаютъ въ затрапезные и помпезные историческіе дни...

О пропасти и днъ никто не думалъ. Думали только о дъйствіяхъ противъ, о дъйствіяхъ вообще.

Дъйствующимъ лицомъ, собственнымъ гробокопателемъ, подталкивателемъ былъ... самъ народъ-интелигентъ, позже и народъ-богоискатель... И когда славное противъ было преодолъно, когда дальше двигать, толкать, подпихивать, расталкивать было нечего, когда во время этого вавилонскаго строительства, неожиданно для всъхъ, мишень и самоцъль исчезли, и душа, такъ жаждавшая "свободъ", почувствовала себя вдругъ приниженной и опустошенной, а отъ старой, неожиданно выдохшейся, никого больше не убъждавшей, конституціонно - республиканской, словесности, массы вдругъ отпрянули, шарахнулись назадъ, — когда больше толкать было нечего и самый объектъ "противъ" былъ побъжденъ, всъ бросились, давя другъ друга, въ поискахъ за. Не противъ, а за. Просто, за...

Это з а было однимъ человѣкомъ, всего только однимъ человѣкомъ, безъ пламенныхъ рѣчей, безъ словъ, простымъ рѣшительнымъ движеніемъ кулака скуластаго матросика пріостановлено. Зачеркнуто. Надолго, быть можетъ на цѣлое новое трехсотлѣтіе пріостановлено...

Послѣднее предположеніе было робко высказано какой - то маленькой группой мѣщанъ - интеллигентовъ, на какомъ - то докладѣ въ Парижѣ, но тотчасъ же голосъ этихъ одиночекъ былъ заглушенъ "президіумомъ" изъ бѣженскихъ профессоровъ и какихъ то молодыхъ литераторовъ, продолжающихъ еще и нынѣ пребывать вымирающими въ летаргическомъ снѣ... и плестись въ хвостахъ "вожаковъ"...

Такъ много лѣтъ спустя, наканунѣ заката Великой, сенаторъ Стратоновъ разъяснялъ, — въ такихъ случаяхъ часто весьма научно, — разъяснялъ и развивалъ передъ женой своей причину вели-

кой разрухи, причину великаго исхода, причину неизбъжной и неминуемой, самимъ историческимъ ходомъ событій подготовленной, гибели великой страны...

Исторія одна всегда все объясняеть И всегда post factum.

А въ эту еще раннюю весну только чужой глазъ, извнъ, съ какой то потусторонней высоты, могъ наблюдать подкрадывающійся огонь, этотъ «Sturm» въ чужой странъ. Но захлестаннымъ "волной освободительнаго движенія" общественникамъ некогда было пріостановиться, разобраться, подобрать возжи натиска, — не они уже управляли затворами шлюзовъ, напоромъ быстро - несущихся водъ, — ихъ самихъ несло, точно бревна, попавшія въ потокъ водопада...

Вешнія воды въ своемъ стремительномъ потокѣ подхватывали, уносили даже самыхъ робкихъ и осторожныхъ, одинокіе голоса которыхъ тогда, что — вопіющій въ пустынѣ, но и имъ не удавалось приткнуться къ захлестаннымъ, мутной волной, берегамъ. ..

Нельзя было тогда, въ первые дни безумія, не быть за. Поздно тогда было не быть за, хотя все слабъе и тише слышался этотъ идеалъ вожделънныхъ "свободъ", этотъ тогда всъхъ возвышавшій и объединявшій обманъ...

Неудивительно, что въ ту пору, когда всѣ пѣли гимнъ безумію, Стратоновъ не сразу сообразилъ, не вникалъ въ слова протестовавшей жены, физически не выносившей людей иного класса. Слова ея однако, столь ясныя и простыя, сразу какъ - то вывели его изъ раздумья, и онъ съ широко открытыми глазами посмотрѣлъ впередъ передъ собой, уставился на жену, точно впервые увидѣлъ онъ ее въ натуральную величину. Да, это была его жена, баронесса фонъ - Флатова, полюбившая сразу, какъ только пріѣхала, въ страну мужа, все - все, точно свое родное, но — не могла она разобраться, понять, почему друзья ея мужа такъ много говорятъ - говорятъ - спорятъ - протестуютъ, кого - то поносятъ, кому - то грозятся и вѣчно чѣмъ то недовольны... И баронесса часто возражала мужу...

— Страна моя маленькая, такая опрятная, и такая тѣсная, что люди локтями работаютъ, едва касаясь другъ друга, и нѣтъ у насъ этого ропота, нѣтъ брюзжанія, а есть покой, вѣра, опрятность, душевная дисциплина, и всѣ мы, какъ одинъ человѣкъ, давно - давно объединенные, не толкаемъ, не бьемъ самихъ себя по больнымъ мѣстамъ, а поддерживаемъ, возносимъ нашу родную землю, вотъ я уже

скоро 25 лѣтъ съ вами въ вашей великой и прекрасной странѣ, и только и читаешь въ "журналахъ у васъ Марксъ да Марксъ", матеріалистическая философія, опять Энгельсъ, опять какой то Бакунинъ, и опять Крапоткинъ, опять Бакунинъ... Вѣдь стошнитъ хоть самаго невзыскательнаго человѣка!.. — Знаете, Иванъ Константиновичъ, если бы у васъ не было Пушкина, Тургенева, Толстого, Бунина, Мережковскаго, — ей-Богу, или повѣсилась бы, или разошлась бы я съ вами, — я не шучу, — вѣдь скучища, смертельная скучища, отвратительная жвачка, всѣ ваши журналистическіе доклады, диспуты!.. И главное, одинъ норовитъ другого да побольнѣй ударить, такъ и выискиваетъ куда бы побольнѣй... Стыдно вѣдь!.. Тошнитъ!.. Прямо тошнитъ, — раскраснѣлась вся, въ негодованіи своемъ, искренно, никого не боясь, ни передъ кѣмъ не смущаясь, изливала, точно жалуясь, собственное горе свое, эта очаровательная, огневолосая саксонка, баронесса фонъ-Флатова...

Сенаторъ, внѣшне покорно и разсѣянно, слушалъ очень злыя, порою, какъ полагалъ онъ самъ, очень справедливыя, сентенціи баронессы, — впрочемъ, когда слова ея очень ужъ ядовито задѣвали живыя, больныя мѣста, сенаторъ колебался, не рѣшался возражать, — все равно не убѣдить ее, иностранку, что все тутъ, подъ бокомъ, расползается, трещитъ, всюду разнобой, безмѣрное казнокрадство, лицемѣріе, подхалимство и трусость министровъ — однихъ, а другіе — просто "держиморды и сатрапы", на десятки лѣтъ отстающіе отъ времени, отъ Европы...

— Далась вамъ эта Европа, — негодовала иногда въ интимномъ кругу саксонка съ мѣднопламеннымъ цвѣтомъ густо плетенныхъ косъ вокругъ, съ такимъ изяществомъ, посаженной головы, — ей, Европѣ этой, завидно глядѣть на вашу шестую часть свѣта, полную неисчерпаемыхъ богатствъ, что только ей одной впрокъ и пойдетъ ваша... какъ ее зовутъ... очень ужъ красиво... да, да... ваша..: собственная "волна освободительнаго движенія"... И попомните вы, уважаемые ученые и exellenz'ы, и попомните мое мнѣніе, а порою прямо пугающее меня личное убѣжденіе, предчувствіе, — не слѣдуетъ вамъ съ моимъ мнѣніемъ считаться, — но запомните, изъ вашихъ "свободъ" ничего не выйдетъ, не выйдетъ, ибо пути и средства не тѣ, — не умѣю я такъ точно опредѣлять, какъ у васъ, въ вашихъ тамъ книгахъ и докладахъ, но попомните, не успѣете достичь излюблен-

ныхъ свободъ, какъ вы сами же, въ первую очередь вы, водители, попадете въ слѣпое орудіе вашихъ же массъ, которыхъ вы въ сущности никогда не знали и съ которыми близко не соприкасались...

Такъ задолго, до великой, въ кабинетахъ и салонахъ, всюду, тревожно обсуждались смутныя дали и перспективы страны, сильно приниженной послъ міра съ Токіо...

А съ наступленіемъ еще небывалыхъ, столь грозныхъ событій, послъ первыхъ медовыхъ ура - мъсяцевъ, съ неудачами на фронтахъ, съ разваломъ по всей линіи оффиціальнаго и гражданскаго тыла, съ растерянностью всъхъ лидеровъ, всъхъ мастей, всъхъ промышленныхъ и общественныхъ организацій, въ рукахъ которыхъ едва еще держались дирижерскія палочки, но изъ привычныхъ устъ, вяло и фальцетомъ, продолжали еще раздаваться, никого впрочемъ больше не убъждавшія, обычно все ть же, кого - то, обличающія ръчи, сенаторъ Стратоновъ, а съ нимъ рядъ великовельможныхъ коллегъ, друзей, сановниковъ и знатныхъ профессоровъ, — всъ они, въ эти страшные годы страны, почувствовали вдругъ, а нъкоторымъ быть можетъ только еще казалось, что кто-то, невидимый извић, сильно ударилъ, однихъ въ темя, другихъ въ грудь... Шли десятки лътъ обычной повседневной поступью и дорогой люди, имъ отвъшивали почтительные поклоны, ихъ издали узнавали, лекціяхъ и докладахъ апплодировали, десятки написанныхъ ими томовъ, съ такимъ респектомъ къ себъ самимъ, величественно, внушительно и мирно покоились на книжныхъ полкахъ въ богатыхъ кабинетахъ, университетскихъ библіотекахъ и государственныхъ хранилищахъ, все такъ шло мърно и обычно, и залегшіе въ этихъ томахъ освободительные "лозунги" и идеи были съ такимъ удъльнымъ въсомъ, — и вдругъ всего какой-то одинъ "безумецъ", откуда то, какіе-то стоки водъ хлынули, смели, опрокинули, всѣ томы и кафедры, кто-то безумный и невидимый ударилъ всъхъ въ темя, въ грудь, и — о, ужасъ, — десятилътнія, столь пышныя, слова и мысли вдругъ стали блеклыми, застръвали въ горлъ, слова, недавно еще вызывавшія бурю радужныхъ мечтаній и пламенныхъ надеждъ, и прежнія, такія бывало ясныя и стройныя слова и мысли, стали вдругъ - и неясны и нестройны, пришли въ полное разстройство... И сенаторъ Стратоновъ, такъ нѣкогда любившій, органически сжившійся съ аудиторіей, съ толпами слушателей, читавшій свой

курсъ съ такимъ пафосомъ, внимавшій самъ, что соловей, своимъ смълымъ и звонкимъ трелямъ, и онъ съ недоумъвающей растерянностью сталъ подмѣчать, что и не только слова, но и жестъ и голосъ его не тѣ, вдругъ — не тѣ, что то въ немъ самомъ оборвалось... онъ вдругъ, инстинктивно, какъ - то неръшительно еще, почувствовалъ, что будто и онъ и тысячи ему подобныхъ долго - долго дълали не то, не то — что было нужно, и какъ часто жаждалъ онъ оставаться одинъ, уйти, бросить засъданія, комитеты, заткнуть уши, ничего не слышать и никого больше не слушать, а — только самого себя, свою давящую печаль, свою тоску... Что - то опустошило душу, что - то оторвало въру, отлетълъ, оторвался покой, растерялъ онъ вдругъ ясныя нити и ключи къ вещамъ, казавшимся ему недавно смертельно нужными, драгоцънными... И стоитъ онъ, окруженный такими же растерявшимися и вопрошающими, въ своихъ высокихъ, въ два пролета, безъ плафона, теперь неосвъщенныхъ и тревожныхъ хоромахъ своихъ, и слушаютъ они всъ теперь долетающіе откуда - то пушечные и пулеметные выстрълы и далекое зарево еще не родившейся, но, смутно угадываемой и закатывающейся свободы...

Безъ Фритца, безъ этого, оставшагося такимъ же преданнымъ и почтительнымъ и на своей, уже родной землъ, стараго камердинера, Стратонову пришлось бы съ голоду, безъ пристанища, заживо похоронить себя...

Близкіе, — нѣкогда коллеги и политическіе единомышленники, продолжали еще и въ зарубежьѣ "стойко и твердо стоять за платформу" и "высоко" держать знамя демократической республики", они отшатнулись, при случайной встрѣчѣ, обходили, отошли отъ Стратонова. Они рѣшили, что старый профессоръ "измѣнилъ"... Другіе же, едва еще державшіеся за высохшія, худенькія вѣтви старыхъ "лозунговъ", сострадательно прощали профессору его временные, какъ они полагали, прорвавшіеся уклоны, приписывая таковые его болѣзненному состоянію...

Одинъ Стратоновъ ничего не рѣшалъ, онъ только жгуче чувствовалъ огромную пустошь, въ немъ что - то оборвалось, прорвалась невидимая, душевная переборка, и тихая, безсловесная, напорная муть изъ желчи и обиды, злобы и гнѣвнаго удушья, прорвалась на всѣхъ, на весь этотъ обнаружившійся соціальный обманъ,

на это долголътнее словесное источеніе, на всю, всъхъ побившую, нищету и тщету надеждъ, изничтоженность и приниженность... Стратоновъ былъ согласнымъ хоромъ разъ и навсегда вычеркнутъ изъсписка зарубежныхъ, доживающихъ вождей...

— Куда же дѣться... гдѣ голову склонить... переночевать... кости размять... ногамъ отдохнуть... Какъ могло случиться, — вслухъ разсуждалъ онъ, — что для него, Стратонова, ученаго, профессора международнаго права, не оказалось на землѣ, послѣ пройденнаго пути, и пяди какой-то жилплощади"!..

Замъчать сталъ онъ, что и случайныя, и худыя, благотворительныя подачки стали ръже и мизернъе... Но волка ноги кормятъ, и старикъ поддался на сторону, за городъ, далеко отъ шумной столицы, въ царство тъней, въ колонію, на сборный пунктъ такихъ ж е, какъ и онъ, тщательно похоронившихъ свое прежнее положеніе, имя, титулъ, званіе, алчущихъ потолкаться, поработать, поискать, поъсть...

Общество нѣмыхъ фильмовъ въ этотъ день, подъ открытымъ небомъ, дѣлало смотръ сбѣжавшимся со всѣхъ концовъ кандидатамъ на "роль нетонущихъ утопленниковъ" и — особо отвѣтственную — роль профессора - оратора для какого - то новаго фильма съ многообѣщающимъ заглавіемъ "Оставь всякую надежду"...

Природныя кинодарованія даны всѣмъ людямъ безъ исключенія, это только режиссеры, фокусники отъ фильма, придумали какой - то жупелъ — "фотоженичность"... Профессоръ Стратоновъ за свою жизнь и кино то не видалъ, а изъ двухсотъ претендентовъ именно онъ былъ единогласно отмѣченъ... Длинная, давно нечесанная, борода, съ лицомъ и взоромъ потусторонняго, ученаго профессора, высокій лобъ съ упрямо падающими на него волосами, длинное худое лицо съ вопрощающими глазами, высокій тощій согбенный станъ, — нѣтъ, если Стратоновъ киносъемки и не видалъ, все же на сей разъ правильно порѣшила кино - дирекція — лучшаго "типа" не найти... Впослѣдствіи оказалось, къ полному удовольствію той же дирекціи, что профессоръ и плавать умѣетъ, а значитъ за такого утопленника опасаться было нечего...

Въ этотъ день Стратонову повезло. Стратоновъ былъ принятъ. И первымъ дъломъ новый "артистъ", чувствуя большую неловкость,

и немоготу, все же попросилъ дать ему поѣсть... подкрѣпиться... мочи больше нѣтъ...

- Wie ist Ihr werter Name, спросилъ его режиссеръ, указывая на него регистратору Фритцу.
  - Стратоновъ, Иванъ Константиновичъ...
- Отмъть его, Фритцъ, запиши его... Истратовъ, такъ кажется?.. И дай ему номерокъ... 3013-ый, да въ баню свези его...
- O, die arme russische Flüchtlinge, уже совсъмъ про себя, съ такой жалостью къ этому русскому "типу" произнесъ режиссеръ.
  - Кстати, Фритцъ, погляди за нимъ, умъетъ ли онъ плавать...
- Стратоновъ?!.. Фритцъ?!.. Какая неожиданная встръча!.. Только те...безъ шума... нельзя же на глазахъ режиссера...

Оба добрались до бани... до отдъленія русской парной бани, съ горячими въниками, деревянными кадками, съ досчатымъ амфитеатромъ чуть не подъ самый закоптълый, охлажденной росой, нанизанный, потолокъ, а дыму, пару, не передохнуть, не взглянуть...

Порядочно сдалъ же профессоръ, если Фритцъ, его старый, милый Фритцъ, камердинеръ и мажордомъ, не сразу опозналъ своего барина, его высокопревосходительства, сенатора и дъйствительнаго тайнаго совътника Стратонова. Фритцъ за все это время ни своихъ убъжденій, ни своей профессіи не мънялъ. Онъ и послъ ухода оттуда, уже на своей землъ, за статность, почтительность, распорядительность и смътливость сразу получилъ мъсто въ одномъ изъ лучшихъ кино, а въ съемкахъ неизмънно исполнялъ обстоятельныхъ камердинеровъ и регистратора при наборъ статистовъ. Любилъ, нъжной почтительной любовью, любилъ Фритцъ своихъ земляковъ, русскихъ, оттуда aus Petersburg!..

— Was diese Herrschaften können, schafen es keine andere in der ganzen Welt, — jawohl!..

И твердо отстаивалъ такую свою точку зрѣнія русофилъ Фритцъ...

И парились, долго парились, старые друзья, баринъ и его камердинеръ, и никто изъ нихъ въ эту минуту о соціальной несправедливости не думалъ.

Фритцъ успълъ сбъгать, тутъ же, въ ближайшую лавченку, за бълой чистой мягкой сорочкой и усердно такъ, въ роли услужливаго

банщика, укладывалъ онъ старика, своего барина, по деревянному помосту, густо - густо намыливалъ истощенное тѣло, и высохшія длинныя, точно дѣтскія, ноги, и копну сѣдыхъ сплетенныхъ волосъ, и, безъ спросу, на рукахъ понесъ Фритцъ, на самую верхнюю полку, барина, попросилъ его высокопревосходительство спокойненько полежать, а самъ сбѣгалъ по досчатымъ ступенямъ, на цементный полъ, внизъ, да въ огнедышащій котелъ всадилъ полную кадку, одну, другую, и самъ ужъ, какъ призракъ, въ тучѣ пламеннаго пара и дыма, вбѣжалъ наверхъ, къ своей ношѣ, да горячими лиственными вѣниками по намыленному тѣлу, вверхъ, внизъ, и обратно, и вновь на другую сторону деликатненько переложилъ Фритцъ тѣло барина, и по спинѣ... по спинѣ... и истощенное тѣло отъ тепла... стало мягкимъ... эластичнымъ... опрятнымъ...

- Да ты меня, Фритцъ, точно покойника... будетъ, право... Спасибо... спасибо, дружище. Ухъ, какъ славно какъ хорошо!.. Всъ косточки поскрипываютъ... Какъ хорошо у васъ, Фритцъ... Спасибо тебъ!..
- Не извольте шевелиться, ваше высокопревосходительство... Еще немножко массажу... да въ бассейнчикъ... поплавать надо...

И кости старика, подъ руками Фритца, точно поскрипывали... расходились... и вновь сходились...

— А теперь... поплаваемъ, баринъ, надо!... Служба... Отмътить и по начальству донести долженъ.. а то на репетиціи утонете, Господи помилуй!..

Въ роли утопленника профессоръ Стратоновъ производилъ прямо потрясающее впечатлъніе... Когда, послъ долгихъ, театральныхъ тщетныхъ поисковъ, на поверхности озера выныряло, появлялось вдругъ распластанное, недвижное, медленно уплывающее, зелено-блъдное тъло, съ пошевеливающимися длинными волнистыми, отъ бороды и головы, волосами, нъкоторые изъ публики даже кричали "тащи его... тащи"!.. Публика замирала... она такъ жаждала спасенія этого честнаго старика, такъ жестоко подстръленнаго и брошеннаго безжалостными контрабандистами...

Во роли же актера-оратора, лидера какой-то не то соціалъ-демократической, не то крестьянской партіи, — сами режиссеры плохо еще разбирались въ оттънкахъ, — Стратоновъ, увы, какъ разъ на этой роли, во время съемокъ, столкнулся, пострадалъ... Режиссеры разсчитывали, что настоящій профессоръ въ роли такого оратора и лидера партій обязательно сорветъ апплодисменты зала, — достаточно будетъ публикъ прочитать на экранъ извъстные боевые лозунги, и дъло сдълано, но старикъ, опытный ораторъ, и тутъ, какъ и раньше, по сю сторону рубикона, усумнился вдругъ въ текстъ... говорилъ, жестикулировалъ правильно, наемная толпа усердно апплодировала, но уже на первомъ представленіи платная публика какъ-то холодно отнеслась... совсъмъ не апплодировала... нъкоторые, политически невоспитанные, даже шикали...

Стратоновъ текста не писалъ... Но Стратонову приписывали неудачное исполненіе... То онъ не вдохновенно жестикулировалъ, то онъ не обнаруживалъ ни пафоса, ни восторга...

И фильмъ не удался... И Стратоновъ, лишившись послъдняго убъжища, пошелъ странствовать... отогръваясь душой разъ въ мъсяцъ, въ углу у Фритца, въ бесъдъ съ этимъ близкимъ и чуждымъ ему по духу человъкомъ, былымъ и върнымъ камердинеромъ Фритцомъ...

- Какъ же вы поживаете, Фритцъ?.. Какъ у васъ тъсно и... такъ уютно... тепло!..
- Gott sei Dank, man muss zufrieden sein... Я доволенъ. Имъю постоянную службу, получаю 85 марокъ въ мъсяцъ и комнатку при ателье...
- O-o!.. Это капиталъ. Давно мы такихъ денегъ не имъли... Постоянный заработокъ, говоришь?..

Друзья умолкли. Нечего было другъ другу сказать. А фритцъ меньше всего хотълъ бы разговаривать, такъ хотълось бы ему барину чъмъ нибудь помочь, пригръть... Если бы не такъ совъстно было, снялъ бы онъ съ себя тутъ же свое длинное, синее, двубортное пальто, съ желто - мъдными пуговицами, но куда же его высокопревосходительству синее пальто съ пуговицами... Фритцъ пока что поведетъ его высокопревосходительство тутъ, по близости, в чисто русскій ресторанчикъ и угоститъ профессора настоящими русскими щами, съ косточкой, съ горчицей, да съ кашей, а тамъ пельменей, настоящихъ пельменей, съ лукомъ, съ перчикомъ... и пива пильзенскаго!..

Послъ горячихъ, въ горячемъ маслъ, пельменей, пивца холод-

ненькаго!.. И пріятели на славу покушали, а за трапезой профессоръ разсъянно повторялъ:

- Восемьдесятъ пять марокъ, говоришь, да уголъ теплый!.. А знаешь... вотъ тутъ гдѣ то у васъ... Bayerischer Platz... такъ тамъ одинъ бывшій директоръ Сибирскаго банка папиросы на углу предлагаетъ... Самъ видѣлъ его... не узнаетъ... узнавать не хочетъ... все позабылъ... изъ памяти вычеркнулъ былое...
- А что же ваше высокопревосходительство тутъ печальнаго?.. Ѣстъ свой хлѣбъ человѣкъ. И никто ему не мѣшаетъ. Лучше у насъ папиросами торговать, чѣмъ тамъ... краденными иконами или уворованными царскими сервизами. Тутъ никто никого за горло не хватаетъ... только аккуратъ налоги плати... а не имѣешь... разсрочатъ... русскому человѣку наши всегда разсрочатъ... А вотъ, баринъ, знаю и такихъ, изъ моихъ... Какъ его въ финанцамтъ для контроля али для разсчету позовутъ, онъ полотенце на морду... дюже больной значитъ... совсѣмъ не живой... и вмѣсто разговору, стонетъ, зубы, видите, у него ужасъ какъ болятъ... но нашъ финанцинспекторъ, этотъ ничего... такому и разсрочки ме дастъ... Нѣтъ, у насъ спокойно... хорошо... и каждый свою обязанность и свои привилегіи знаетъ...
- Да... но что то у васъ не такъ уже спокойно, Фритцъ... Коммунисты здорово пошаливаютъ...
- И совсъмъ не страшный народъ коммунисты наши... сами живутъ хорошо, но хотятъ еще и еще... Хотълъ я ваше высокопревосходительство споначалу въ коммунисты записаться... Языковъ иностранныхъ много знаю... и мъсто они предлагали и прочая... Но... случай презабавный помъшалъ. Сидимъ это мы всъ, человъкъ двадцать ихъ было, въ Bierhalle..., пьемъ и сосисками закусываемъ... и картофельнаго кисленькаго салату... каждому во какая горка... пьемъ и еще пьемъ... и на разныя модели политическія разговоръ ведемъ... И про француза... и объ репараціяхъ... "грабятъ", одно слово, что и говорить... А какъ расходиться стали мы, пьяненькіе, конечно, запъли... Человъкъ не звърь... И запъли они... что бы вы думали, ваше высокопревосходительство! «Deutschland über alles»!.. Коммунисты?.. А!...
- Даа-съ!.. Вотъ тутъ я и не повърилъ, что коммунисты наши настоящіе... Если ужъ въ партію итти, то въ настоящую... въ нацис-

ную... а не то что... Чего же это я попру въ коммунистическую... Можно и свою партію... собственную...

И Фритцъ, глотнувъ шестую пузатую банку пива, осовълъ, призадумался...

— А мѣсто, баринъ, получить это точно трудно... нуженъ билетъ партейный... Да чтобы партію твою побаивались... Вотъ я черезъ одного нациса мѣсто свое въ ателье и получилъ... Вотъ это партія!.. Коли не хочешь?.. Такъ я тебя за горло!..

Не понравилась Стратонову черезчуръ практическая сметка его бывшаго камердинера, но не выговоры же дълать Фритцу... Онъ у себя дома... и не указывать же ему, что не единымъ хлъбомъ живъ человъкъ...

- А есть у твоихъ нацисовъ и лозунги, Фритцъ?..
- Чего?.. Лозунги есть... Какъ безъ лозунговъ?..

Фритцъ Шубертъ имѣлъ основаніе полагать, что съѣденный нуждой русскій профессоръ давно разстался, давно забросилъ свои былыя университетскія лекціи, свою пропагандическую словесность и всякіе тамъ термины, оттуда...

— Лозунгъ, говорите ваше высокопревосходительство?.. А что на него купишь?.. Оно конечно хорошо, когда человъкъ и съ лозунгами ходитъ... Но спервоначалу надо человъку теплый уголъ, и пальтишко отъ зимы, и два кило хлъба въ день... Съ лозунгами конечно... оно посвободнъй... Съ лозунгами какое хочешь правительство сбросить можно... вотъ какъ у насъ, въ Санктъ - Петербургъ, ваше высокопревосходительство, но -- обратно его не посадишь... У насъ, поглядите, сейчасъ послъ войны тоже съ лозунгами позачинали... но ихъ было не такъ много какъ у васъ... да и то отъ этихъ лозунговъ и по сю пору едва дышемъ... А у васъ тамъ въ Московіи одни лозунги и были... да правовъ подавай побольше... Правовъ. говорю, ваше высокопревосходительство... У васъ спервоначалу каждый Schnorer правовъ требовалъ... У насъ же, тутъ, по иному... каждый сначала свою обязанность блюдетъ... а тамъ и правовъ себъ ищетъ... А не наоборотъ... Лозунги дъло хорошее, какъ компотъ къ хорошему объду... Безъ лозунговъ въ хорошемъ домъ нельзя...

Учрежденіе, вѣдавшее, послѣ войны, уплотненіемъ и размѣщеніемъ нахлынувшихъ, своихъ собственныхъ, и изъ чужихъ странъ, людскихъ массъ, предоставило и переплетчику Майзелю, бѣдному горбуну, послѣ долгихъ мытарствъ и хожденій по комиссаріатамъ, квартирку изъ двухъ съ половиною комнатъ, на второмъ подворъѣ, съ окнами во дворъ, въ первомъ этажѣ, съ палисадничкомъ, гдѣ къ вечеру самъ квартирохозяинъ Майзель со своей женой и съ жильцомъ, подполковникомъ Копыловомъ, распивали чай со сливами, съ яблоками... Жена подполковника, баронесса фонъ - Валь, рѣдко могла участвовать въ этой семейной идиліи. Въ эти часы, темными сумерками, она какъ разъ уходила на службу, въ баръ, гдѣ всю ночь, за стойкой, обязана была, какъ настоящая русская баронесса съ языками, не только занимать гостей, мѣстныхъ и иностранцевъ, но составлять, еще, что въ голову взбредетъ, коктейли изъ разныхъ жидкостей, да и самой участвовать...

Служба въ этихъ танцевальныхъ барахъ — особенная, и хлъбъ этотъ оказался не только не легкимъ, но — адски алкогольнымъ и если, въ началъ практики, гости, случайно и не особенно еще настойчиво приставали съ угощеніями, и баронессь удавалось только для видимости дълать пару глотковъ, то спустя полгода подполковница Копылова, возвращаясь съ глубокимъ разсвътомъ, часто хмъльная, падала безъ силъ, иногда не раздъваясь, погружаясь въ кошмарные, тревожные разными видъніями, сны... Полторы комнаты занимала чета подполковника, а дальше, въ другой комнатъ, работалъ, мастерилъ, клеилъ, переплеталъ горбунъ... Подполковникъ ходилъ по домамъ и набивалъ папиросы, а когда работы такой не оказывалось, Копыловъ разыскивалъ фальшивомонетчиковъ и убійцъ... Первые годы послъ войны главный контигентъ преступности составляли именно этого сорта люди, и полиція за ничтожную плату охотно набирала такихъ вольныхъ Шерлоковъ. Убійцъ Шерлоки не накрывали, не находили, но слухи корытами доставляли они въ отдѣлъ Х. Горбунъ и Копыловъ жили мирно, мирно распивали они чай, хотя подполковнику стоило большихъ силъ спокойно выслушивать политическія воззрѣнія своего квартирохозяина. Оба вспоминали доброе старое время, — подполковникъ, — какъ онъ грудью отстаивалъ "послъднюю пядь земли", подъ Врангелемъ, а горбунъ — свой родной городъ Кишиневъ и послъдній Кишиневскій погромъ, когда "русскій

народъ полоснулъ его отца и выпустилъ ему кишки, а самъ онъ, младенцемъ шести лѣтъ, вмѣстѣ съ перинами, спущенъ былъ съ балкона и вотъ... съ тѣхъ поръ онъ... этотъ горбъ...".

— Все, господинъ подполковникъ, измѣняется, все проходитъ, пройдутъ и волны революціи, — все, только онъ, горбъ мой, останется на своемъ мѣстѣ, а былъ я, разсказывала мамаша, славный мальчуганъ, и прямой какъ этотъ фонарь, а за что, позвольте спросить, ваше благородіе, мнѣ такое отъ вашихъ наказаніе?.. Вы все ругаетесь проклятая революція да трусливая интеллигенція, — извините, съ революціей еще какъ нибудь проживешь, а хуже горба ничего не бываетъ... Лучше бы тогда въ Кишиневѣ и меня бы дорѣзали...

Когда переплетчикъ Майзель говорилъ о горбъ своемъ, онъ какъ бы пришептывалъ, оглядывался, голосъ понижалъ...

— Что революція? Безъ революціи, ваше благородіе, нельзя послѣ этого!... Безъ Кишинева не бываетъ революція...

Не разъ уже вскакивалъ подполковникъ съ табуретки съ углубленнымъ, точно ваксой натертымъ, поблескивавщимъ сидъніемъ.

— Ну, знаете ли, господинъ Майзель, — вы на меня не обижайтесь, я вамъ добра желаю, — какъ бы ваши большевички не обозвали свою революцію соціалистической, я назвалъ бы ее жидовской, — да, да, жидовской... а вы тутъ непричемъ, и васъ я ни въчемъ не виню.

Давидъ Семойловичъ Майзель признавался какъ то, что ничему онъ такъ не завидовалъ, какъ только силъ и росту. И часто горько страдалъ онъ отъ сознанія безсилія, вынужденнаго отступленія передъ каждымъ обидчикомъ. Однако первое же подобное столкновеніе обошлось подполковнику дорого, пара сотенъ готовыхъ папиросъ были растоптаны и выброшены на черный дворъ и — отказъ отъ квартиры!.. Послъднее оказалось пустой угрозой, ибо угловые жильцы были тогда какъ бы закръпленными за "квартирохозяиномъ" и не зависъли отъ его настроенія. Но — другое дъло — папиросы чужія, готовыя, набитыя папиросы... И подполковникъ смирялся, глубже долженъ былъ прятать свои сокровенныя, выношенныя имъ, какъ онъ върилъ, еще на фронтъ, политическія убъжденія ,не поддававшіяся никакимъ натискамъ добровольныхъ и наемныхъ "жидовствовавшихъ", въ окопахъ, агитаторовъ... Не могъ же русскій подполков-

никъ все это, на его глазахъ происходившее, такъ все просто забыть, и всюду, во всъхъ своихъ несчастьяхъ искалъ онъ "жида"...

Не забывалъ онъ, и никогда не проститъ онъ, и своего знаменитаго "отца", сенатора, высшаго царскаго слугу, профессора, его высокопревосходительства, дъйствительнаго тайнаго совътника Ивана Константиновича Стратонова!

- Никто какъ онъ! Они, это все они!.. Па-па-шка мой!..
- Охъ, ужъ эти... словесники, и по заслугамъ же наказанны, они, эти пътушинные пъвцы гражданскихъ свободъ!..

Язвительный, но по существу очень добрый и самъ глубоко несчастный, человъкъ, былъ подполковникъ Копыловъ и, какъ школьникъ изъ неудачниковъ, очень радовался онъ, когда съ его языка срывалась безсмысленная, но витіеватая фраза. Вылетало это у него "пътушинный пъвецъ свободы" и радъ, и самъ, удивленный и довольный, уставлялся онъ на переплетчика.

Вздорожалъ ли табакъ, или побъднълъ народъ, но и подполковникъ лишился какихъ бы то ни было занятій. Убійцы и фальшивомонетчики тоже упорно не давались въ руки, и Копыловъ только и дълалъ, что нервно потиралъ свою оголенную волосатую грудь, ръдко брился, изъ ночной разстегнутой сорочки не выходилъ и пролеживалъ спину на холодномъ клеенчатомъ диванъ, съ протертыми, паклей вытороченными, боками...

Майзель охотно прощалъ, върнъе, мимо ушей пропускалъ, всякаго рода специфическія словечки его, не понималъ онъ, и на подвыпивавшаго, духовно одичавшаго, подполковника не оби-жался.

— А пусто стало въ домѣ у насъ... И жены наши не съ нами... А старика отца зря обидѣли вы, ваше благородіе, грѣхъ большой, родителя прогнали!.. Тяжкій то грѣхъ!.. Папаша вашъ, профессоръ, что знамя оттуда, странникъ отверженный, совѣсть наша, а вы то что дѣлали? Приходила воскресенье кухарка Кузнецова, о вашемъ здоровьѣ навѣдываться, — тоже баронессой была, все забыла, и человѣкомъ въ полномъ совершенствѣ стала. А я, съ вашего позволенія, и пригласилъ батюшку вашего, его высокопревосходительство... Вѣдь одни вы все, — и совсѣмъ уже тихо, — изволили опуститься, господинъ подполковникъ, бриться перестали, длинную черную бороду отпустили, духъ потеряли... А профессоръ то намъ, дуракамъ, лекчонку прочтетъ, просвѣтитъ насчетъ перспективъ

тамъ... Кто знаетъ, а можетъ мы скоро и дома у себя будемъ!.. На родину вернемся!..

Переплетчикъ читалъ всякія книжки, всѣхъ направленій, и по этой причинѣ часто задерживаетъ у себя совсѣмъ уже готовыя къ сдачѣ заказы...

— А толкъ то съ него какой, съ папаши то моего! Одинъ только пафосъ свободы и остался... Слышалъ какъ - то — на совсѣмъ уже низкихъ нотахъ сердито прошипѣлъ Копыловъ — даже штановъ, ничего у него теперь нѣтъ. И ни пафоса, ни свободы... Всѣ мы можемъ теперь свободно отъ голодухи вымирать, и никому дѣла до насъ нѣтъ...

Когда работишка еще водилась, подполковникъ цѣлый день сиживалъ въ чужихъ домахъ, папиросы набивалъ, а къ вечеру, чтобы съ женой своей хоть парой словъ обмѣняться, не приходилось, невозможно... Баронесса на службу торопилась и возвращалась далеко за полночь, а часто и глубокимъ разсвѣтомъ. Хорошо еще, что и такая каторжная служба, коктельная, досталась, а то вдвоемъ приходилось бы теперь круто и сухо; военный человѣкъ, что, онъ въ дѣлахъ понимаетъ, а когда дѣлъ и вообще не стало, — народъ что-ли курить пересталъ, — мужъ что трупъ на диванѣ... Дѣла и у переплетчика пошли тише, и жена его, Розалія Борисовна, такая ясная, улыбчатая, крѣпкая, массажемъ занималась, и каждый день нѣсколько монетъ, довольная, домой приносила.

Не радовался чужому массажу только горбунъ. Но въ каждомъ несчасть в есть и доля неказистой радости, какое то безпредметное самоут вшеніе... В вдь этому подполковнику еще хуже... онъ вообще своей жены не видитъ...

— У подполковника и жена есть, и какъ будто вовсе нътъ ея... Уходитъ она съ закатомъ, а возвращается съ зарей, и странная она такая, веселая, возбужденная, но тихая про себя, и часто тихо плачетъ... только слышно, а не видно... И... и... платье на ней, и шляпка... и — не все застегнуто и — на боку... Вотъ бы разочекъ въ этотъ баръ заглянуть: "народу, говоритъ, страсть какъ много и на десяти языкахъ всъ говорятъ, и мужчины, и дамы верхомъ на стульяхъ, а почему верхомъ — объяснить не можетъ... Баръ?.. И что тамъ такое господа всю ночь дълаютъ, сколько платютъ, а то баронесса все улыбается... плачетъ и улыбается, и съ моей Розаліей шушукается...

Любопытнъйшее явленіе! А подполковникъ совсѣмъ, совсѣмъ озвѣрѣлъ... Все съ кулаками встрѣчаетъ жену на зарѣ... На жену свою!.. "Стерва, — оретъ, — зарѣжу, задушу"!.. А ей хоть бы что, спитъ какъ прекрасная покойница...

Наблюденія и невольное подслушиваніе заутреннихъ супружескихъ сценъ смущали покой и наполняли душу переплетчика тревожнымъ смысломъ, на его глазахъ разсыпающейся и отравленной чужой жизни, и онъ еще бережливъй, еще чутче оберегалъ утренній сонъ своей Розаліи, плотнъй ватнымъ одъяломъ оберегалъ, накрывалъ онъ свою Розалію, чтобы ничего такого грубаго не доходило до слуха ея, и переплетчикъ Майзель точно заранъе предугадывалъ, смутно часы считалъ, чувствовалъ предразсвътное возвращеніе изъ бара баронессы, подполковницы... Какъ часто, бывало, она, хмъльная и съ размытой пудрой и румянами на лицъ, не раздъваясь, ничего не снимая съ себя, въ мертвой усталости падала она на, дугой изогнутую, неубранную, постель, выкрикивая въ нервномъ снъ прямо кошмарныя слова, брань, и заливаясь дерзкимъ хохотомъ...

Жалость къ людямъ и животнымъ выдумали женщины. Сами слабыя и беззащитныя, онъ становились на сторону такихъ же, ища инстинктивно подкръпленія и сочувствія къ себъ самимъ. Подполковникъ растерялъ всъ виды на заработокъ, потерялъ онъ, въ виду особой службы жены, общеніе съ собственной женой, размякъ, озлобился, разлічнился, опустился, душевно захирізль... Хліббь жены, зарабатываемый въ ночныхъ барахъ закономъ непредвидънными средпроглатываніемъ неопредъленнаго количества коктелей и прочихъ мутныхъ смъсей, насильнымъ угощеніемъ и простымъ спаиваніемъ разныхъ джентельменовъ, — хлѣбъ этотъ, домой его женой, баронессой фонъ-Валь, первое время, точно пламенный дымъ, сквозь узкую щель, въ горлъ застревалъ, обжигалъ, душилъ... Но голодъ и ослабленная воля прокладывали этому корму выжженные пути, и мужъ уже не спрашивалъ, опасался спрашивать. не справлялся, только дикія, злыя, ревнивыя мысли, какъ огненные языки, рвали мозгъ, будили дикія сцены любовныхъ оргій, послъ закрытія этихъ баровъ... Изръдка, искоса бросала жена сострадательные взгляды на мужа, на этотъ преждевременно скошенный, примитивный, дубъ, но взоры эти быстро соскальзывали, трудно судить. кто изъ нихъ двоихъ заслуживалъ большаго сожалвнія. Не искала,

открыто избъгала баронесса встръчи съ окружающими и, главное, изъ своей среды. Презръніе къ себъ и ко всему живому носила она въ себъ, презирала и себя, и своего подполковника, и переплетчика, горбуна, что такъ смѣшно цѣплялся за свою крѣпко скроенную Розалію, а еще пуще раздражали ее бестіды этихъ двухъ политиковъ, съ ихъ какими то тамъ еще міровыми "проблемами", соціальнымъ строемъ, "лозунгами"... Она одна, измученная и налитая, рыхлая и дряблая, познавшая за два года въ баръ, въ обществъ разныхъ ученыхъ и неученыхъ разныхъ странъ, званій и состояній, цізну всізмъ этимъ словамъ, объщаніямъ, ласкамъ, незаслуженной внезапной пьяной грубости и озорства... Что ужъ лозунги и міровыя проблемы!.. Ея фигура стала замътно сдавать, нелавно еще упругія, какъ кисти винограда, груди свисали что набитыя отъ бокса рукавицы, и желто - оранжевыя, густо - наложенныя, бълила не лись больше на рыхломъ лицъ, и къ тремъ часамъ ночи, потныя, стекали бълила по щекамъ, что бугристыя струи отъ таявшей стеариновой свъчи... Смутно и тревожно чувствовалось, что даже и эта окаянная служба въ баръ не прочна, уже поколебалась, и ясно видитъ баронесса, что съ десятокъ, какъ бывало она, цвътущихъ, глазастыхъ, упругихъ кандидатокъ улыбчато поджидаютъ ея паденія, готовы даже поддержать ее въ случав обморока, чтобы самимъ тутъ же, за стойкой рядомъ състь, и даже безъ жалованья...

По мѣрѣ все возраставшей безработицы квартира Майзеля изъ двухъ съ половиною комнатъ стала постепенно походить на склепъ съ прокоптѣвшими сводчатыми потолками, затхлостью кожъ, и горло сжимающимъ переплетнымъ клеемъ, неубранными обрѣзками, дурно пахнущими окурками и давно нестираннымъ валявшимся бѣльемъ подполковника...

— Господи, да въдь въ тюрьмъ въ тысячу разъ милъй!.. Хоть бы одного свъжаго человъка, хоть бы одного русскаго, простого, сердечнаго, пусть несчастнаго, но — безъ... безъ этихъ "проблемъ"!..

Легко возможно, что нервы обреченной на ночную жизнь женщины, и они не выдерживали больше "политическихъ" дебатовъ, и этихъ двухъ, осъвшихъ на плечи своихъ женъ, мужей...

Подполковникъ ни газетъ, ни книгъ не читалъ. "Усталъ, говоритъ, никому больше не върю", — читалъ и перечитывалъ только воспоминанья извъстныхъ генераловъ о бывшихъ нъкогда ледяныхъ

походахъ... Но стоило и подполковнику столкнуться, прочитать слово лозунгъ, какъ вскакивалъ и онъ, какъ ошпаренный, и бѣдная книга летѣла въ палисадникъ...

— Одни лозунги, чертъ бы ихъ побралъ!.. Господинъ хозяинъ, знаете вы, кто насъ погубилъ?..

Возившійся въ кле'в переплетчикъ испуганно уставлялся на подполковника, а его роговые очки соскальзывали ему прямо на подбородокъ...

Подполковникъ не унимался.

- Лозунги, братъ Горбуновъ, всѣхъ насъ погубили, лозунговичей!!...
- А вы бы, ваше благородіе, не матюкались въ присутствіи дамъ, понимаете, спокойно и разсудительно обрывалъ этого невоспитаннаго вояку переплетчикъ, тутъ же замътивъ, что дамы то не въ комнатъ и мирно бесъдуютъ онъ въ палисадникъ.

Подполковникъ одинъ знаетъ цѣну своимъ дамамъ... Никто какъ онъ, гдѣ ужъ горбуну разбираться въ этихъ тонкостяхъ...

- А какія такія дамы у насъ, позвольте васъ спросить, господинъ Майзель?! Моя собственная жена во первыхъ не дама! Какія же это дамы въ ночныхъ барахъ?! А ваша очаровательная Розалія Борисовна...
- Вы только посмъйте!.. Посмъйте только, господинъ подполковникъ!.. задыхаясь и всъмъ маленькимъ тъломъ трепеща, и за станокъ хватаясь, наступалъ маленькій человъкъ на гориллу, что мышь на ведро, — вы только посмъйте!.. Мою жену, мою Розалію Борисовну!..
- Жену?!.. Ха-ха-ха!.. Ну и шутникъ же ты, Давидъ... Ну, ка-кой же ты этой здоровенной женщинъ мужъ?!.. Лозунгъ ты ей, лозунгъ... воздухъ!..

Переплетчикъ потрясалъ кулачками, задыхался, за сердце хватался, и въ изнеможеніи, какъ дохлая, усталая осенняя муха отъ стекла, отскакивалъ онъ отъ этого звъря и, обхвативъ голову руками, тихо рыдалъ... Не искалъ горбунъ въ квартиранты волосатаго подполковника, помъстили его туда насильно, ибо время такое было, что двъ съ половиною комнаты считалось для одной семьи изъ двухъ человъкъ роскошью...

Подполковникъ легко могъ видѣть и слышать разорванные трупы, кровь, стоны агонизирующихъ, но только не слезы и не крики имъ же, необдуманно, неумышленно, обиженныхъ людей. И онъ бросался къ горбуну, ласкалъ его, даже съ земли, шутя, приподымалъ.

— Ну, Давидъ, прости, прости, не хотълъ я тебя обидъть... Языкъ мой безъ дъла, безъ костей... ну, вотъ, и ляпнешь глупость... Успокойся, твоя Розалія Борисовна ничего не слышала, успокойся...

На порогъ робко появились Стратоновъ и Кузнецова.

- Ахъ! А вотъ и папаша?.. Здравствуйте, здравствуйте, Иванъ Константиновичъ, давно бы пора!.. Ну, я, виноватъ, прости, вспылилъ, папаша... Здравствуйте, Марья Ивановна, спасибо, что старика привели!.. Сейчасъ мы самоварчикъ... сливъ... яблочекъ... Ну, вы знакомы, какъ же, и переплетчикъ сердечно и почтительно пожималъ руку старика, профессора Стратонова!..
- Вотъ сюда, сюда поближе и поудобнъе, ваше высокопревосходительство!..

Вошла и жена переплетчика и тепло такъ обрадовалась свъжему человъку, почтенному старику, знаменитому профессору, и скоро наскребли варенья, лимону, масла, огурцовъ, хлѣба, чаю... чаю...

Кузнецова, не ожидавшая такого теплаго и привътливаго пріема старику Стратонову, скоро вошла въ роль хозяйки дома и помогала хозяйкъ быстро все наладить, хлъба съ масломъ, съ огурчикомъ подсолить, помидоръ наръзать, длинный рабочій верстакъ простыней перекрыть, и всъ почувствовали себя, отъ такой незначительной перемъны, такими мирно настроенными, примиренными, старыя дрязги позабывшими, и всъ такъ на старика, на такого знатнаго профессора, умиленно глядъли, точно вотъ онъ, всезнающій, такое откровеніе, такое чудесное слово скажетъ о родинъ, что сразу падутъ, сгинутъ и этотъ ихъ склепъ, и эта бъженская могила, и воскреснутъ, зацвътутъ новыя надежды, и возрадуется усталое притупившееся сердце...

... Молчалъ старикъ. И только съ сына, съ подполковника N-скаго Гусарскаго Ея Величества полка не спускалъ онъ своихъ большихъ, вопрошающихъ глазъ, въ которыхъ можно было читать и безсловесную тоску, и надломленную вѣру, и тщету и приговоръ всему содъянному и чувство какой-то вины, — почему именно отъ него, отъ Стратонова, — вѣдь ихъ, такихъ какъ онъ, были тысячи и тысячи, — "почему именно отъ меня, едва полуживого, всей жизнью заплатившаго, ожидаютъ эти люди какихъ - то пророчествъ, путей, перспективъ и надеждъ... На что?"... Значитъ всѣ они, какъ и тѣ аудиторіи, откуда онъ бѣжалъ, знаютъ, слышали, какъ онъ, Стратоновъ, не только писалъ, громилъ, хулилъ, требовалъ, они знаютъ, что и онъ былъ въ числѣ тѣхъ "освободителей", что требовали у лежачаго и связаннаго — отреченія, что и онъ лягнулъ его!.. И не вѣритъ Стратоновъ учтивости и радушію этихъ скромныхъ людей... Ихъ нужда, ихъ страданіе, ихъ обликъ — всѣмъ этимъ, этой безысходной нуждой, ему обязаны они, — всѣ ему одному обязаны они своимъ позоромъ, своимъ униженіемъ, своей нищетой!..

Стратонова, взвалившаго на себя, за себя и за всъхъ, тягчайшія гири мученичества, пробиравшагося и часто лишаясь послъднихъ силъ, когда ему казалось, что скоро - скоро онъ, Ему Праведнъйшему, отдастъ свое дыханіе, Стратонова въ эти минуты агоніи, утоляли вспыхивавшіе, изъ глубины возникавшіе, огни... думы...

Не убивай себя. Была великая, святая, богатъйшая, плодороднъйшая, необъятная... Да, была! Былъ и Христосъ! Но — преступной и темной толпой распятый — явилъ онъ спустя въка міру величайшее чудо, безмърную драгоцънность и непоколебимыя установленія!.. Воскреснетъ и Она, распятая, твоя страна, а случившееся свершилось лишь только раньше срока... но не свершиться оно не могло!..

Но эти проблески только мгновеньями утишали боль...

И Стратоновъ все больше и больше погружался въ себя самого, въ какое то уединенное самосозерцаніе, избъгалъ споровъ, диспутовъ, людского шума и суеты, часто откладывалъ, не дочитывая, тяжеловъсные фельетоны и горячія полемическія статьи въ толстыхъ журналахъ —не потому, что авторы, коллеги и земляки его, дълали ненужное дъло, — напротивъ, — онъ имъ удивляется, удивляется ихъ мужеству, неустанности, ихъ привычкъ одну и ту же молотую рожь еще и еще молотить, выбивая и лишая ее ея жизненныхъ витаминовъ...

Лишившись всего, Стратоновъ захотълъ, быть можетъ, въ сей послъдній его часъ, взглянуть еще разъ на сына... на первый гръхъ его первой страстной любви... тамъ, далеко... въ Италіи... Дътей другихъ, въ законномъ бракъ, у него не было, и привезенный, доставлен-

ный ему такъ неожиданно двухлѣтній мальчуганъ, чтобы не разбить своей и чужой семейной жизни, былъ Стратоновымъ принятъ, не могъ не быть принятымъ, но — усыновить тогда не могъ... А потомъ. Отцы и дѣти разошлись. Дѣти отстаивали послѣднюю пядь родной земли, отцы же — словесно воевали...

Все же обрадовался и сынъ старику, но это однако не мѣшало подполковнику отзываться о сочиненіяхъ, диспутахъ старика съ нѣкоторой легкой ироніей...

- А вы бы, папаша, какую нибудь намъ лекчонку накрутили.
- Накрутили?..
- Да не въ словахъ, дорогой Иванъ Константиновичъ, дѣло!.. Эхъ, если бы я зналъ, о чемъ, я бы и самъ такую лекцію, такой докладъ съ преніями отмочилъ!.. Вся колонія пальчики бы облизала... Лучшаго занятія и не придумаешь... А на чемъ другомъ теперь пару монетъ заработаешь?!..
- Извините, господинъ подполковникъ, откликнулся изъ угла Майзель, если я скажу, что вы человъкъ не почтительный...
- А вы, ваше высокопревосходительство, не обращайте вниманія на этого, очень добраго, но... извините, немножко придавленнаго человѣка... Не обижаться на него, а пожалѣть его надо, и совсѣмъ уже тихо, наклонившись надъ ухомъ профессора, горбунъ продолжалъ, одичали мы, господинъ сенаторъ, и мы всѣ, и всѣ кругомъ насъ духомъ кончаются, и ничему мы больше не вѣримъ, не на что больше надѣяться, только и пища духовџая наша, печатныя разныя воспоминанья да сочиненія, вотъ, поглядите "Очерки русской культуры", славная книга, океанъ знаній!..
- А вы, папаша, какъ бывшій сторонникъ высшей соціальной справедливости, ну что бы вамъ въ самомъ дѣлѣ лекчонку публикѣ преподнести!.. И вспрыскиваніе для духомъ падшихъ, да и пару монетъ заработать можно, я бы, папаша, вновь пріобрѣлъ бы себѣ живой папиросный возокъ... а то.. а то иногда просто... руки на себя наложить хочется...

Подполковникъ вспомнилъ въ этотъ моментъ хлѣбъ жены и... раскисъ...

Подполковникъ одно время не могъ жаловаться на свою судьбу .Цълые дни разъъзжалъ онъ, а то подолгу останавливался онъ на оживленныхъ площадяхъ и углахъ въ своемъ имъ самимъ смастерен-

номъ папиросномъ, на колесахъ, и съ одной оглоблей во внутрь, досчатомъ домикъ, изъ котораго не выльзаль человъкъ иногда сутки... Только по выступавшей, — больно высокаго роста былъ этотъ военнаго званія папиросникъ, — изъ подъ крыши - потолка этой живой лавки, что закоптълая труба изъ хибарки, — только по этой головь прохожіе догадывались о продавць папирось. И знали прохожіе эту живую папиросную лавку, и волосатая рука протягивала покупателю сигары и "настоящія русскія папиросы"... И зарабатывался хлъбъ, и оплачивались полторы комнатки, и были еще койкакія сбереженія. Но на одномъ мъсть ничто въчно не остается, и однажды возокъ, со всъмъ живымъ и мертвымъ инветаремъ, въ осеннее ненастье, отъ неосторожнаго поворота такси оказался въ щепы расколотымъ, а подполковникъ, съ раненой головой, долгіе мъсяцы въ больницъ набирался, въ который разъ, новаго живого духа... Вотъ съ тъхъ самыхъ поръ жена его и стала самостоятельно зарабатывать хлѣбъ...

— Папаша... вы слышите меня, папаша, — спазмы вдругъ перекосили горло и нъсколько жесткихъ слезъ застлали выцвътщіе глаза, — понимаете, папаша, я питаюсь уже нъсколько мъсяцевъ ея даяніями... ея хлъбомъ... ночнымъ хлъбомъ... Нищета огромнъйшая... И достаетъ она, жена моя, этотъ хлъбъ въ какихъ то ночныхъ барахъ... руки и ноги цъловать мнъ у нея... а я ее!.. Такими словами!.. И... презрънный я, послъдній человъчишко... вы еще многаго не знаете... не угадаете... какая то пакость на мои плечи легла... я, напримъръ, у этого маленькаго человъка, у такого добраго горбуна, нищаго переплетчика, быть можетъ, послъднее отнялъ, — онъ перевелъ духъ, тяжко вздохнулъ, — и сдълалъ я замъчательное наблюденію, папаша, гдъ нищета, тамъ и пакость... пакость тащится за нищетой и наоборотъ... Презрънный я и... мой квартирохозяинъ замъчательный человъкъ, а я его обокралъ... обокралъ... мы душевно и духовно умираемъ.. вымираемъ, папаша, а вы... столько сочиненій и докладовъ написали о... о... соціальной справедливости и... международномъ правъ...

Слушали всѣ, одни ничего не понявъ, другіе — удивленные прорвавшейся сердечностью... самоистязаніемъ подполковника, но всѣ чувствовали, что такъ то лучше... лучше для самаго подполковника... Такъ, ѣдкая, давящая, знойная пыль отлетаетъ отъ первыхъ

капель долгожданнаго дождя... Меньше другихъ понялъ горбунъ, переплетчикъ. Онъ зналъ, изъ книгъ, что разъ у человъка, пусть и на мгновеніе, открылось сердце, разъ человъкъ, на людяхъ, не щадя себя, обнажилъ свои раны, свои ошибки, то онъ готовъ взвалить на себя и свои и чужіе гръхи...

— Ну, что ужъ могъ одинъ бѣднякъ украсть у другого нищаго, — нѣтъ, это подполковникъ зря себя истязуетъ, у него, горбуна, украсть нечего, — голый онъ... оба голые...

И переплетчикъ подмигивалъ и профессору, обрадовался горбунъ такому душевному откровенію, — не мѣшайте, молъ, подполковнику, пусть еще и еще говоритъ, исповѣдуется, пусть клевещетъ на себя... сердце очищенія, покаянія жаждетъ...

— Ваше высокопревосходительство, господинъ профессоръ, господинъ подполковникъ преувеличиваютъ, ихъ благородіе человъкъ добрый, сердечный, но... какъ всъ мы... ни къ чему... Поплакалъ человъкъ, значитъ ему же и лучше и... значитъ жива еще душа человъка...

Старикъ слушалъ... молчалъ... въ прахъ бы отъ переживаемыхъ мукъ разсыпался бы... но — "этимъ людямъ нуженъ не прахъ... и не думы... и не... теорія соціальныхъ справедливостей... и — что можетъ онъ, пробирающійся, дать имъ конкретнаго, если не голодъ, то коть душу утоляющаго"..

— "А если у всъхъ у нихъ душа изныла, что могу я, самъ духовно нищій, сказать имъ... слова"?...

И точно въ униссонъ съ переживаніями профессора переплетчикъ, этотъ ненасытный книжникъ, все приставалъ къ Стратонову, хотълъ какъ бы набраться свъжей мудрости...

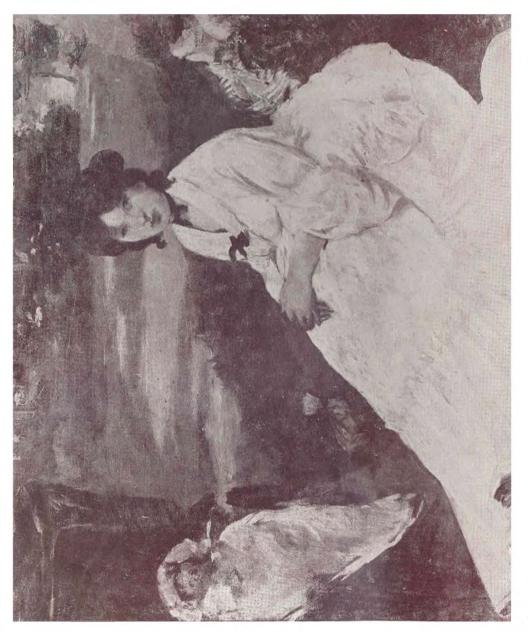
— И дивлюсь я, ваше высокопревосходительство, ваши коллеги еще живуть... еще жить могутъ... Вотъ нашъ народъ возьмите, какъ палъ нашъ Храмъ... и стѣны Іерусалима... и мы всѣ... перемерли... и не возсоединимся мы такъ скоро!.. и ужъ сколько тысячелѣтій!.. только и живемъ... что... по Нансеновскому паспорту... Всѣ евреи, гдѣ бы они ни жили... это дѣти Нансена... Я такъ полагаю, господинъ сенаторъ, что будетъ такъ долго... долго, пока огромнаго жертвеннаго подвига кто нибудь изъ вашихъ не совершитъ!.. Да подвига... Опредѣленно... А ваши... какъ будто ничего и не случилось... Пишутъ... пишутъ... Такое Добро!.. Такой Храмъ!.. Такую, можно ска-

зать, золотую родину въ пропасть свалили, опрокинули... а продолжаютъ еще что-то писать... другимъ что-то доказывать... А жилъ бы я въ дни паденія Іерусалима, я бы, я бы вмъстъ со своими, со всъми, на весь божій міръ, всенародно бухнулся бы въ землю, да въ самый прахъ, да и крикнулъ бы передъ чужими народами, — пусть знаютъ, пусть запомнютъ, пусть с в о е кръпко оберегаютъ, и собралъ бы я всъхъ своихъ и завопилъ бы:

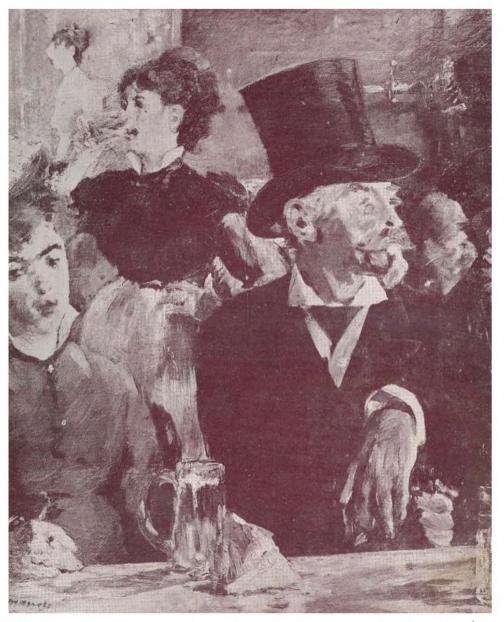
— Вотъ мы, окаянные, предъ вами... не ждите отъ насъ откровеній, весь нашъ пафосъ свободъ — одна высокопарная демагогія, что пузыри... и предательство... Сами мы... мы сами... вамъ, европейцамъ, на утъху, на утъху, развалили, подожгли мы нашъ домъ, нашъ храмъ... нашу несравненную великую!.. Великое это слово — родина!...

Подполковникъ поднялся во весь свой ростъ, обнажилъ волосатыя руки.

- И послѣ, подполковникъ оборвалъ переплетчика, вышелъ бы и я одинъ впередъ и вызвалъ бы кого нибудь изъ почтеннъйшей иностранной публики и сталъ бы просить, чтобъ трахнулъ меня кто нибудь по мордѣ... чтобъ кровь пошла... и если бы не нашелся такой, то самъ... самъ себѣ судья... то со всего размаху или прямо головой объ стѣну... Не осознали мы еще всего нашего настоящаго уничиженія... А осознаемъ... скоро... скоро... Дальше еще хуже!.. И только такая кара, такое осознаніе выпрямило бы нашу спину... исцѣлило бы... помогло бы подняться... выпрямиться... а то мы еще хорохоримся. что то будто очень важное сдѣлали... пѣтухами въ преніяхъ разныхъ то и дѣло время проводимъ... окаянные!..
- Назначить такой одинъ день въ году, вмѣшался снова переплетчикъ, и въ отрепьяхъ, пепломъ осыпанные, всенародно, на міру у всѣхъ, передъ союзниками и несоюзниками, и безъ особыхъ рѣчей лечь костьми, во прахѣ, и пусть чужіе народы пройдутся по насъ, не босыми, а стоптанной обувью...
- Ну, нътъ-съ, господинъ Майзель, извините, я не согласенъ. Достаточно валялся я въ окопахъ... Я стойко и мученически служилъ, защищалъ и оберегалъ честь нашего оружія... вплоть до февраля!.. А за остальное пусть отвъчаютъ они... они... эти... вотъ они... указываетъ на старика Лозунгъ Лозунговичи!... Это вы, это они въ тылу пъли гимны свободъ... гимны безумію!.. "Свобода, молъ, по-



Манэ. Скверъ.



Манэ. Кафе-концертъ.

Manet. C ifé-con 31 t.

купается кровью", — чьей? "Война до послѣдняго солдата", — за счетъ чьей страны? — дозвольте васъ спросить!..

Вошли и дамы, доставшія кой-какую провизію и хлопотавшія за накрытымъ столомъ, — какъ же не накормить, не принять, не побаловать такого почтеннаго, такого безпомощнаго и все грустно посматривавшаго, молчавшаго старика!.. Всѣ перешли на кухню - плиту, въ комнату квартирохозяина, усѣлись за столъ, и впервые за долгіе, быть можетъ, мѣсяцы, повѣяло тутъ чѣмъ - то мирнымъ, ую гнымъ, семейнымъ, и всѣ почувствовали себя обновленными... облегченными...

# З. Н. ГИППІУСЪ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ТРОСТЬ

(Опять Мартыновъ)

Писалъ любовные мемуары. Бросилъ. Все какіе то случайные анекдоты, короткіе. А въдь бывало - же посерьезнъе? Попробуемъ. И чтобъ краткостью не соблазняться, но чтобъ не надоъдали и подробности, а писать искренно и старательно. Долгихъ подступовъ къ исторіи тоже не побоюсь.

I.

#### БАБУШКА

Случилось это въ годы, когда я былъ женатъ на моей бабушкъ.

Бабушка къ исторіи отношенія прямого не имѣетъ. Упоминаю вскользь, ради отношенія очень непрямого, — дальше видно будетъ, какого. А про женитьбу скажу только, что былъ моментъ, когда мнѣ нужно было оказаться "женатымъ", иначе хоть въ петлю. Почему — неинтересно. Вотъ она тогда и выручила меня, дорогая моя покойная бабушка (я ей троюроднымъ внучатымъ племянникомъ приходился, но съ дѣтства любилъ, уважалъ и бабушкой звалъ). У нея, въ Долгомъ, въ Тамбовской губерніи, мы и обвѣнчались утречкомъ рано, а послѣ, днемъ, я уѣхалъ. Почти что прямо опять въ Германію.

Вотъ, собственно, и все. Теперь будетъ новый подступъ, длинный, въ видъ цълой исторіи: чужой, не моей, но для моей ее приходится разсказать.

### ЧУЖАЯ ИСТОРІЯ. НАЧАЛО

Францъ фонъ Галленъ.

Самый мой близкій другъ, даже единственный другъ среди кучи пріятелей, студентовъ Гейдельбергскаго университета.

Старше меня, — ну, положимъ, я - то былъ тогда чуть не самымъ юнымъ изъ всѣхъ студентовъ. Никогда я не думалъ, что такого (современнаго) нѣмца могу встрѣтить. Зналъ, были прежде, но живого не надѣялся увидать. Былъ очень нѣмецъ (изъ хорошей, старой нѣмецкой семьи, чрезвычайно, притомъ, богатой) и окружало его какое - то нѣжнѣйшее обаяніе. Мечтательной тишины — соединенной съ острой мыслью, всегда глубокой. Писалъ, конечно, стихи (мнѣ они казались прекрасными, не хуже Новалиса) и серьезно занимался философіей.

Съ философіи сближеніе наше началось; потомъ ужъ пошло дальше.

И съ виду Францъ мнѣ казался такимъ, какимъ долженъ бы, по моему представленію, быть или молодой Шеллингъ, или тотъ - же Новалисъ, — кто нибудь изъ дорогихъ мнѣ прежнихъ нѣмцевъ; я ихъ обожалъ. Отъ плотнаго бурша въ немъ — ничего. Какіе глаза, съ голубыми блесками! Тонкій, даже слишкомъ тонкій станъ. Рисунокъ губъ немножко безпокоилъ: розово - нѣжныя, складывались онѣ съ какой - то трогательной безпомощностью.

Мы стали неразлучны. У меня не было отъ него тайнъ. У него, я думалъ, тоже. Отношенія идеальной дружбы. Какъ Тикъ и Вакенродеръ, восторженно вспоминалъ я.

Никакого оттънка старшинства въ его дружбъ не было. Только временами, неожиданно, проявлялось въ ней что - то не совсъмъ понятное для меня; какое - то нъжно - ласковое отдаленіе, словно бережность по отношенію ко мнъ.

Но я не задумывался надъ этимъ.

Потомъ мы разстались. И потекли годы. Раздѣлили насъ? И да, и нътъ. За эти годы я нъсколько разъ видълъ его, возвращаясь

въ Германію; но не это, а наша, не всегда частая, но постоянная переписка сблизили насъ... и совсъмъ по новому. Ушла юная, гейдельбергская восторженность, — Богъ съ ней! Я узналъ Франца, какъ онъ есть, и, по человъчески, върно, привязался къ нему. Я, впрочемъ, вообще въренъ.

Потому, когда пришло это послъднее письмо, гдъ онъ звалъ меня пріъхать, хоть ненадолго, — я не задумался. Давно его не видалъ, но то, что случилось съ нимъ года два тому назадъ, — зналъ. Теперь Францъ зоветъ меня. Зоветъ успокоеннымъ, почти веселымъ письмомъ. Но все таки зачъмъ - то я ему нуженъ? Поъду.

И поъхалъ.

III.

# ДРАМА И ТРАГЕДІЯ ФРАНЦА

Сквозь глициніевый покровъ, блѣдно - сиреневую сѣтку, шелковистую — ядовито - зеленое Іоническое море. Высокое. Съ муаровыми ласами ближе къ скаламъ. А больше ничего. Направо и налѣво отъ веранды — буйно - заросшіе горные уступы, — это садъ. Вилла — крошечный домикъ, — точно спрятана со всѣхъ сторонъ, точно провалилась она въ цвѣтущую заросль.

— Ты мой другъ, говоритъ Францъ, самый близкій другъ. Ты все знаешь, ты все можешь проникнуть умомъ и сердцемъ. Ты мнѣ нуженъ иногда, какъ никто въ мірѣ. Но я не обманываю себя: понять ты меня не можешь.

Милый, тонкій профиль на сиреневомъ шелкъ глициній. Глаза опущены.

- Францъ, что ты называешь "понять?"
- Какъ еслибъ ты былъ мной... на минуту. Да нѣтъ, вернулсябы въ себя опять забылъ. Это вотъ эта часть человѣческой жизни и существа, самая забвенная. И другъ въ другѣ самая непонятная, если не схожая. Могу встрѣтить человѣка случайнаго, далекаго, глупаго, противнаго, но который будетъ понимать. Мы съ нимъ будемъ "мы"...

- А я съ тобой никогда? перебилъ я. Ты правъ, вѣроятно; если рѣчь о такомъ пониманіи. Только видишь ли... Ты слушаешь меня, Францъ? Одни, какъ ты, познали себя; для другихъ, какъ для меня, все тутъ загадочно, и я самъ не знаю хорошенько, съ кѣмъ я "мы". Кажется, не съ тобой... Да, не съ тобой. Но, кажется и не съ ними...
- Нигдъ? улыбнулся Францъ и всталъ. Вотъ ужъ неправда! Это то я о тебъ знаю, и ты самъ знаешь. Но оставимъ пока. Хочешь, пройдемся? Къ Дикой скалъ, внизъ?

Неслышно ступая, вошелъ одинъ изъ служителей Франца.

- Signor...

Сказалъ что - то Францу, я не разобралъ, хотя по итальянски зналъ недурно. Но къ сициліанскому ихъ говору еще не привыкъ.

— Вотъ, не могу, — произнесъ Францъ, слегка пожавъ плечами. — Джіованне увъряетъ, что со снимками что - то неладно, которые у меня сушились. Надо пересмотръть. Ты придешь вечеромъ? Передъ закатомъ?

Я объщалъ. И, взявъ шляпу, вышелъ изъ сада на ослъпительную каменистую тропинку.

Я не живу у Франца. Онъ устроилъ меня въ знакомой ему семьъ, у венгерскаго художника, женатаго на нъмкъ; красивая вилла по ту сторону городка, Флоріола.

Домикъ Франца, запрятанный такъ, что ни откуда его не видать, называется Рах. А Францъ здѣсь, въ этомъ крошечномъ городкѣ Bestra — навсегда. Такъ онъ говоритъ, такъ мнѣ вѣрится, хотя... мнѣ почему - то за него больно, я даже возмущаюсь. Всю жизнь... а есть - ли ему 35 лѣтъ?

Францъ занимается художественной фотографіей. Для себя, конечно. Снимки его дъйствительно прелестны. Почти всъ сдъланы у него же въ саду, а садъ этотъ, съ его могучей растительностью, съ неизвъстными мнъ подчасъ, странными деревьями, похожъ не на садъ, а скоръе на рай въ счастливые дни, до гръхопаденія.

Францъ живетъ одинъ, — съ нѣсколькими служителями. Ониже и помощники его. Они же и натурщики, когда онъ снимаетъ свой райскій садъ.

Сначала я ихъ не различалъ: всъ одъты одинаково, всъ одного,

сициліанскаго, типа — не совсѣмъ итальянскаго, съ какой - то примѣсью: короткій, прямой носъ, и смуглота особая, съ золотомъ. Теперь я знаю и Джіованне, и Джузеппо, и Нино... и какъ его? самый маленькій?

Знаю немножко Бестру, знаю, почему ее именно выбралъ Францъ, когда, больше двухъ лѣтъ тому назадъ, рѣшилъ искать уединенія, "навсегда" порвалъ съ семьей и съ родиной.

Онъ мнѣ писалъ объ этой драмѣ. Писалъ подробно, открыто, не щадя ни себя — ни другихъ. И я хорошо понялъ, что грубый скандалъ, разыгравшійся въ грубомъ берлинскомъ обществѣ (такъ называемомъ "лучшемъ", къ нему принадлежалъ Францъ) — не могъ не быть для Франца "драмой", — и не могъ онъ ее не завершить, какъ завершилъ.

Я понялъ драму. Совсѣмъ, совсѣмъ, до конца понялъ. Но вѣдь за драмой Франца стоитъ трагедія? Вѣдь о ней - то и говорилъ онъ, что я не могу — какъ онъ понимаетъ пониманіе — ее понять?

Кажется, не могу. Или могу?

IV.

## ПРОДОЛЖЕНІЕ

Дома я засталъ вакханалію цвътовъ.

То-есть, не у меня, не въ моихъ комнатахъ, а въ громадной, полупустой, красивой комнатъ — салонъ - столовой — хозяевъ. Я туда сразу прошелъ, хозяйка окликнула меня изъ лоджіи, сверху.

Самого стараго венгерца, Маріуса, какъ, всегда, не было. Въ мастерской, очевидно. Я туда къ нему заходилъ; хорошо, только жара! а въдь еще апръль въ началъ.

На столахъ, на стульяхъ, даже на полу, кучами лежали цвѣты. Всякіе, отъ лилій, — и какихъ-то странныхъ, голубыхъ, — до полевыхъ и горныхъ асфоделей, фрезій, оранжевыхъ и розовыхъ ромашекъ. Эти вороха ловко разбирала Клара, съ помощью трехъ прислужницъ.

— Идите помогать! крикнула она, повернувъ ко мнъ худое,

молодое лицо. Блеснуло pince-nez, съ которымъ она не разставалась. — Это все друзья мои здѣшніе нанесли, нынче, вѣдь, день моего рожденія... А, дона Чиччія! перебила она себя, вставая навстрѣчу какой-то дикой сициліанской бабѣ съ очереднымъ снопомъ красныхъ цвѣтовъ. Заболтала съ ней по сициліански.

Хозяйка моя была очень популярна. Но я долго не могъ взять въ толкъ, почему и что это, вообще, за семья. Вилла Флоріола, едва я вошелъ, поразила меня гармоничностью линій, вкусомъ строгаго, скупого, внутренняго убранства. И нъсколькими картинами, — масломъ, сепіей, гуашью — женскія лица такой прелести, что не върилось въ портретность. Произведенія Маріуса, пояснила мнъ хозяйка, фрау Цетте (или Клара, какъ я мысленно ее называлъ). Клара эта была, прежде всего, ужасная "нъмка", съ ногъ до головы: ноги довольно плоскія, а бълокурые волосы съ чуть зеленоватымъ отливомъ.

— Нашъ общій другъ, Monsieur von Hallen, находить Флоріолу недурной, сказала она пѣвуче. Васъ здѣсь ничто не будеть оскорблять.

Я сразу понялъ, что эта нъмка не просто себъ молодая нъмка, отлично ведущая хозяйство. Хозяйство - то ведетъ, но она, кромъ того, нъмка съ "чтеніемъ" и съ "запросами". Это по русски, впрочемъ, — съ "запросами"; по нъмецки надо - бы какъ нибудь иначе, — съ "порывами", съ "мечтаніями"... практикъ не мъшающими.

Почему, напримъръ, говоритъ она со мной по французски? При Маріусъ мы переходимъ на нъмецкій, а чуть вдвоемъ — она французитъ. Говоритъ бъгло, акцентъ небольшой, но интонаціи голоса глубоко нъмецкія.

И причемъ этотъ Маріусъ, приземистый, грубоватый, диковатый, съ съдыми висками? Клара не очень красива, худа, костлява даже немного; однако наружности не непріятной, — птица въ пэнсънэ; и совсъмъ молода, тотчасъ объявила мнъ, что ей двадцать пять лътъ.

— Маріусъ самъ строилъ Флоріолу, по своему плану, самъ смѣшивалъ и краски для каждой комнаты; мы ее выстроили, когда поженились. Ахъ, она мнѣ дорого стоила! разоткровеничалась Клара (и это съ перваго знакомства). Вотъ не мечтала, что тутъ останусь

жить. Прі та за мюнхена ненадолго, съ братомъ - художникомъ... Маріусъ жилъ здъсь ужъ давно.

Я заключилъ изъ этого, что Маріусъ былъ бѣденъ, она — богата. Но зачѣмъ они поженились — не понималъ. Мнѣ было все равно, да ужъ такой характеръ: люблю, глядя на людей, какъ - то ихъ психологически устраивать, о нихъ догадываясь. Часто дѣлаешь невѣрныя догадки; ищешь непремѣнно смысла въ людскихъ поступкахъ, а всегда - ли онъ есть?

Тутъ я рѣшилъ, что Маріусъ не влюбился въ Клару, сумѣлъ какъ то обольстить богатую молоденькую дурнушку, и получилъ вмѣстѣ съ ней виллу и чудесную мастерскую. А увидѣвъ воочію оригиналы маріусовыхъ рисунковъ, такъ меня прельстившихъ, — каюсь: въ первую минуту заподозрѣлъ даже, что Маріусъ завелъ себѣ и гаремъ.

Вышло глупо: нътъ, три красавицы, — подлинныя красавицы! — были самыми несомнънными служанками четы Цетте. Въроятно, ихъ выбирали, какъ годныхъ и для этюдовъ Маріуса; но только съ этой стороны онъ ими интересовался. Клара учила ихъ работать и обращалась съ ними, какъ строгая мать. Три дъвушки, — даже дъвочки: старшей, Маріи, едва минуло 16 лътъ. Пранказіи, самой темной и огнеокой — 14. А Джованнинъ всего 12. Но Боже мой, какъ онъ, всъ разныя, были хороши! Не буду описывать, пусть бы Гоголь... Да и Гоголь спасовалъ со своей Анунціатой; кромъ того, здъсь и не было никакихъ условныхъ "итальянскихъ", римскихъ, красавицъ. Куда Анунціата передъ лицомъ Маріи, напоминающей Мадонну какого - то стараго испанскаго художника, или передъ ангельскимъ личикомъ Джованны! Я не могъ не подумать, что и Маріусъ, все таки, исказилъ ихъ, не справился. И я не могъ ръшить, которая лучше. Ну, Богъ съ ними.

- Вы сегодня будете объдать у насъ, сказала Клара, проворно связывая цвъты. Хотя въ такіе же красивые букеты, то длинные, то широкіе, связывали цвъты три пары смуглыхъ рукъ ворохъ не уменьшался. Послъ доны Чиччіи еще являлись такія же "доны", и всъ съ цвътами.
- Придетъ signor il dottore, придутъ... Клара назвала нъсколько лицъ изъ "высшаго" мъстнаго общества. Да, въ Бестръ было свое "высшее" общество: древнія фамиліи сициліанскія. Я даже быль,

съ фрау Цетте, съ визитомъ въ такой семъѣ — Клара повела меня туда, отрекомендовавъ, какъ своего друга, иностраннаго "барона", интересующагося старинными вещами. Онѣ были мнѣ показаны, но потрясло меня другое: существованіе, въ двадцатомъ вѣкѣ, такихъ людей, съ такими обычаями, въ такихъ домахъ живущихъ. Каменная лѣстница, вѣчная сырость, вѣчный темный холодъ: окна никогда не отворяются. На желѣзные узорчатые балконы никто никогда не выходитъ. Не принято. Мы видѣли какихъ - то старыхъ фефелъ, — я ихъ не различалъ въ сумракѣ и едва понималъ. Барышни не показываются. Впрочемъ, онѣ и на улицу не показываются. Гуляютъ изрѣдка, и только въ сумерки, съ накинутымъ на голову кружевомъ. Гулять не принято. А что было - бы, если бъ какой нибудь изъ этихъ "синьоринъ" пришло въ голову надѣть шляпку! Ничего нѣтъ болѣе "непринятаго". Къ счастью, синьоринамъ такой мысли въ голову не приходитъ.

— Когда я ихъ приглашаю объдать, я не зову иностранцевъ, продолжала Клара. — Вы — ничего, вы живете въ домъ. Мы сами иностранцы, но мы уже мъстные жители. И то нашъ единственный, кажется, домъ, гдъ они бываютъ. Такъ вы придете?

Обычно я объдалъ у себя, внизу, если не у Франца. Но случалось и у хозяевъ.

— Я... не знаю, отвътилъ я заплетающимся языкомъ. У меня... голова болитъ. Прошу... извините меня.

Дѣло въ томъ, что цвѣты меня одолѣли. Отуманили, одурманили. Въ сонъ какой - то погрузили. У меня было ощущеніе, что я объѣлся цвѣтами. Полусознательно продолжалъ ихъ перебирать, однако.

Клара ничего не замътила.

— Приходите! Или вы объщали M-r von Hallen?

Я вспомнилъ, обрадовался:

- Да... Ему объщалъ... Мадамъ Цетте, вы меня извините, у меня кружится голова...
  - A. это fiori di Portugaio! Съ непривычки, въ комнатъ...
- Нътъ, всъ, кажется вмъстъ. Какъ вы этотъ... цвътопадъ выдерживаете?

Она засмъялась. Хлопнула въ ладоши и — presto - presto!

велѣла своимъ дѣвочкамъ утащить куда - то вороха. Букеты остались. Голова у меня продолжала кружиться. Нѣтъ, пойду на воздухъ! Я всталъ.

- Je l'aime... Oh, que je l'aime... произнесъ около меня чейто тихій голосъ. Это не имѣло никакого смысла, некому было и говорить, а потому я испугался: бредъ, что ли, начинается?
- Какъ жаль, что вы не можете! сказала Клара. Вы намъ измъняете. Вотъ и M-r von Hallen — съ тъхъ поръ, какъ вы здъсь, — Флоріола его совсъмъ не видитъ. Это ваша вина.

Смѣясь, погрозила мнѣ пальцемъ, еще что - то болтала, но я уже не слышалъ: скорѣй, на террасу, и дальше, на дорогу. Хорошо бы на свѣжесть моря, — а то, вѣдь, и на воздухѣ (теперь я чувствую) вездѣ тутъ пахнетъ цвѣтами, цвѣтами, цвѣтами...

٧.

## ПРОДОЛЖЕНІЕ

Францу я аккуратно разсказываль мои впечатльнія отъ Бестры. Онъ очень внимательно слушаль, самъ не говориль ничего, какъ будто хотьль, чтобы я самостоятельно осмотрълся. Какъ будто выжидаль... чего?

Въ тотъ вечеръ, на острой Дикой Скалъ, я ему не безъ юмора сообщилъ, какъ я "объълся" цвътами. Потомъ спросилъ:

— Что, собственно, эта чета Цетте изъ себя представляетъ? Ты ихъ давно знаешь?

По правдъ сказать, другой вопросъ вертълся у меня на языкъ, поважнъе Цеттовъ: что—они! знаю ихъ три дня, уъду и не вспомню... Меня занимало нъчто болъе важное. Зачъмъ нуженъ я Францу? Конечно, долгая разлука создаетъ отдаленіе, сразу не войдешь въ полосу открытыхъ разговоровъ. Надобно время, чтобы даже близостъ письменную, когда она есть, перевести на разговорную. Но все - таки! Онъ — спокойнъе, чъмъ я ожидалъ. Драма его, мнъ извъстная, какъ будто отошла въ прошлое, а трагедія... онъ сказалъ, что я ее не понимаю и не пойму. Зачъмъ я ему нуженъ?

На вопросъ о Цетте онъ ничего не отвътилъ, точно не слышалъ. Смотрълъ на высокое море подъ нами. Изъ за ледяной, разползшейся Этны падали послъдніе лучи заката, море стало совсъмъ муаровымъ.

- Скучно... сказалъ вдругъ и обернулъ ко мнѣ тонкое лицо. Я невольно подумалъ, это часто случалось, что Францъ особенно, одухотворенно красивъ. Даже не чертами, а Богъ вѣсть чѣмъ.
  - Ты знаешь, Отто женился, прибавиль онъ.
- Отто молодой графъ Х., изъ за котораго и разыгралась тяжелая драма Франца. Женился? Я не зналъ, что сказать и молчалъ.
- Да, женился. И, главное, очень счастливъ. Онъ мнъ написалъ.
- Такъ что же... началъ я и договорилъ скороговоркой: или ты его еще любишь?

Францъ сдвинулъ брови, лицо его стало жестко. Пожалъ плечами. И — мнъ показалось — съ сожалъніемъ посмотрълъ на меня:

- Но я и думалъ... ты не поймешь.
- Опять?
- Да. Впрочемъ, когда нибудь, можетъ и поймешь. Не желаю тебъ этого.
- Францъ, право надоъло. Очень хочу понять, увъренъ, что пойму. И не драпируйся ты въ эту тогу непонятаго, передо мной! Я самъ давно хотълъ спросить тебя...
- Потомъ, потомъ! съ нетерпъніемъ и мучительствомъ перебилъ Францъ.

Мы замолчали. Вдругъ онъ, неожиданно:

— Ты, кажется, спрашивалъ меня о Цетте?

Это... примъчательная семья. И онъ... и Клара.

Я поднялъ глаза. Удивился. Столько доброты, грустной, правда, но почти нѣжной, было въ лицѣ Франца. Впрочемъ, я зналъ и эту его черту: онъ былъ безконечно добръ къ людямъ, и не къ людямъ только, а ко всему живому. Онъ какъ-то свѣтился весь иногда, — не оскорбляющей, пронзительной добротой — жалостью.

— Она очень несчастна, сказалъ онъ. Клара.

Я изумился.

- Клара? Клерхенъ? Да что ты!
- И невинно несчастна, прибавилъ Францъ, вставая. Но ты...

— Опять и этого не пойму? Натъ, Францъ, ты просто смъешься надо мной...

Францъ и дъйствительно расхохотался, да такъ весело, что и я, глядя на него, то же.

Стояли другъ передъ другомъ и хохотали. Будто опять два студента въ далекомъ Гейдельбергъ. Будто не чаша южнаго моря зеленъла передъ нами; не темнъющій жаркій воздухъ дышалъ на насъ безстыднымъ запахомъ "цвътовъ португальскихъ", и не широкая Этна лежала въ углу; — а сърыя, свъжія гейдельбергскія горы смотръли на насъ. Милая, чистая, острая свъжесть! Сама — какъ молодость.

YI.

#### ВЕЧЕРЪ ВЪ РАХ

Францъ жилъ вовсе не такимъ отшельникомъ, какъ я себѣ сначала воображалъ. Съ мѣстными старыми "фамиліями" онъ, правда, не общался, но въ этомъ глухомъ скалистомъ городишкѣ, изъ одной — единственной улицы состоявшемъ, было, оказывается, не мало иностранцевъ. Для пріѣзжихъ имѣлось два отеля, — очень скверныхъ; но большинство иностранцевъ — люди не пріѣзжіє: по зеленымъ скатамъ, тамъ и здѣсь, лѣпились бѣлые домики - виллы, а собственниками были богатые люди, заблагоразсудившіє въ Бестрѣ поселиться, — англичане, американцы, нѣмцы... вотъ французовъ я что - то не помню. Всѣ жили уединенно, какъ Францъ, но не отшельнически; не чуждались общенія между собою, кое - кого я у Франца уже встрѣтилъ.

Городская улица съ объихъ сторонъ заканчивалась древними каменными воротами: Восточными и Западными. Всъ виллы - домики ютились по крутымъ склонамъ внъ города, за городскими воротами. Въ глаза не бросались, иныя точно совсъмъ были запрятаны въ густую зелень, чуть замътна плоская крыша. Отъ виллы Франца, —Рах — и крыши не видать: скалы заслоняютъ.

Наша Флоріола была, напротивъ, на скалъ: низенькая съ до-

роги — она, съ другой стороны, была въ три этажа. Мой длинный чугунный балконъ - галлерея висѣлъ надъ проваломъ, глубокимъ зеленымъ скатомъ. Вдали, за нимъ, туманилось высокое море. "Рах" былъ не такъ близко: къ Францу я попадалъ, пройдя Восточныя ворота, всю городскую улицу и ворота Западныя, выходящія на Этну. Могъ, впрочемъ, обойти городъ узкими горными тропами, вдоль города вьющимися, но я въ нихъ путался, особенно ночью.

Ръдко видълъ я Франца въ нашей Флоріолъ, и то не у меня, а у моихъ хозяевъ: вчера пришелъ приглашать ихъ къ себъ, на "праздникъ въ Рах". Это, — какъ онъ объяснилъ мнъ, — немножко музыки, нъсколько случайныхъ друзей...

Обычай Бестры, въроятно. Я уже привыкъ, что въ Бестръ много обычаевъ, съ виду не странныхъ, но все - же своеобразныхъ: то, что вездъ — и не совсъмъ то, а иногда и совсъмъ не то.

Загадка Бестры была загадка простая; но такая тонкая, что я долго не могъ найти словъ и для нея, и для отвъта на нее.

Одно было ясно: попалъ я въ міръ, въ какой еще не попадалъ. Неистовый югъ, сициліанскій, на другіе не похожій (а я бывалъ и южнѣе) цѣпкій, сладкій, тяжело - ладанный — обнималъ тѣло, внутрь проникалъ и словно тамъ, въ душѣ, тоже что - то по своему передѣлывалъ. Вѣдь вотъ, цвѣты голову кружили, до тошноты, а я оторваться отъ нихъ не могъ: безъ мысли, готовъ былъ часами перебирать шелковые лепестки, прятать въ нихъ губы и лицо. А ночью, на балконѣ, надъ темнымъ проваломъ, откуда, словно клубы удушливаго ладана, подымались на меня земные запахи, — я отдавался имъ со сладкимъ безволіемъ. И даже любилъ, кажется, это безволіе — чего? души или тѣла?

Въ этомъ особомъ мірѣ была и Бестра, тоже особая и внѣшне, и внутренно.

Но тутъ, хоть и скучно, я долженъ сказать два слова о себъ. Для ясности дальнъйшаго.

Полной ясности, конечно, все - же не будетъ: Францъ говорилъ правду, самая непонятная сторона въ человъкъ — его сторона... любовная. Францъ говорилъ — непонятная для другого. Прибавлю: и для самого себя.

Какъ всякій размышляющій человъкъ, я объ этой сторонъ очень много думалъ. И вообще, и относительно себя. Пришелъ къ

довольно интереснымъ выводамъ и заключеніямъ. Мало по малу у меня создалась даже своя теорія, не лишенная гармоничности и крѣпко построенная.

Я былъ очень доволенъ, пока не замътилъ: живу я, чувствую, поступаю, дъйствую такъ, какъ будто никакой у меня теоріи нътъ. Даже не вопреки ей живу, люблю и ненавижу, а помимо нея, начисто всю ее забывая, когда приходится жить и дъйствовать.

Когда же, въ свободное время, я ее вспоминалъ — она опять казалась мнъ стройной, всеобъясняющей, идеально - прекрасной; и было досадно и удивительно, что даже въ мелочахъ, въ подробностяхъ, она для жизни оказывалась не нужной и къ жизни неприспособляемой.

Виновата, конечно, не теорія (или моя "Философія Любви", какъ я называлъ) — виноватъ я самъ, до нея не доросшій. Я самъ ее создалъ, — лучшей частью моего "я", — но моя физіологія и даже психологія — примитивны и по своему — знать ничего не желая, — живутъ; своимъ примитивнымъ законамъ покоряются.

Да, очень досадно. Но я не отчаявался. Несоотвътствіе? Но оно съ теченіемъ времени можетъ, въдь, сгладиться? Или нътъ?

Во всякомъ случаѣ, разсуждая о любви, — я обязательно высказывалъ мои теоретическіе взгляды; говорилъ о великомъ единствѣ любви и великой свободѣ въ любви (хотя и объективно свободу эту какъ - то не очень понималъ и принималъ).

Францъ не сомнъвался, что я утверждаю его святое право на ту любовь, какая ему дана и послана. И я не сомнъвался, — еще бы я это святое право не утверждалъ!

Я сурово судилъ человъческіе предразсудки, привычные и неподвижные. Назвали одну форму любви — "нормой", по большинству, дали большинству права, а у меньшинства отняли всъ. Портятъ жизнь себъ и другимъ, отравляютъ подозръніями, презръніями, гоненіями... Драма Франца, — не отсюда - ли?

И то, что я самъ порою, въ наитемнъйшей глубинъ, тоже ощущалъ норму — нормой, а другое — чъмъ - то такимъ, о чемъ "не говорятъ и скрываютъ" — повергало меня въ немалый ужасъ. Власть привычнаго, обывательскаго предразсудка? Даже надо мною? Нътъ! Нътъ!

Вотъ она, милая Бестра, вотъ разгадка ея радостной особенно-

сти: здъсь — "говорятъ и не скрываютъ"; здъсь не тащатъ за собой предразсудковъ; здъсь все просто; здъсь свободно — всъмъ.

Когда я это все разгадаль, мнъ стало вдвое веселье.

VII.

### OHO

Праздникъ Франца отложенъ. Почему? Какіе - то, будто, цвѣты не расцвѣли еще. Вотъ вздоръ! А можетъ быть правда? Клара не удивилась - же, приняла, какъ понятное.

Но на Франца что - то нашло. Я ужъ сталъ, было, привыкать, что онъ успокоенно - счастливъ и что для того онъ меня и вызвалъ, чтобы я на его успокоенность посмотрълъ; а тутъ вдругъ выступило изъ подъ нея новое... или старое, прежняя какая - то его мука. Всегда она у него была, въ немъ чувствовалась. Трагедія, которой я не понимаю?

Мы съ Францемъ и молчать вмъстъ умъли, и говорить. Но случалось - ли что нибудь со мной, или съ нимъ, — ни я, ни онъ не начинали разсказывать. Только если другой догадывался, приблизительно, въ чемъ дъло, — могъ начаться разговоръ.

Францъ обо мнѣ всегда догадывался. Я — рѣже. Ужъ очень много было въ немъ неожиданнаго. Однако, я его слишкомъ любилъ, а потому тоже угадывалъ часто, что его мучитъ, хотя бы и не понималъ самой муки.

Тутъ я вдругъ почувствовалъ, что Францу всего тяжелѣе сейчасъ — графъ Отто, а почему графъ Отто — я объяснить себѣ не могъ. Вопросъ мой: развѣ ты его еще любишь? — былъ грубый, пошлый, поверхностный вопросъ: я зналъ, что Францъ его не любитъ.

Два дня я Франца совсѣмъ не видѣлъ. Потомъ мы цѣлый день гуляли вмѣстѣ, далеко, въ горахъ, и молчали. Вечеромъ, у него, опять молчали. Я поднялся уходить. Онъ меня не удерживалъ. Я ужъ сошелъ со ступенекъ веранды. Постоялъ, поглядѣлъ на звѣзды надъ

моремъ, невыносимо безпокойныя, громадныя; медленно вернулся и, самъ не знаю какъ, сказалъ:

-- Отто?

Францъ кивнулъ головой, а я ушелъ.

Ночью проснулся отъ ужаса: темнота комнаты была наполнена сонмомъ визжащихъ въдъмъ. Я еще не зналъ, что это вътеръ, не зналъ, что такое вътеръ Бестры. Это не на яву, и не во снъ. Точно въ сорокоградусномъ жару летълъ я самъ куда - то въ бездонную пропасть вмъстъ съ этимъ полчищемъ орущихъ въдъмъ, грохочущихъ и хохочущихъ дъяволовъ. Не было похоже ни на бурю, на грозу съ громомъ; ни на что не похоже. Ни одной мысли въ головъ — только этотъ ръжущій визгъ. Мнъ стало казаться, что и я самъ, и все тъло мое визжитъ, пролетая темныя пространства.

Къ утру я пришелъ въ себя, хотя визгъ продолжался. Попробовалъ встать, — ничего, всталъ. Къ изумленію — увидѣлъ даже, что красавица Марія несетъ мнѣ завтракъ, — идетъ по внѣшней лѣстницѣ къ дверямъ балкона. Золотые волосы бились у ея лица, платье, какъ мокрое, обнимало ноги.

Я набрался мужества, пріоткрыль дверь. Думаль, меня оглушить, но звукъ ужъ, кажется, не могъ усилиться. Марія ловко вошла, поставила подносъ на столикъ, что - то говорила, улыбаясь, но словъ разслышать было нельзя.

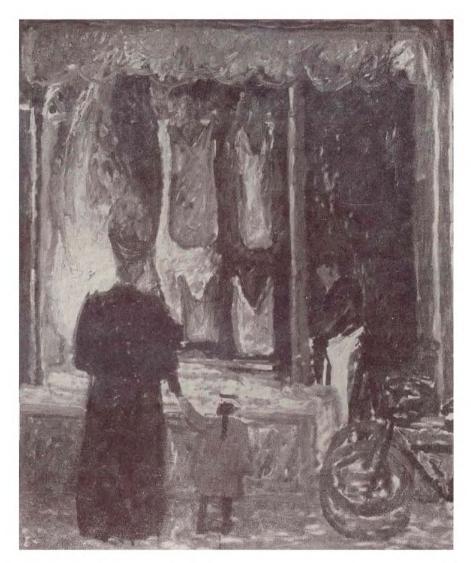
Весь этотъ день — день удивленій.

Клара пришла ко мнѣ, но такъ какъ и ея я разслышать не могъ она взяла меня за руку и безстрашно повела, сквозь весь этотъ сѣрый ужасъ крика и лета, — наверхъ. Тамъ, въ большой и пустой комнатѣ, мнѣ показалось еще невозможнѣе: къ визгу цимбалы какія то присоединились, металлическіе звоны....

Въ углу былъ накрытъ чайный столъ. Черносизое море въ бълыхъ локонахъ смотръло въ окно. А за столомъ сидълъ Францъ.

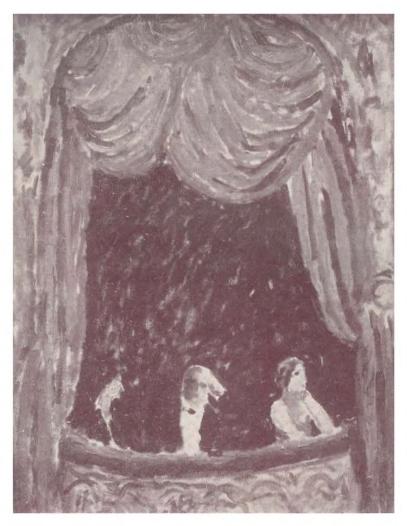
Онъ улыбался, улыбалась Клара, смъялись дъвочки. Мнъ стало стыдно. Голоса Клары я еще не могъ разслышать, но крикъ Франца началъ понимать. Оказывается, онъ очень любилъ этотъ вътеръ. Онъ зналъ, что я, съ непривычки, потеряю голову. Но пора ее найти...

Клара улыбалась, у нея было пріятно взволнованное, даже по-



Чапскій. Мясная.

Chapsky. Boucherie.



Чапскій. Ложа.

Chapsky. La loge.

розовъвшее лицо. Францъ былъ любезенъ, наше чаепитіе выходило премилое, но я все таки не совсѣмъ еще понималъ, что вокругъ меня творится и говорится — даже на какомъ языкѣ. То будто по нъмецки, а то по французски. Или, вдругъ по итальянски. Я улавливалъ отрывки фразъ, слова, неизвъстно къмъ произносимыя, иногда нелъпыя, которыя явно никому изъ насъ не могли принадлежать. Напримъръ, откуда вдругъ это: — «voglio bene... voglio tanto bene»...? Въдьмы, конечно, издъваясь провизжали...

- И хлопъ! Камнемъ вдругъ упала тишина. Никогда я не думалъ, что она можетъ упасть такъ тяжело. Я глядълъ, раскрывъ ротъ, на Клару, потомъ на Франца. Всъ молчали. Францъ улыбался.
- Къ этому тоже надо привыкнуть, сказалъ онъ тихонько (мнѣ показалось ужасно громко). Только не радуйся: еще вернется. Воспользуемся, впрочемъ, минуткой: проводи меня.

Онъ всталъ.

- Но Monsieur не успъетъ... Клара поглядъла на меня съ жалостью.
- Ничего, это будетъ первый урокъ. Идемъ, mon ami. Да не надо шляпы, что ты!

Мы вышли.

Да, удивительный день! Начался удивленіемъ, продолжался и кончился. Удесятиренный вопль и вихрь, послѣ каменной тишины; мы съ Францемъ на острой тропѣ, крѣпко другъ за друга держащіеся; и этотъ разговоръ въ вихрѣ... почему, однако, я уже хорошо слышу Франца, а онъ меня?

Я кажется понялъ трагедію Франца. И очередную его, сегодняшнюю, муку понялъ, Словами разсказать, какъ я понялъ, — нельзя, конечно. Разскажу потомъ словами, но заранѣе знаю, будетъ рѣшительно не то.

Догадался я также, что еще что - то здѣсь, около Франца, постороннее путается, досада какая - то, печаль какая - то для нѣжножалостливаго его сердца. Но еще не зналъ, гдѣ она, откуда.

Узналъ послъ.

#### YIII.

# ПЕРЕДЫШКА

Нужные цвъты, въроятно, расцвъли, потому что отложенный праздникъ въ Рах снова былъ назначенъ.

Незадолго до него, я проснулся однажды съ необыкновенной легкостью въ душъ, въ тълъ и въ памяти. Бываютъ такія странныя... ну не полосы жизни, для полосъ слишкомъ кратко, но промежутки, когда все важное, тревожащее, точно отступаетъ, отпадаетъ отъ тебя; знаешь, что оно есть, иной разъ даже предчуствіе чего - то важнаго въ будущемъ есть, или было вчера... А сегодня — ничего нътъ, кромъ легкаго и милаго настоящаго.

Бестра, я думаю, городъ, гдѣ особенно часто случается это съ людьми. Такое ужъ ея свойство...

Прекрасное утро мое не для меня одного встало странно прекраснымъ: Клара смъялась внизу съ какими то старыми англичанками, смъялась пробъжавшая внизъ Пранказія. А когда я вышелъ къ Восточнымъ воротамъ въ городъ и разболтался со знакомыми мальчиками у старой стъны, я увидълъ Франца, да такого веселаго, съ такимъ безпечнымъ лицомъ, что мнъ стало совсъмъ хорошо. Францъ держалъ въ рукахъ букетъ совершенно необычныхъ голубыхъ розъ: онъ ростутъ только въ саду signore il dottore, это его тайна! Францъ заходилъ къ нему въ садъ и смъшной этотъ докторъ Бестры преподнесъ ему розы, съ гордостью.

Мы условились, что я приду вечеромъ: у Франца нынче день работы. Право, и онъ, какъ я, не думаетъ сегодня ни о чемъ!

А я пока ръшилъ слазить на Monte Venere. Гора не гора — острая сърая скала, какъ разъ надъ виллой Рах. Наверху — крошечное селенье и старенькій монастырь.

Забавная это гора — Венеры. Какъ все забавно и мило въ Бестрѣ, теплой, пахучей, бѣло - голубой. Издревле свободны ея граждане, старые и юные. Всѣмъ это извѣстно, извѣстны и старыя ея привычки, обычаи мирной жизни. Но юность буйна, а добрый порядокъ нуженъ. И carabinieri (ихъ цѣлая пара), за нимъ все - же слѣдятъ. Смуглые юноши, отъ Восточныхъ - ли, отъ Западныхъ - ли

воротъ, если черту порядка, бываетъ, переступятъ, — посылаются, съ отеческимъ наставленіемъ, въ ссылку: не надолго, и недалеко, всего то на гору Венеры, въ старый монастырь. Не строгій, ну а всеже юноши этого не любятъ и ведутъ себя, большей частью, добропорядочно.

Мнъ у Венеры понравилось. Тишина какая! У монаховъ пряники винные. А ссыльныхъ не случилось.

Вечеромъ у Франца... давно намъ не было такъ весело. Мы болтали глупости, хохотали, шутили съ Пеппо, съ Нино; они тоже разошлись, какъ никогда. Только Джіованне держался въ сторонъ. Самый красивый! Нътъ, Нино тоже очень хорошъ. Изъ райскаго сада несло такими благоуханьями, что голова тихо кружилась и опять это тихое, безвольное блаженство... Подъ конецъ ужъ и говорить не хотълось: такъ сладостно блаженное томленіе.

Мѣсяцъ давно закатился; ночь, какъ чернила, какъ тушь китайская; въ двухъ шагахъ не видѣлъ я ни Франца, ни его кресла. Но я чувствовалъ Франца. Его и себя вмѣстѣ чувствовалъ — въ одномъ, а что это "одно" было — неизвѣстно; что - то вродѣ томительнаго счастья.

Пробили далекіе городскіе часы.

- Какъ поздно, сказалъ я, но не двинулся.
- Подожди. По нижней тропинкъ дойдешь въ пять минутъ.
- Нътъ... Слишкомъ темно.
- Тебя проводитъ... Джіованне. Нътъ, Нино. Нино, возьми фонарь.

Легкая тѣнь метнулась по верандѣ. Мерцающій огонекъ зажегся, освѣтилъ на секунду кресло, глициніи, блѣдныя черты Франца...

- Ecco, signore.

Мы съ Нино на крутой скользкой тропъ. Налъво — скала, выше — полуразрушенныя стъны города. А направо — черное ничего: однако оно чувствуется громаднымъ и пустымъ. Только густые запахи его наполняютъ, но я ужъ, кажется, перестаю ихъ слышать.

Моя рука лежитъ на узкомъ плечъ Нино. Я гораздо выше Нино (мы, въдь, съ Францемъ почти одного роста). Я чувствую худенькое плечо сквозь тонкую ткань рубашки. Качающійся огонь

снизу освъщаетъ нъжное, смуглое лицо, особенно незнакомое въ этихъ тъневыхъ неровныхъ лучахъ. Моя рука скользитъ, протягивается дальше... она уже на другомъ плечъ Нино. Весь онъ ближе ко мнъ, совсъмъ близко... Мы еще идемъ, но все тише. Тише колеблется кругъ свъта. Моя рука скользитъ...

— Signor... Signor... шепчетъ Нино.

Я тоже шепчу какія - то простыя слова. Наклонившись, ищу его лица, ищу губами его свѣжихъ губъ.

- Oh, signore... Impos...

Знаю, знаю эти шопоты, это "нътъ", которое всегда звучитъ "да, да..."

Но что случилось? Точно чья то холодная рука ласково отстранила меня отъ Нино. И я разжалъ объятія. Прислонился къ скаль. Неподвижно и безмысленно глядълъ, цълое долгое мгновенье, на неподвижный теперь огонекъ фонаря на землъ, пока огонекъ не закачался снова. Шопотъ Нино я продолжалъ слышать, но какъ - то не слушалъ, не понималъ. Кажется, Нино шепталъ, что мы ужа выходимъ на большую дорогу, что она вотъ, «gia qua», и что «i carabi nieri sono adosso...»

Мнъ было это теперь ръшительно все равно.

Дома я заперъ окна, ставни, зажегъ свъчу, присълъ на постель.

Сердце билось ръдкими, тяжелыми ударами, словно было оно во мнъ ужасно большое.

Что случилось? Почему я...? Нътъ, Францъ не понялъ бы меня. Да и кто понялъ - бы, если я самъ себя не понимаю?

Францъ сказалъ - бы, пожавъ плечами: "ну да, вы всѣ такъ... Еслибъ Нино былъ не "онъ", а "она"...

Но это неправда! Неправда! Въ памяти мелькнула далекая исторія ранней юности, ницскій карнавалъ, глаза Марсель, — чьи? Кто это, "онъ" или "она?" Я не зналъ, я не думалъ объ этомъ, Марсель была (или былъ) для меня "ты"... Единственное "ты" въ міръ...

А Нино — прежде всего, и навърно, не "ты". И тогда ужъ безразлично опять, "онъ" ли, "она" - ли. Потому что Нино тогда — "оно".

Я чувствовалъ, какъ я путаюсь, путаюсь, и все безнадежнъе

запутываюсь въ ниткахъ собственныхъ мыслей. Рвалъ нитки, злился, но отстать не могъ.

Половину ночи просидълъ такъ нелъпо на постели.

А когда рѣшилъ, наконецъ, раздѣться и лечь, то одно только зналъ навѣрное: что передышка - то, во всякомъ случаѣ, кончена.

## IX.

## ПЕРЛАМУТРОВАЯ ТРОСТЬ

У Клары въ послъднее время такое бъдное, измученное лицо, что я ни въ чемъ не могу ей отказать. Зоветъ меня пойти съ ней къ знакомой англичанкъ - художницъ.

Я этихъ Клариныхъ англичанокъ терпѣть не могу. И проѣзжихъ, изъ отеля, и мѣстныхъ. Потому что мѣстныхъ, со своими виллами, въ Бестрѣ тоже много. Что онѣ тутъ дѣлаютъ — кто ихъ знаетъ. Живетъ такая англичанка, непремѣнно староватая и уродливая, одна, чаще съ другой, компаньонкой, и занимаются чѣмъ нибудъ "художественнымъ": рисуютъ онѣ, что - то, будто, пишутъ, или коллекціонируютъ...

Я, впрочемъ, мало этими знакомыми Клары интересуясь, видълъ ихъ только издали. Типъ англичанки на континентъ извъстенъ; въ Англіи - же я не бывалъ и почему - то совсъмъ меня туда не тянуло: ни страна, ни народъ, ни даже литература англійская не привлекали. Бываютъ такія идіосинкразіи.

Блѣдненькую Клару пожалѣлъ огорчить и, хотя не то что къ англичанкѣ, а совсѣмъ никуда не хотѣлось мнѣ въ тотъ день итти, — пошелъ.

По дорогъ задумался, что - же это съ Кларой? Маріусъ ей надоълъ, съ мрачнымъ видомъ своимъ и толстыми черно - сърыми усами? И почему Францъ такъ значительно сказалъ о ней: невиннонесчастна?

Клара старалась занять меня, разсказывала о художницѣ; она будетъ рада видѣть меня, Клара ей обо мнѣ говорила. Она интересуется современными идеями въ литературѣ и философіи. А въ живо-

писи она увлечена кубизмомъ. Клара не поклонница его... Но все таки любопытно.

Мнѣ было совсѣмъ не любопытно. Увидавъ - же кубистку, я окончательно сникъ. Одно, развѣ, утѣшительно: эта разползшаяся дама, съ крутыми, явно - крашеными, темно - красными волосами, оказывалась скорѣе нѣмкой, нежели англичанкой, а въ саду ея виллы было сидѣть пріятно.

Садъ спускался внизъ полукруглыми террасами. На одной изъ нихъ, около низкой, широкой каменной ограды — парапета, былъ приготовленъ чайный столъ. Какое - то густое темное дерево, похожее на иву, — но не ива, конечно, — струило длинныя мягкія вътви внизъ, стлало ихъ по камню низкой ограды. Казалось, тънь отъ этого дерева особенно свъжа и тиха. Свъжую тишину и болтовня англійской нъмки не нарушала, я не слушалъ. Не помню даже, на какомъ языкъ шелъ разговоръ: на нъмецкомъ? На англійскомъ? На французскомъ? Или все вмъстъ?

По гравію шаги. Новая гостья. Клара и хозяйка встрътили ее привътливыми восклицаніями. Я обернулся, всталъ съ соломеннаго кресла.

Хозяйка что - то спрашивала у новопришедшей по - англійски. Клара обратилась ко мнъ, принялась насъ знакомить.

Гостья была маленькая дѣвочка. Такъ мнѣ показалось съ перваго взгляда. Очень маленькая и худенькая — да, но чуть она робко присѣла на каменный парапетъ, прямо подъ струящимися вѣтвями, я увидѣлъ, что это, пожалуй, и не дѣвочка. Некрасивое, узкое личико даже старообразно. Все въ немъ остро: острый подбородокъ, длинноватый острый носъ. Только блѣднорозовыя губы — дѣтскія.

Клара назвала ее "баронессой"... фамиліи я не уловилъ. Хозяйка спросила что - то о здоровьи «your mother» Клара, думая, въроятно, обо мнъ и привыкнувъ говорить со мной по французски, перебила:

- Oh, parlons donc français!
- Parlons français! согласилась маленькая баронесса, но я поняль, что это не ея языкъ. Раньше она сказала нъсколько словъ по нъмецки, потомъ по англійски, но и тамъ мнъ почудился едва уловимый акцентъ. Кто она?

Хозяйка съ такой же силой болтливаго красноръчія разлива-

лась теперь по французски. Но я не слушалъ. И не на нее смотрълъ. Короткое сърое платье; и какъ - то жалобно скрещенныя ножки въ сърыхъ чулкахъ и бълыхъ туфелькахъ. Немножко сутулится, оттого, сидя, кажется еще меньше. Широкій жакетъ англійскаго покроя, англійская соломенная шляпа.

— Dites moi, Monsieur, qu'est ce que c'est que le symbolisme? Dites moi...

Обернулся къ хозяйкъ, не видя ее.

— Mais je ne sais pas, Madame. Je ne sais rien du tout. Je ne pense jamais à rien...

Къ счастью, вмѣшалась Клара. А я продолжалъ свое странное занятіе, — ни о чемъ, дѣйствительно, не думая, глядѣть на баронессу и на свисающія вѣтки.

Нѣмка - англичанка затрещала о современной музыкѣ. Маленькая баронесса сняла шляпку, положила ее на парапетъ, рядомъ. Я увидѣлъ коричневые волосы, съ золотыми искорками. Остриженные высокимъ бобрикомъ, они пышно поднялись надо лбомъ. Не волнисто, а только пышно.

— Какая у васъ красивая палка, сказалъ я.

Она молча протянула мив свою трость. Черное дерево внизу, а вся верхняя половина покрыта сплошь перламутровой инкрустаціей. Но я почти не видълъ; я увидълъ глаза, свътло - свътло каріе, съ желтымъ ободкомъ вокругъ зрачка, и въ нихъ, и въ томъ, какъ она протянула мив эту свою трость, увидълъ... не знаю что, неопредълимо, часъ судьбы, можетъ быть. Знаю только свое увъренное чувство тогда: съ этимъ существомъ я могу сдълать все, что захочу, оно — мое.

— Ахъ, Элла, я всегда любуюсь этой прелестной палкой! тараторила художница. — Мадамъ Цетте, вы видъли трость Эллы? Неправда - ли, вещь замъчательной красоты? Гдъ миссисъ Миддль достала для васъ такую?

Клара хотъла взять перламутровую трость у меня изъ рукъ, но я отдалъ ее маленькой Эллъ.

Она сказала робко, не опуская свътлыхъ глазъ.

— Старинная... Ма mère нашла ее въ Египтъ. Я всегда съ нею...

Потомъ все было очень просто. Мы вышли отъ художницы

втроемъ, — Клара сказала, что мы проводимъ Эллу до отеля, намъ и по дорогъ. Элла развеселилась, улыбнулась раза два, по дътски, и, котя говорила больше Клара, я кое - что объ Эллъ узналъ: она музыкантша, композиторша, кончила лондонскую консерваторію, живетъ всегда въ Англіи, но миссисъ Миддль такъ любитъ путешествовать, что онъ весь свътъ, кажется, изъъздили... Въ Бестръ сейчасъ проъздомъ, но бывали и раньше. Спеціальность Эллы — оркестровая музыка. Миссисъ Миддль очень заботится о карьеръ Эллы, для этого нужно поддерживать въ Лондонъ связи.

Вдругъ Клара онѣмѣла. Навстрѣчу шелъ Францъ. Сдвинутыя брови, опущенные глаза. Но онъ поднялъ ихъ, увидѣлъ насъ. Лицо сразу измѣнилось. Стало добрымъ и привѣтливымъ. Къ удивленію, съ Эллой онъ поздоровался, какъ со знакомой. Но онъ не зналъ, что она въ Бестрѣ.

Мы поговорили съ минуту. Праздникъ въ Рах — завтра. Баронесса Роонъ (какая странная фамилія!) тоже придетъ, неправда - ли?

Мы разошлись, а такъ какъ это было въ двухъ шагахъ отъ Bella Vista, гдъ жила Элла съ матерью, то мы простились и съ Эллой.

Почему, однако, мать ея миссисъ Миддль? А гдѣ - же баронъ? Замужемъ, эта дѣвочка?

Клара была странно молчалива. Подходя къ дому, я все таки спросилъ:

- Она хорошая музыкантша, эта маленькая дама?
- Элла? Очень хорошая. А ей всего двадцать четыре года...
- Она разошлась съ мужемъ?
- Съ какимъ мужемъ? Да она вовсе не замужемъ! Съ чего вы вообразили?

Клара засмъялась. Отворила калитку. Съ балкона послышался голосъ Маріуса:

- Cla ra!
- Ich komme! отвътила Клара и побъжала наверхъ.

А я пошелъ къ себъ.

# НАКОНЕЦЪ ПРАЗДНИКЪ ВЪ РАХ

По совъсти говоря, я преувеличилъ, когда объявилъ, что послъ вътрового съ Францемъ разговора я все ръшительно понялъ, и только словами сказать не умъю.

Понялъ - то я понялъ, а все - же не такъ какъ Францъ разумъетъ пониманіе. Понялъ больше извнъ, чъмъ изнутри. Въ такое пониманіе ,хотя тоже большое, много входитъ въры. Но за то разсказать о немъ легче.

Такъ вотъ, прежде всего, я понялъ, что въ душъ человъка, върнъе — въ существъ человъка, можетъ подняться великой силы вихрь, великой и непреодолимой. Малое подобіе его былъ тотъ природный вихрь, который меня обезумилъ. Но по сближенію я понялъ. Важна непреодолимость. Онъ сметаетъ все, чъмъ могъ - бы человъкъ его преодолъть. Борьба безполезна. Уляжется самъ, а не уляжется — лети въ немъ до конца. Хорошо, что не каждое человъческое существо достаточно глубоко и широко, чтобъ поднимались въ немъ такіе ослъпляющіе вихри.

Но Францъ... онъ ихъ знаетъ. Помочь ему тутъ нельзя (непреодолимо!) но когда онъ увидълъ, что я, около него стоящій, кое - какъ уразумълъ это, почувствовалъ, — ему было утъшеніе.

А затъмъ еще другое о Францъ, насчетъ Отто. Болъе частное, и во что я, говоря откровенно, не совсъмъ проникъ, на въру - же принялъ вполнъ.

Францъ не можетъ и не хочетъ принять того, что Отто счастливъ... съ женщиной. Онъ говоритъ: если это такъ, значитъ Отто, котораго онъ, Францъ, любилъ, былъ вовсе не Отто, а кто - то другой. А настоящаго Отто вовсе и не было. Но любовь - то Франца была; была — къ никому? Вотъ этого Францъ перенести и не можетъ. Спасается тъмъ, что еще не въритъ еъ счастье Отто. Мнъ показалось, что здъсь онъ надъется на какую - то мою помощь. Но какую?

Иногда я точно опоминаюсь: да все это, en bloc, не катится

ли по краю безумія? И Францъ, и я, разбирая его сложности, сочувству какимъ - то, съ точки зрѣнія нормальнаго смысла, нелѣпостямъ? Францъ не любитъ Отто. Откуда эта дикая ревность, сухая ревность безъ любви? Мало того, дикая по односторонности: вѣдь онъ ревнуетъ Отто къ женѣ, только! Еслибъ Отто измѣнялъ ему не съ женой, а такъ, какъ раньше, и какъ измѣнялъ ему самъ Францъ...

Нътъ, нътъ, тутъ въ самомъ корнъ какая - то неразложимая непонятность, можетъ быть нелъпость. Любовь тутъ ни при чемъ. Да вотъ и вихри - то эти, что захватываетъ существо человъка, — любовь? Не любовь. Любовь во все это вплетена, запутана, а какъ ее выплести, какъ освободить — не понимаю. Можетъ быть, мы еще и въ глаза любви - то никакой не видали. И понятія о ней настоящаго не имъемъ. Богъ знаетъ, въ чемъ барахтаемся, да такъ и умремъ, не увидъвъ...

Вотъ до чего я дошелъ. Любовные мемуары, воспоминанія о томъ, что не было... Ложь! Ложь!

Въ такія минуты (просвѣтлѣнія) мнѣ хочется все бросить. Тѣмъ болѣе, что по самой чистой совѣсти говоря — я считаю, что "бросить любовь", или то, что мы къ этой области относимъ, отнюдь не значитъ "все" бросить. Далеко она не все и — даже не такая ужъ важная, не первая, область жизни...

Но я смиряюсь. И бросаю только разсужденія. Они, дъйствительно, могутъ довести до бъшенства. И совершенно безплоднаго.

Францъ, какой онъ ни есть, живой человѣкъ. И со своими вихрями въ живой жизни живетъ. И я тоже, съ моими нелѣпостями. Началъ про людей, съ ихъ — пусть гримасами любви, — буду разсказывать дальше.

Понимаетъ - же насъ — пусть ужъ Богъ.

Вилла Рах, такая знакомая, — сегодня другая.

Изъ комнаты съ краснымъ каменнымъ поломъ раскрыты настежъ двери, широкія, почти во всю стѣну, — на веранду. Цвѣтные огни сверху, узорчатые фонарики, и не поймешь, какой свѣтъ: лавандово - розовый, но свѣтлый и пріятный. Бѣлая скатерть на столѣ отливаетъ серебромъ, а плотный занавѣсъ глициній розовѣетъ. Тамъ, дальще, — такая черная темнота, точно міръ кончается. Ничего, кромѣ мрака.

Кое кто сидълъ у стола, другіе поодаль, на низкихъ табуретахъ. Было человъкъ шесть - семь; я не всъхъ узналъ сразу, освъщеніе измъняетъ. Громадный ,молодой американецъ съ дътскимъ, серьезнымъ лицомъ. Нъмецкій графъ, извилистый, тонкій, какъ стебель ириса. Молчаливый и пріятный датчанинъ; другіе, — я встръчалъ ранъе почти всъхъ. Клара (она пришла съ Маріусомъ) сидъла около Франца, веселаго, немножко разсъяннаго.

Мелькали фигуры служителей въ длинныхъ, складчатыхъ, сициліанскихъ одеждахъ. Джіованне, съ алой повязкой на смоляныхъ кудряхъ, былъ удивительно хорошъ. Какая грація движеній, когда онъ, вмѣстѣ съ другими, опускалъ передъ гостями подносъ: высокіе кубки на подносахъ, еще что - то — я не разобралъ.

Элла — одна, поодаль, около глициній. Я сразу увидълъ пятно ея бълаго платьица, но не подошелъ; поискалъ глазами мать: никакой матери не было.

Оживленный, но не очень громкій, нъмецкій разговоръ. Американецъ, впрочемъ, только улыбался, изръдка перекидываясь съ Нино и Джузеппе итальянскими словами: онъ по нъмецки не понималъ.

Францъ поднялся, хлопнулъ въ ладоши. И сейчасъ же оттуда, изъ сада, изъ черной темноты, гдѣ, казалось, ничего быть не могло, міръ кончался, — тонко зазвенѣла первая струна.

Невидимые музыканты заиграли тарантеллу.

Сициліанская — она особенная; да, впрочемъ, я потомъ и въ Сициліи такой не слыхалъ.

Несложный, быстрый и странный напѣвъ; не то, что тоскливый, а тяжелый: какъ страсть бываетъ тяжелая.

Начали танецъ Джузеппе и Нино. Секретъ тарантеллы (этой, по крайней мъръ) въ постоянномъ ускореніи темпа; но ускореніи медленномъ. Эта медленность, при наростаніи непрерывномъ, позволяетъ незамътно очутиться въ вихръ движенія. Въ такомъ вихръ, что, и глядя, точно съ нимъ несешься; несешься, куда — все равно, но только бы донестись, скоръй, скоръй! Ибо не можетъ же это не кончиться.

Кончается сразу. Мгновенной остановкой, обрывомъ движенія. Джузеппе исчезъ, а Нино неподвижно остановился передъ тонкимъ графомъ. Это — выборъ. Музыка не оборвалась, и къ первой медленности темпа не перешла, чуть чуть лишь умърилась и утишилась, словно отдалилась. Поэтому графъ, выйдя на кругъ, началъ сразу быстро.

Онъ плясалъ такъ хорошо, что даже въ современной одеждѣ, и рядомъ съ красавцемъ Нино, не былъ смѣшонъ. По своему граціозенъ, какъ - то нѣжнѣе и въ вихрѣ - безпомощнѣе.

Вино - ли странное въ странныхъ стаканахъ, цвѣты ли, невидная ли музыка изъ чернаго пространства, или тарантелла, — но я прямо чувствовалъ, какъ измѣнялся воздухъ, атмосфера среди насъ. Не могу сказать, что она пьянила; никакого тумана, все было четко; лишь внутренній огонь въ ней наросталъ, — ну и во мнѣ, конечно, какъ въ другихъ.

Когда вышелъ Джованне — отъ него трудно глаза было оторвать. Красивъе всъхъ, но не въ томъ дъло. Не знаю, въ чемъ. Помню смоляные кудри подъ алой повязкой и узкую полоску лба, смуглаго, гладкаго, съ крошечными капельками пота. Помню быстрыя, легкія, — и все таки тяжелыя — движенія подъ тяжелый, однообразный и потрясающій напъвъ. А главное, помню взоръ черныхъ, точно безсвътныхъ, глазъ: безмысленный, пристальный. Когда Джованне, вдругъ оборвавъ движеніе, сталъ передъ Францемъ, я испугался этого взора: я его узналъ. Въ громадныхъ черныхъ, совершенно черныхъ глазахъ было тоже самое, безыменное, неопредълимое, что я увидълъ на мгновеніе, такъ недавно, въ глазахъ свътло - карихъ, съ топазовыми блесками. И что заставило меня увъренно почувствовать: это существо — мое.

Францъ, улыбаясь, всталъ. Но онъ только сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и остановился неподвижно на серединѣ веранды. О, да, ему и не нужно было танцовать. Такъ и нужно, только стоять, иногда поворачивая голову къ Джованне, плясавшему передъ нимъ, — для него, и потому какъ бы съ нимъ.

Четкій и воздушный профиль Франца на пологъ блъдныхъ глициній... и вдругъ, случайно отведя отъ него глаза, я увидълъ и опять узналъ знакомый взоръ... да что это? Умственныя галлюцинаціи какія - то? На Франца этимъ отдающимся, почти страшнымъ, взоромъ смотръла — Клара.

Я не стерпълъ. Былъ недалеко отъ нея, отъ стола, но тутъ сталъ пробираться еще ближе. Сърые, выпуклые глаза, почти неви-

дящіе, неотрывно прилѣплены къ Францу. Мнѣ показалось, губы что - то шепчутъ. Неслышное, конечно. А вдругъ привычное, столько разъ мнѣ чудившееся, — је l'aime, је l'aime?

Да, или я незамѣтно погрузился въ психопатію воображенія, или бѣдная Клара до тла влюблена въ Франца... Мало того: онъ знаетъ, что влюблена. Вотъ, онъ обернулся, встрѣтилъ взоръ, — и ничего, съ какой доброй улыбкой!

Я не успълъ добраться до Клары: музыка затихла, перерывъ, заговорили всъ, зазвенъли стаканы, Францъ вернулся на свое мъсто къ столу.

Съ подноса Нино я взялъ стаканъ розоваго вина, выпилъ залпомъ. Потрясенный новымъ открытіемъ, я совсѣмъ забылъ объ Эллѣ. Увидѣлъ бѣлое платье тоже у стола: молодой американецъ обрадованно свистѣлъ по англійски, бѣленькая дѣвочка оживленно ему
отвѣчала.

Я не вслушивался, опять забылъ о ней, и такъ до конца вечера, когда пришлось вспомнить.

Онъ еще длился —вечеръ — не знаю, сколько времени; знаю, что горячность атмосферы не ослабъвала, можетъ быть усиливалась, и самое однообразіе смѣнъ, звуковъ, движеній тому помогали. Я былъ, къ концу, не совсѣмъ такой я, какимъ пришелъ, и всѣ, не говоря о Кларѣ и Францѣ, казались мнѣ не такими.

Не замътилъ, какъ многіе ушли; точно исчезли, неслышно и таинственно выскользнули, пропали въ пустой чернотъ.

Кто - то оставался, я не видѣлъ, кто: я стоялъ на самомъ краю свѣта, на самой чертѣ мрака, — и лицомъ къ нему. Маленькая Элла стояла рядомъ со мной.

Голосъ Франца, сзади:

— Подождите, теперь они сыграютъ вамъ прощальную серенаду. Они играютъ ее не часто. Старую сициліанскую.

Три раза хлопнулъ въ ладоши.

И въ послѣдній разъ, изъ мрака понеслась музыка, опять точно сама тамъ рождаясь, ни отъ кого. Была она не похожая на тарантеллу, — или похожая? У меня къ музыкъ совсѣмъ свое, совсѣмъ особенное отношеніе, но объ этомъ потомъ. Теперь я читалъ музыку по лицу дѣвочки, рядомъ стоящей. То - же острое, тонкое лицо лисички; бобрикъ каштановый, пышный, надо лбомъ; но лицо невыра-

зимо посерьезнъвшее, все — слушающее. Даже глаза: потемнъли и тоже какъ будто не смотрятъ — слушаютъ.

Она была длинная, серенада. Но ужъ кончилась, и ужъ, должно быть, ушли эти въчно - невидимые музыканты, а мы все молчали, точно ждали что - то.

— Oui. C'est bien, сказала чуть слышно Элла.

Подняла на меня глаза. Опять! Опять! Въ третій разъ сегодня это навожденіе, этотъ взоръ. Но въ коричневыхъ, топазовыхъ глазахъ онъ иной, онъ обращенъ ко мнѣ.

И я даже разозлился. Довольно съ меня! Флюидами какими - то занимаюсь! А что касается маленькой баронессы — влюбленъ я, что - ли, въ нее? Нътъ, нътъ. Нисколько.

#### XI.

## ДЕНЕКЪ

Такая яркость жаркая, такое сверканье, а въ головъ такая путаница идіотическая, что нътъ! Не выйду до вечера. Сумрака хочется, тишины.

Въ сумракъ своей затъненной комнаты я и лежалъ на кушеткъ, ничего не дълая. Но вотъ легкій стукъ въ припертую ставню. Въ дверь съ балкона проскользнула Клара.

- Вы отдыхали? Я вамъ помѣшала? О, простите! Но я пришла... быть можетъ, вы поднимитесь къ намъ около шести, къ чаю? Маленькая баронесса и sa mère, миссисъ Миддль, придутъ съ прощальнымъ визитомъ. Онѣ завтра уѣзжаютъ.
  - Уѣзжаютъ?
- Да, въ Римъ, кажется. Она очень пріятна, Элла, неправда ли? И ея mère adoptive тоже мила.
  - Такъ это mère adoptive?
- Ну да. Я думала, вы знаете. Пріемная мать. Значить, мы васъ ждемъ? Да?

Я подвинулъ ей кресло, но она не садилась. Говорила бълымъ

голосомъ, точно думая о другомъ. Мои глаза привыкли къ полутьмѣ, я видѣлъ лицо Клары очень ясно, и видѣлъ его не такимъ, какъ раньше. Можетъ быть, отъ вчерашняго воспоминанія смотрѣлъ иначе. Мнѣ было стѣснительно, не то больно, не то стыдно, и хотѣлось, чтобъ она скорѣе ушла. Поспѣшно обѣщалъ быть къ шести и думалъ, что этимъ кончится. Но тутъ - то и началось.

Клара двинулась, было, къ двери, потомъ остановилась. Обернулась.

— Къ Monsieur von Hallen вы пойдете позднъе вечеромъ? Да? Скажите ему, что я его люблю... Онъ знаетъ. Онъ все знаетъ. Но повторите ему и вы, его лучшій другъ, que je l'aime. Je l'aime tant...

На мгновенье я онъмълъ. Но тотчасъ - же пришелъ въ себя. Лучшее, что тутъ нужно, — быть хладнокровнымъ.

- Зачѣмъ же говорить ему это, милая madame Клара? Тѣмъ болѣе, если ему извѣстно, зачѣмъ буду повторять это я? Безцѣльно, жестоко... И, вѣдь, безнадежно? Еслибъ вы знали Франца....
- Я знаю, знаю, спокойно перебила Клара и улыбнулась. Я знаю, что онъ не любитъ меня, не полюбитъ и не можетъ полюбить, это безнадежно. Но почему вы думаете, что я хочу отъ него любви?
- А чего же вы хотите? спросилъ я глупо, теряя, если не хладнокровіе, то всякое пониманіе.
- Чего я хочу онъ вамъ скажетъ самъ. Да, навърно скажетъ. И тогда, если онъ спроситъ васъ о чемъ нибудь, и вы будете отвъчать, помните, молю васъ... Помните о моей любви. Я такъ люблю!

Посмотрълъ на нее, хоть и ничего толкомъ не понимая, съ уваженіемъ почти: въдь дъйствительно любитъ, какая она тамъ ни на есть. Любовь - то, она у всякаго одна. Клара прямо на глазахъ похорошъла.

Всю путаницу я, однако, рѣшилъ сегодня - же съ Францемъ распутать. И относительно Клары, да и себя. Что, въ самомъ дѣлѣ! Пріѣхалъ, хожу, какъ дуракъ, вѣдь не для того же Францъ меня вызвалъ, чтобы я съ его мальчишками заигрывалъ, тарантеллу смотрѣлъ и былъ конфидентомъ влюбленныхъ въ него дамъ? А черезъ недѣлю я уѣду. Я предполагалъ, по дорогѣ, еще въ Римѣ и кое - гдѣ вообще въ Италіи остановиться.

Римъ... Господи, а Элла? Странно, я, какъ будто, все время о

ней забываю, но, не помня, все время помню. Очень странно. Ну, завтра уъдетъ, хоть съ этимъ кончено.

Я даже вслухъ сказалъ: "хоть съ этимъ". Однако, радости, что "кончено" — ни малъйшей. И врать передъ собой не буду.

Гости уже сидъли за наряднымъ чайнымъ столомъ, когда я пришелъ наверхъ.

Клара (что она за милая, умѣлая хозяйка!) по нѣмецки пѣвуче, вела любезный французскій разговоръ. Представила меня... такъ вотъ она, mère adoptive! Большая, совсѣмъ не старая, бѣлая, жирная, рыжая. Не ярко, а свѣтло - рыжая: англичанки часто бываютъ такія, прославленный пепельный цвѣтъ ихъ волосъ почти не встрѣчается. Эти желторыжіе волосы у миссисъ Миддль взбиты на лбу кудерьками, а обширная, лилово - шелковая грудь увѣшана какими - то цѣпочками, колечками и медальонами.

Я тотчасъ примътилъ, что м-съ Миддль очень слабо говоритъ по французски и почти ничего не понимаетъ. Но, нисколько этимъ не смущаясь, она пыталась говорить все время и даже перебила Клару нъсколько разъ. Такъ была велика, что за ней, да еще за пышнымъ букетомъ бълыхъ цвътовъ, я, въ первую минуту, даже не увидалъ Эллу. Только ужъ потомъ замътилъ ея маленькую фигурку, въ томъ же съромъ англійскомъ костюмъ, слегка сутулившуюся.

Я плохо знаю по англійски, да еслибъ и хорошо, врядъ-ли удалось бы мнѣ перевести разговоръ на родной языкъ м-съ Миддль: слишкомъ нравилось ей говорить по французски, или, можетъ быть, считала она, что именно здѣсь, именно сейчасъ, ей хорошо и слѣдуетъ говорить по французски. Этой увѣренностью, и своей величиной, она положительно доминировала за столомъ.

О чемъ былъ разговоръ — не знаю, я не понималъ и мало старался понимать. Прислушивался, когда м-съ Миддль упоминала имя Эллы (а упоминала она его часто), однако и тутъ не все разобралъ. Нътъ злостнъе англійскаго акцента: онъ всякій языкъ можетъ сдълать абсолютно непонятнымъ.

Къ счастію, Клара что - то ловила, и пыталась повторять фразы м-съ Миддль. Тоже принялась д'влать и Элла, — когда різчь шла не о ней. Такъ я узналь, что онів, дівйствительно, івдуть теперь въ Римъ, а сколько останутся тамъ — неизвівстно, у м-съ Миддль въ Англіи дізла, путешествують же оніз давно... Потомъ всякія «beautés» ихъ путешествія, потомъ опять что - то о музыкальной карьеріз и лондонскихъ успізхахъ Эллы, потомъ о старинной вазіз («la» vase) которую м-съ Миддль купила въ Бестріз...

Элла усердно помогала «mother», какъ она звала м-съ Миддль. Эллу я, въ первое свиданье, принялъ за дѣвочку очень застѣнчивую. Но уже на вечерѣ Франца замѣтилъ, что она не робка и довольно самостоятельна.

Хорошо, но почему я стараюсь не смотръть на Эллу? Скользить глазами мимо, не останавливать взора на ея лицъ? Чего я боюсь?

Не жирной англичанки, во всякомъ случаѣ. Что такое эта «mère», да еще adoptive, и почему, — я не понимаю. Но какое мнѣ дѣло, когда я почти не вѣрю, что она существуетъ? Ни пространность ея колыхающихся тѣлесъ, ни увѣренный звукъ горлового голоса, наполняющаго комнату, еще не доказательства ея бытія...

— Я тоже скоро покидаю Бестру. И тоже въ Римъ тду.

Сказалъ это почти неожиданно для себя и въ первый разъ посмотрълъ на Эллу.

Если я воображалъ, что увижу опять что нибудь "такое" (кто меня знаетъ, — ждалъ, въроятно) — ошибся. Глаза англичаночки (хотя она не англичанка, увъренъ) были опущены и острое личико спокойно.

Непонятное мнъ самому заявленіе, что я тоже ъду въ Римъ, пропало даромъ. Я ужъ обрадовался, было, такъ какъ ничто меня больше своихъ непонятностей - глупостей не раздражаетъ. Но Клерхенъ сказала, въроятно изъ машинальной любезности:

— Ахъ, такъ вы еще встрътитесь въ Римъ, быть можетъ! Вы гдъ остановитесь, cher Monsieur?

Я хотълъ сказать "не знаю", но прежде, чъмъ "не знаю" выговорилось — назвалъ маленькій отель надъ Мonte Pinchio, гдъ всегда живу, когда попадаю въ Римъ.

Все это скользнуло быстро, миссисъ Миддль ничего не поняла, а Клара уже, слышу, просить Эллу что нибудь сыграть (піанино тутъже, въ углу).

— Я, въдь, не піанистка, chère Madame, отозвалась Элла, улыбнулась, точно извиняясь, но встала.

— Да, да, она — композиторъ! Но иногда мы забавляемся вмѣстѣ, и какъ у насъ выходитъ! Помните, Элла, наше «Ça ira! Ça ira!» Сыграйте это, хотите?

Миссисъ Миддль тоже встала, — я ужаснулся ея величинъ, — но потомъ почему - то съла, ожидая, въроятно, первыхъ аккордовъ.

Конечно, Элла не піанистка. Что за піанистка съ такими руками, дѣтски - крошечными, хотя и крѣпкими, мальчишескими, съ чуть увловатыми пальчиками?

Видѣлъ только наклоненный профиль и надъ нимъ, острымъ, коричневый бобрикъ волосъ (она сняла шляпу).

Я ужъ говорилъ, у меня особенно, ни на чье не похожее, отношеніе къ музыкъ; и здъсь, опять, не буду его касаться. Скажу только, что всъ (кромъ Франца) твердо знали, что я ее и не люблю, и не понимаю. Они были вполнъ правы, эти всъ: да, не любилъ, какъ они, не понималъ въ ней ничего, — какъ понимали многіе, тонко и знающе. Я былъ невъжда. Никогда не ходилъ ни въ какіе концерты, не выносилъ ихъ. И особенно не любилъ рояля.

Но ничего, какъ будто, удивительнаго не случилось для меня, едва заиграла маленькая незнакомка. Только пропала комната Флоріолы, Клара, рыжая толстая дама, солнечный свѣтъ. Я былъ у Франца, я опять стоялъ рядомъ съ дѣвочкой въ бѣломъ платьѣ, на самой чертѣ мрака. Оттуда, изъ черной пустоты, и шли странные звуки, которые я слышалъ.

Когда они прекратились, я еще полминуты оставался въ оцъпененіи. Кажется, и Клара: она молчала.

Отлично понималь, съ первой ноты поняль, что была это — вчерашняя серенада. Но откуда идетъ и гдѣ сила волшебства, заставившая меня не вспомнить, а снова, всѣми пятью чувствами, перечувствовать бывшее, какъ настоящее? — Талантъ худенькой дѣвочки, что - ли, воспроизводящій прошлое до его воскресенья? И что это за талантъ? Или это во мнѣ, въ меня, въ темную глубину какую то попали эти звуки, именно такъ, а не иначе посланные, и волшебство совершилось — во мнѣ?

Вотъ и Клара молчитъ; а если и въ ней что - то отвѣтило — о, по другому совсѣмъ, — на тѣ-же звуки?

Полминуты, не больше, длилось наше молчаніе. Даже меньше,

пожалуй. Насъ троихъ, — м-съ Миддль его и не замътила. Черезъ полминуты, когда Элла тихо поднялась изъ - за піанино, «mother» воскликнула:

— Oya, вы не хотите Са ira?

Элла покачала головой. За мамашей поднялись и мы.

— Намъ пора, mother, вы не думаете? сказала Элла по англійски. — Намъ нужно еще зайти къ Miss Toll. Вы устанете...

Клара уже пъла какія - то любезности, превратившись въ хозяйку дома. Я тоже что - то говорилъ. А можетъ быть и нътъ. Помню только пожатіе маленькой холодной ручки и мое спокойствіе. Волшебство? Да, такія вещи бываютъ на свътъ. Мало - ли что бываетъ!

## XII.

# продолжение денька

Ужъ темно, а какая жара. Даже здѣсь, у самаго - самаго моря, на галькахъ, — ни вѣтерка.

Оба лежимъ мы подъ скалами, что - то шуршитъ около насъ, на небъ пологій острый мъсяцъ, углами кверху, точно улыбается.

- Ну да, говоритъ Францъ. Ты поъдешь и узнаешь. И потомъ скажешь мнъ в с ю правду. Я даю годъ. Больше года прожить безъ нея не могу.
  - Трудно это, Францъ.
  - Конечно, трудно. Но ты можешь...
  - Могу. То есть постараюсь.
- Можешь. Ты одинъ можешь. Это ничего, что ты не совсѣмъ понимаешь, зачѣмъ мнѣ эта правда.
  - Кажется, понимаю, перебилъ я.
- Отвлеченно формулировалъ? да ничего. Тебъ же лучше. Но узнать правду ты можешь, и передать мнъ; и тебъ одному я повърю. Годъ. Наскоро, сразу, нельзя узнать. Будущей весной мы съъдемся... все равно гдъ, и тогда ты скажешь.

Мы замолкли. Шуршало межъ гальками. Улыбался мъсяцъ. Въ этотъ странный день ничто уже не казалось страннымъ. Я

принялъ, безъ споровъ, порученіе Франца. Когда я вижу, что ему что нибудь дъйствительно нужно, я не могу, ну просто не могу, отойти безъ помощи. Никто, кромъ меня, ему и не дастъ ея, а главное, ни у кого, кромъ меня, никакой онъ не попроситъ. И не просилъ.

Францъ хочетъ, чтобы я, за этотъ годъ, узналъ правду объ Отто. Не внъшнюю, а внутреннюю правду его существа. (Я, конечно, сразу понялъ, какую правду). Отто женился. И счастливъ. Счастливъ - ли? Можетъ ли быть счастливъ? Любовь Франца къ Отто, была - ли это любовь — къ "никому"? Или, на худой конецъ, къ кому - то неизвъстному, не тому Отто, какого видълъ Францъ? Но тогла и любви не было?

Я тутъ, для себя, въ разсужденіяхъ путался, и скоро ихъ оставилъ въ покоъ. Понимаю, чего хочетъ Францъ, съ Отто я хорошо знакомъ, случай приглядъться къ нему съ нужной стороны — найду, кстати - же этотъ самый Отто всегда казался мнъ довольно незамысловатымъ: я лишь не интересовался его ларчикомъ, но откроется онъ, полагаю, безъ труда.

Ну и довольно. Что я не вполнъ, не "изнутри" понимаю даже свои собственныя объясненія желаній Франца, (узнать, кого любиль), и сухой ревности безъ любви, да еще дико — односторонней не понимаю, — Францъ знаетъ, и это неважно.

А вотъ...

— Послушай, есть еще... Есть еще, совсъмъ другое.

Францъ повернулся ко мнѣ. Оперся на руку. Я привыкъ къ мѣсяцу и видѣлъ теперь блѣдное лицо. Оно было удивительно доброе, съ тѣмъ выраженіемъ тихой нѣжности, которую я зналъ въ другѣ.

Но почему - то испугался. Еще? Что еще?

— Не бойся. Это не о маленькой музыкантшъ. Не о тебъ.

Обо мнъ? О ней? Что онъ хотълъ сказать? Я удивленно по-смотрълъ, не отвътилъ.

— Это о бъдной Кларъ.

Ахъ! Я вспомнилъ все. Вспомнилъ вчерашній вечеръ, сегодняшнее утро...

— Подожди, выслушай меня сначала, продолжалъ Францъ. — Върь, — да въдь ты мнъ всегда въришь, — но не удивляйся ничему, не смъйся; пойми, какъ ты умъешь многое понимать.

## XIII.

# БЪДНАЯ КЛАРА

— Она меня любитъ, началъ Францъ. — Ты это, конечно, знаешь. Догадался, или она тебъ сказала — все равно. Подлинная любовь — великій даръ, кому бы ни былъ посланъ. Онъ — счастье, и онъ - же несчастье. Кларина любовь ко мнъ — громадное, почти сплошное несчастье. И она это знаетъ, съ самаго начала знала. Но кому любовь посылается — тотъ ужъ обреченъ нести ее, какая послана. А черезъ маленькаго этого человъка, ничъмъ незамъчательную женщину, Клару, — несчастье ея любви — и мое несчастье.

Я не выдержалъ, разсердился, перебилъ, почти закричалъ:

- Францъ, опомнись! твое несчастье? Извини, я отвыкъ отъ этой романтики. Не хочу я тутъ "высокаго штиля". Что это, въ первый разъ восторженная, праздная дама въ тебя влюбилась? Бывало, помнится... И чтожъ, вмъстъ со всъми ты страдалъ? Право, сейчасъ ты напомнилъ мнъ... были такіе въ серединъ прошлаго въка, у насъ, въ Россіи... чувствительные юноши... Такъ же пустяки размазывали и такъ же изъяснялись торжественно. Твое несчастье! Случайная нъмка упрямо влюбилась, въ кого не слъдовало, а ты изъ за этого страдаешь! И ужъ конечно, голову прозакладую! ты то не виноватъ!
  - А она? тихо сказалъ Францъ.
- Она? Виновата не виновата не знаешь ты женщинъ, Францъ! Надъ ними время всесильно; если заставить ихъ у этого врача полъчиться каждая выздоровъетъ. Хочешь, я поговорю съ Кларой? Уъдетъ провътриться въ Германію, и увидишь, какъ все обойдется.
  - Нѣтъ, оставь.

Францъ не сердился, хотя я говорилъ грубо и раздраженно.

— Лучше потомъ кончимъ, сказалъ онъ, вставая. — Ты злишься, — я понимаю! Забылъ, что я такой: гдъ невинное страданье, да еще черезъ меня, я ужъ не успокаиваюсь, всячески размышляю, прикидываю, какъ бы его смягчить. Когда могу.

— Обмани... Разведи съ Маріусомъ и женись на дурѣ... буркнулъ я.

Францъ засмѣялся, но тотчасъ сказалъ серьезно:

- И шутить такъ не надо, Иванъ. Это не я, а ты не знаешь женщинъ. Понятно: тебъ некогда о женщинъ думать: ты въ нее влюбляешься, а тогда ужъ не до размышленій. Спросилъ бы Клару, хочетъ ли она обмана или, хоть безъ обмана, но чтобъ я на ней женился?
- Такъ чего же она отъ тебя хочетъ?! Почти въ отчаяніи закричалъ я.

Едва съ крутой дорожки не сорвался: тьма, мъсяцъ давно за-катился, духота.

Но Францъ не сказалъ. И мы разстались.

#### XIV

# СРЕДИ ВСЕГО

Нелъпость и чепуха. Ну какъ - же не чепуха, если опомниться, и эта моя развъдка насчетъ черноглазаго, тонконогаго графчика, глупаго, кажется (не знаю, не интересовался), и эта нъмка, до которой дъла мнъ нътъ, и вся Бестра съ ея вътрами, мальчишками, серенадами, маленькими и большими англичанками... У меня, наконецъ, своя жизнь есть, свои мысли, свое дъло, — да еще какое! Пора...

Что — пора? Я золъ, раздраженъ, барахтаюсь въ кошмарѣ — но, вотъ, вижу, что поверхъ всего — у меня боль за Франца.

Почему я его не дослушаль? Какой онъ тамъ ни на есть, съ его воображеніями и странностями (не измѣнишь!) — я его люблю. Насчеть Отто развѣдывать поѣду. О Кларѣ ему нужно было что - то сказать мнѣ, знаю, что нужно (случалось прежде, говорилъ о своемъ и совѣта спрашивалъ) — а я вдругъ грубо его оборвалъ.

Эта боль за Франца (въ любви моей къ нему столько пронзительной жалости... нътъ, какой - то нъжной, заботливой нъжности!) совсъмъ меня разстроила. Но итти къ нему, стараться возобновить разговоръ —нельзя; опять грубо. Надо ждать, или придумать что нибудь другое.

Я на цълый день уъхалъ въ Катанью. Хотълъ вернуться вечеромъ, но остался ночевать. Грязный городъ, грязная гостинница, жара ужасная.

Прівхаль на Флоріолу — совсвиь больной. И утромь — уже не могь встать. Не знаю, что такое было. Говорять, случается это въ Сициліи, потрясающее какое - то недомоганье, чуть не съ бредомь, — и внезапно проходить, черезъ два дня. Выздоровленіе же, хотя тоже быстрое, но какъ будто послв тяжелой бользни.

Въ эти два дня я помню шепеляваго и милаго Signor il dottore, потомъ Франца, а, главное, все время помню около себя тихую Клару, которая ухаживала за мной неотступно, съ чисто - материнской заботливостью.

Я ужъ чувствовалъ себя совсъмъ хорошо, но она еще не позволяла вставать.

— Завтра, завтра, — улыбалась она, садясь съ какимъ - то рукодъліемъ, у затъненной лампы, въ моей комнатъ. — Завтра встанете, но еще нельзя выходить, и никого я къ вамъ не пущу, даже M-r v. Hallen. А послъзавтра — все кончено, вы свободны. Это пустяки, это наше солнце, вы были неосторожны, да, можетъ быть, разстроены...

Я смотрѣлъ на нее, и, въ тихой комнатѣ, она сама тихая, казалась мнѣ другой. Какъ будто и не та глупая нѣмка, на которую я изъ за Франца такъ разозлился.

— Мадамъ Клара... произнесъ я.

Она подняла на меня близорукіе свътлые глаза. Потомъ, просто:

— Онъ вамъ сказалъ?

Я не отвътилъ ничего, хотя понялъ вопросъ.

- Ему трудно, онъ думаетъ, что это большая отвътственность... продолжала она, какъ бы про себя, опустивъ глаза на работу. Онъ все понимаетъ, только вотъ это: какая же отвътственность? Одна моя, и я такъ хочу, чтобъ была одна моя.
  - Клара, но въдь вы знаете... Вы его любите...
- Да. Мы все знаемъ другъ о другъ, и говорить даже почти не надо было. Онъ всегда зналъ, что я не думаю, и не хочу его любви... Мнъ своей слишкомъ достаточно, прибавила она съ какойто вовсе не печальной, хорошей улыбкой.

Нътъ, я не понималъ. Да въ чемъ-же дѣло? Опять какія нибудь фантазіи Франца? Но вѣдь она - то, пусть сантиментальная, но практичная нѣмка. Она что - то хочетъ отъ Франца, на что онъ... не соглашается?

Клара, не смущаясь моимъ молчаніемъ, продолжала:

— Онъ угадалъ мое сердце, всю меня, какъ никто не могъ бы. Никто другой. Я не жена. Я не возлюбленная. Я умъю любить, такъ дано мнъ, но любовь любимаго — зачъмъ? Нътъ, сердце не въ ней...

Я вдругъ сълъ на постели. Промелькнули, пронеслись отрывочныя фразы, слова, какія то предупрежденія Франца: "выслушай до конца... Ты не знаешь женщины... И не смъйся... "А теперь: "онъменя угадалъ... Я не жена... Я не возлюбленная..."

- Клара. Вы хотите имъть ребенка? Его ребенка?
- Да.

## XY.

# ДЕМОНЪ

Послѣ этого "да" — точно по волшебству сложилась передо мною, изъ кусочковъ и обрывочковъ видѣннаго, слышаннаго, мимо ушей пропущеннаго, цѣлая картина, въ общемъ такая вѣрная, что Францу потомъ пришлось дополнить ее только небольшими хотя и неожиданными подробностями. Зная Франца, какъ я его зналъ, мнѣ и труда не составляло догадаться о его чувствахъ и о взглядахъ на маленькую драму Клерхенъ. Для нея самой она не была маленькой; значитъ, при серьезности Франца, когда шло дѣло о человѣкѣ, не была маленькой драма Клары и для него. Онъ, конечно, вѣрилъ (и Клара, да и — кто его знаетъ, можетъ такъ оно и было?) что эта женщина, дѣйствительно, не "жена", не "возлюбленная", а только, — главнымъ образомъ, — "матъ". Бываютъ - же такія. Я не замѣчалъ, положимъ, да просто не думалъ объ этомъ; Францъ можетъ быть и правъ, что я не знаю женщинъ, что некогда мнѣ о нихъ думать.

Отлично понялъ я, словно въ книгъ прочиталъ, все сложное душевное состояніе Франца, его влекущую силу доброты, а рядомъ

— въчное чувство отвътственности... И что еще? Да, да, все, кажется, поняла моя любовь къ Францу. Но... тутъ я, съ сожальніемъ, опять долженъ сказать кое - что о себъ. Върнъе — о моемъ демонъ.

Воистину проклятый демонъ: нападаетъ онъ на меня всегда неожиданно, и всегда въ самое неподходящее время; бросается на то, что я отъ него какъ разъ и хотъть - бы сберечь.

Но онъ безпощаденъ, этотъ демонъ, — смѣха... Смѣха самаго грубаго, самаго издѣвательскаго. Излюбленная мишень — я самъ, конечно, хотя не считается онъ ни съ кѣмъ — и ни съ чѣмъ.

До сихъ поръ вспоминаю: нѣсколько лѣтъ тому назадъ, былъ я влюбленъ въ двухъ женщинъ, — двухъ сразу. Клянусь, влюбленъ серьезно, глубоко, любилъ обѣихъ съ одинаковой силой, — по разному; вѣдь и онѣ были разныя совсѣмъ. Мать и дочь. Дочь была моя невѣста. А мать, совсѣмъ неожиданно для обоихъ насъ, — стала моей любовницей. Самое ужасное — это что я дѣйствительно любилъ обѣихъ, обѣ мнѣ были одинаково нужны; и онѣ любили меня; выходъ - же мнѣ былъ одинъ: обманувъ обѣихъ — разстаться съ обѣими.

Помню трагическую ночь, когда я такъ смертно мучился, разрывая непонятную сѣть, зная, чѣмъ будетъ этотъ разрывъ для меня, и для нихъ, — для каждой, — (для нихъ еще съ обманомъ, развѣ могъ я сказать правду? развѣ поняли бы онѣ, когда я и самъ ея не понималъ?) Такъ вотъ — въ эту ночь вдругъ навалился на меня, сверхъ всего, проклятый дьяволъ смѣха. Я не только смѣялся надъ собой, я издѣвательски хохоталъ, грубо дразнилъ себя, будто я Хлестаковъ: "Анна Андреевна! Марья Антоновна!" Нельзя - ли молъ, съ обѣими "удалиться подъ сѣнь струй..." Чтожъ такое, что одна "въ нѣкоторомъ родѣ замужемъ?"

Ну, не стоитъ теперь объ этомъ. Знаю, что едва - едва не пустилъ себъ пулю въ лобъ, и вотъ отъ невыносимаго этого смъха, — куда хуже онъ, чъмъ смъхъ "сквозъ слезы".

А вспомнилось потому, что послѣ знаменательнаго Кларинаго "да", когда я ее, и Франца, — всю картину понялъ, и даже, если можно, еще больше моего серьезнаго и нѣжнаго Франца полюбилъ, а К' гру пожалѣлъ, — до утра не сомкнулъ глазъ: такъ этотъ поганный дъяволъ хохота меня душилъ и трепалъ. Вмѣсто Франца онъ мнѣ показывалъ столь глупую, комическую фигуру, что я покатывался со

смѣху; — а Клара видѣлась многоликой истерической рожей—сколько ихъ шляется къ знаменитостямъ: "прошу сдѣлать мнѣ ребенка! И немедленно!"

Чортовы штуки — сближать факты внъшніе, чтобы смъшать ихъ, убить живое внутреннее содержаніе тамъ, гдъ оно есть. Драму превратить не въ комедію даже, — въ грязный водевиль.

Я всю ночь и превращаль, издѣваясь надъ Францемъ: (— попалъ въ переплетъ и еще вздыхаетъ). Надъ Кларой: (а Маріуса почему не желаешь?) И надъ собой: (совѣтчикъ! потомъ попросятъ совѣта, какого акушера пригласить! А сначала — роль моя tenir les chandelles, что - ли? О, соглашусь, я таковскій!).

Лишь къ утру задремаль; проснулся въ холодномъ ужасѣ: что будетъ, если дьяволъ схватитъ меня и при Францѣ? Или при Кларѣ? А я не справлюсь и захохочу имъ въ глаза?

Нътъ, тутъ ръшительно есть доля самаго настоящаго моего безумія...

Но прислушался: молчитъ, проклятый.

Марія принесла кофе. Освѣдомляется о здоровьѣ. Signora сказала, что если signor чувствуетъ себя лучше....

— Совсѣмъ, совсѣмъ хорошо, mia figlia! Скажите синьорѣ, что я здоровъ и сейчасъ встану!

#### XYI.

#### ТЕЛЕГРАММА

Послѣдняя моя недѣля Бестры проходила въ самомъ тѣсномъ общеніи съ Францемъ, въ длинныхъ съ нимъ разговорахъ. Мы совершали прогулки, далеко въ горы; случалось, набредя на крошечную деревушку, тамъ и заночевывали.

На Флоріолъ, вечеромъ, я неръдко сталкивался съ Кларой на моей террасъ. Мало по малу и съ ней у насъ установились откровенныя отношенія. Вмъстъ, Франца и Клару, я почти никогда не видалъ, да они, кажется, и не бывали вмъстъ. Изръдка Францъ приходилъ къ 5 часовому чаю.

Имъ точно и вправду не было нужды вести другъ съ другомъ длинные разговоры: все понялось и сказалось сразу въ малыхъ словахъ.

Я угадалъ върно взглядъ Франца на Клару: просто его принялъ.

Принялъ такъ - же и Клару, съ ея любовью, съ упорной волей и... практичностью.

Мнѣ понравилось ея рѣшеніе: она "во всякомъ случаѣ" расходится съ Маріусомъ, и уѣзжаетъ изъ Бестры навсегда. Флоріолу она даритъ Маріусу. У нея есть еще средства, есть и небольшая вилла на итальянскомъ побережьи (она не сказала, гдѣ) тамъ живетъ теперь старая ея тетка.

— Съ M-r v. Hallen, прибавила она, мы условимся передъмоимъ отъъздомъ. Онъ можетъ пріъхать на нъсколько дней... лучше всего въ Санъ - Ремо. Если, конечно...

Она не договорила, никогда не договаривала. Въ первый разъ, при такихъ словахъ, я ужасно испугался: вдругъ дьяволъ тутъ - то меня и схватитъ? Но она произнесла это такъ просто, такъ невинно - просто, что я — ничего. Даже не улыбнулся.

Ну, а что-же Францъ? О ръшеніи Клары покинуть Бестру онъ зналъ, онъ, какъ будто, все зналъ, все, какъ будто, принималъ... Да, но онъ не Клара, и разговоры у насъ съ нимъ иные. Ближе нельзя, кажется, и такъ ясно представлялъ я себѣ, что дѣлается въ этой серьезной и сложной душѣ. Сталъ думать, что доброта, — вотъ его свѣтящаяся доброта — побѣдитъ, должна побѣдить. Я ужъ не смѣялся, — на такихъ особыхъ рельсахъ шелъ всегда нашъ разговоръ.

Не засмъялся я и тогда, когда вдругъ замътилъ еще какую - то сложность, мучающую Франца. Я только безпомощно разсердился и сразу ръшилъ объ этомъ совсъмъ не думать, такъ какъ сразу увидълъ, что не понимаю, и не пойму. На Франца разсердился: можноли доводить себя до такихъ извилинъ? Допутаться — ну ей Богу до несуществующаго? Въ какую связь онъ ставитъ для себя исторію Клары (и это несчастное San - Remo) — съ моей объщанной развъдкой насчетъ графчика? Нътъ, просто закрыть уши, отвернуться, забыть, — вонъ баба сициліанская съ кувшиномъ на головъ идетъ, дъвочка крошечная у двери съ кошкой играетъ, пътухъ гдъ - то за-

пълъ... милая, грубая, понятная жизнь! И чего люди выкрутасничаютъ!

Францъ угадалъ, кажется, что я сержусь и почему: объяснять мнѣ ничего не сталъ, не настаивалъ, улыбнулся, къ другому перешелъ.

Нътъ, довольно, очень меня утомила Бестра съ загадочными ея исторіями и неожиданными сплетеніями. Кое что распуталось, — я поняль, зачъмъ я былъ нуженъ Францу, теперь можно вздохнуть съ облегченіемъ. Конечно, нелъпость этихъ исторій остается, — и Клара, и порученіе Франца... Но не стоитъ думать. Таковъ ужъ Францъ, поъду въ свое время и Отто пытать. Насчетъ Клары — онъ знаетъ мои разсужденія...

И съ радостью, даже съ волненіемъ, ждалъ я, что вотъ, черезъ два дня, свободный, поъду путешествовать... куда поъду? Все равно, — въ Сиракузы, въ Палермо... Оттуда, черезъ Неаполь — въ Римъ. Знаю его. Но Сіенна, Орвіетто... еслибъ туда? На возвратномъ пути надо остановиться въ Берлинъ, хоть начать съ этимъ глупымъ Отто... Ну, до этого еще далеко! Сейчасъ — словно "тайной радости жду впереди" — жду путешествія...

Укладывалъ, посвистывая, чемоданъ (хотя еще цѣлыхъ два дня!) когда Марія, съ утреннимъ кофе, принесла мнѣ телеграмму.

Раскрылъ. Ничего не понимаю. На какомъ языкѣ? По французски? По итальянски? Ахъ, по англійски! Вопросъ, когда я буду въ Римъ... «Could travel with you... Mother goes England. Ella».

Стоялъ съ раскрытой телеграммой въ рукахъ. Смотрѣлъ на наклеенную полоску словъ. Обернулъ, — да, мнѣ. Очевидно, надо отвѣтить? Куда? Это изъ Рима. Да вотъ адресъ отеля, — мой - же, гдѣ я всегда останавливаюсь.

Но соображалось плохо. «Mother goes England»...Не показать ли Кларъ?

Тотчасъ рѣшилъ, что не покажу. Пойду въ городъ самъ и отвѣчу. Когда я буду въ Римѣ? Черезъ недѣлю? Раньше? А Сиракузы, Палермо? Ну, можно и безъ Сиракузъ. Въ Палермо день; ночь до Неаполя... Черезъ пять дней я могу быть въ Римѣ.

# ПИСБИА О ЛЕРМОНТОВБ.

## письмо пятое

Съ тъхъ поръ какъ вамъ — неизмънно и точно — два раза въ недълю пишу, я для васъ приберегаю каждую мысль, мнъ представляющуюся плънительной, въ чемъ - нибудь любопытной и новой - все равно, услышанную, прочитанную или самостоятельно найденную. Но сколько бы ни волновали меня подобныя мысли, нечаянныя душевныя "открытія", вдохновенное сочетаніе словъ, я удерживаюсь отъ немедленнаго ихъ высказыванія и не пишу до очередного понедъльника или четверга — и ради порядка, и еще болъе, чтобы слишкомъ скоро вамъ не наскучить. Правда, потомъ я боюсь забыть приготовленное для васъ, безъ конца его себъ повторяю, отъ повтореній, отъ постояннаго дразнящаго откладыванія увлекаюсь и разукрашиваю, и поневоль у меня появляются напоръ, стараніе, пылъ, я придаю значительность и сложность, несоотвътствующія предназначенному вамъ "открытію", и вы должны мнѣ простить чрезмѣрную договоренность, въроятное косноязычіе и неудачи, неизбъжныя изъ - за считанія съ вами, изъ - за невозможности для меня по иному оставаться собой.

Вотъ вчера во французскомъ критическомъ фельетонъ я наткнулся на фразу пожалуй случайную, но върную и страшную — объ "умираніи произведеній" — и, какъ примъры, съ нъкоторой осторожностью были названы "Пъснь о Роландъ" и "Эмиль". Мнъ сразу вспомнились прежніе наши споры, когда я высказывалъ нъчто похожее и называлъ произведенія куда болье громкія и всъми любимыя, а вы, со свойственной вамъ тогда презрительной ко мнъ непріязнью, говорили о моемъ "кощунствъ", о желаніи "быть своеобразнымъ и поражать", объ отсутствіи у меня отклика на все величественное, о "страхъ передъ всякимъ величіемъ" и даже — о мелкой моей недобросовъстности: "про каждую книгу ръшать — устаръла — это

черезчуръ легкій способъ подчеркивать свою современность". какъ насмъщливо и злобно вы растягивали слово "современность": я отъ обиды, отъ внезапно возникавшей мстительности — съ улыбкой превосходства, столь вами ненавидимой — выдавалъ эти мысли ва свои, за что - то, мнъ одному (мнъ единственно умному) понятное, за какое - то свое надъ всѣми, да и надъ вами, необычайное торжество. Между тъмъ подобныя мысли, когда - то, по чужому намеку или указанію, меня поразившія и сегодня въ газетной стать в лишній разъ случайно подтвержденныя — эти мысли давно сдълались навязчиво мнъ близкими. Въ различныя времена по странному меня преслѣдовалъ рядъ сходныхъ наблюденій и страховъ — въ каждое время о чемъ - нибудь одномъ — и всъ эти "маніи" одинаково вызывались неудовлетворяемой жалостью къ людямъ, въчной невозможностью отвести несправедливость и помочь. Такъ, въ дътствъ, гимназистомъ однажды я услыхалъ, что какой - то малознакомый господинъ "тиранитъ жену" — это надолго меня возмутило, заставило искать жестокость и насиліе въ самыхъ невинныхъ, въ самыхъ шутливыхъ поступкахъ всякаго мужа съ женой: остроумничаніе мнъ стало казаться издъвательствомъ, похлопываніе по плечу — "проявленіемъ власти", каждый мужъ представлялся непремѣнно "тираномъ", я съ ужасомъ воображалъ, что происходитъ у супруговъ вдвоемъ — и дъйствительно неръдко видълъ самоуправство и женское отчаяніе тамъ, гдф другіе ничего не замфчаютъ. Затъмъ, послъ первыхъ женщинъ, послъ той радости, того разръшенія, которое онъ давали, послъ откровеннаго разговора съ некрасивой и немолодой барышней, мнъ восхищенно завидовавшей, я вдругъ проникся жалостью, сознаніемъ неравенства и какой - то своей вины передъ многими сверстницами, передъ старшими ихъ сестрами, взволнованно ожидающими замужества (и будто бы всегда помнящими, что "теряется ихъ лучшее время"), передъ такими, какъ моя собесъдница, безнадежными старыми дъвами, передъ всъми, у кого не бываетъ мнъ доступной, блаженно - успокоительной радости. Теперь, кажется, измѣнились нравы (или я огрубѣлъ и занятъ другимъ), но тогда меня это — не смъйтесь — мучило и лишало какогото права (въ прямолинейной моей наивности) пользоваться мужской ненаказуемостью и свободой, приводило къ постоянному самострызанію — впрочемъ безсцъльному и бездъйственному. Впослъдствіи

бывали у меня иныя — отъ чрезмърной совъстливости — разнообразныя "маніи", иные длительные порывы возмущенія и грусти (и я бы сдълался соціалистомъ, если бы всякое мое возмущеніе не соединялось съ увъренностью въ собственномъ безсиліи и безпомощности) — въ послъдніе мъсяцы или годы меня преслъдуетъ именно мысль о конечности, о несомнънномъ умираніи того, чъмъ мы восхищаемся, что мы считаемъ, върнъе, хотимъ считать безсмертнымъ, что является, въ сущности, лишнимъ доказательствомъ человъческаго стремленія ухватиться за какой - нибудь (хотя бы завъдомо иллюзорный) "кусочекъ въчности" среди шаткой и преходящей земной жизни.

Но вы оспариваете мои слова (какъ видите, не торжествующія и не самодовольныя) совсъмъ не по настроенію, въ нихъ выраженному, а по самому ихъ существу, вы назовете тысячелътнія книги, картины, "общепризнанно - безсмертныхъ" творцовъ. Но прислушайтесь, присмотритесь также и къ себъ: не случалось ли вамъ — отъ упорства, отъ нечаянной удачливости — находить обобщеніе, вамъ же казавшееся открытіемъ, новизной, васъ вдохновенно радовавшее и какъ бы окрывлявшее — и затъмъ, послъ многихъ дней, разочаровываясь убъждаться, что ваше "открытіе" не опровергнуто, но незамътно тускиъетъ, особенно если было вслъдъ за нимъ другое, съ нимъ какъ - нибудь связанное или на него похожее. Послъднее непремѣнно въ себѣ заключаетъ сгустокъ, "душу" открытія предшествовавшаго (и столькихъ еще предшествовавшихъ, забытыхъ или незабытыхъ), непремънно оказывается болъе, чъмъ они, исчерпывающимъ — и подобное неминуемое "первенство послъдующаго" превращается для каждаго изъ насъ въ суровый и страшный законъ, переносится изъ опыта личнаго въ общій — на тотъ (не только воображаемый) "интеллектуальный потокъ", который словно бы опоясываеть землю и словно бы въ себя вобраль всв трудныя, героическія, иногда смертельно - опасныя открытія и усилія — и въ этомъ, еле нами постигаемомъ, надчеловъческомъ, надземномъ полетъ по странному очевиденъ жестокій "законъ" (что послѣдующимъ продолжено и улучшено и, въ концъ концовъ, вытъснено предыдущее) — и вотъ, какъ мальчикъ передъ неправедностью, передъ условностью и ложью взрослыхъ людей, я не могу успокоиться и навязчиво горько осуждаю смѣшное, неисправимое наше самохвальство и въ

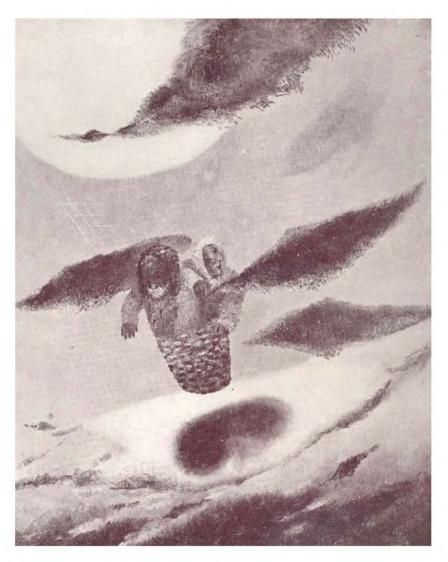
то же время я переполненъ жалостью къ напраснымъ подвигамъ и напряженію, къ удачамъ, казавшимся ослѣпительными и постепенно превратившимися въ пустыя, мертвыя, о чемъ то давно превзойденномъ по старчески напоминающія слова.

Неужели, какъ износившееся платье, эти безсмертныя "вѣчныя произведенія" становятся никому ненужными и существуютъ изъмилости или по недомыслію. Я часто, словно бы стараясь кого - то утѣшить, думаю, что ихъ сила въ неповторимости человѣка или времени, въ нихъ сказавшагося, въ невозможности полнѣе и соотвѣтственнѣе выразить жизнь и надежды какого - то круга людей, но все это до скучности явно вымышлено: и людей и время легко поддѣлать — увы, неподдѣльны лишь усилія чего - то достигнуть, но совсѣмъ не достиженія, осязаемыя и наглядныя, да и стоитъ - ли кому нибудь изъ насъ поддѣлывать то, что другіе неизбѣжно потомъ превзойдутъ.

(съ вами напередъ согласенъ) просто и плоско, но въдь простое и плоское иногда върно — и я попробую переиначить свое утвержденіе и васъ убъдить въ его — пускай непритязательной — правильности: мнъ кажется, мы какъ - то охватываемъ все человъческое прошлое, сгущенную суть разнообразнъйшихъ временъ и прославленныхъ твореній каждаго времени и чьихъ - то невъдомыхъ напряженныхъ трудовъ — охватываемъ не полностью, не въ стройномъ порядкъ и не сознавая охваченнаго, а слъпо принявъ тотъ, хотя и произвольный, но неслучайный и умный отборъ, производится у всякаго прошлаго следующими веками и людьми такіе постепенно отбираемые "сгустки прошлаго" (неръдко болъе всего и достойные быть усвоенными) доходять до внимательныхъ умовъ каждаго позднъйшаго поколънія, и въ нашемъ (какъ и во всякомъ другомъ) настоящемъ, въ его "интеллектуальномъ потокъ" — если бы можно было подобный "потокъ" прервать и безвдохновенно - добросовъстно разложить — словно бы заключено все творческое прошлое (о чемъ говорилось уже не разъ), и только отъ него отталкиваясь, мы добьемся новаго и большаго. Вы язвительно скажете — "что же, теорія прогресса" — и вамъ извъстно, какъ неловко теперь объ этомъ упоминать, но для меня не постыденъ "прогрессъ". и онъ явился бы даже спасеніемъ, только его не могу найти: въдь отъ всъхъ этихъ усложненій, отъ правдивости, отъ всякаго новаго,



Mako. Mako.



Mycamosz. Moussatoff.

съ трудомъ отрываемаго, "кусочка истины" становится меньше утвшающихъ надеждъ, легкомысленныхъ духовныхъ соблазновъ, происходитъ то, о чемъ мы столько съ вами говорили, что "слѣпое счастье замѣняется зрячимъ горемъ", а главное, какой же прогрессъ,
какое обогащеніе, если мы сами исчезаемъ и весь напыщенно - раздутый земной "мірокъ" когда - угодно можетъ исчезнуть. И всѣ способы изобрѣтеннаго нами безсмертія — человѣческой души и человѣческаго творенія — все это противъ правды единственно - очевидной, правды великаго человѣческаго исчезанія.

Конечно, изобрътательность наша простительна: когда мы любимъ и наслаждаемся раздъленностью, когда мы горюемъ изъ-за отвергнутости, когда — послъ любви, послъ наслажденія и горечи мы щедро наполнены просвътленной творческой силой, намъ просто непонятно, что эта радость, эта острота пройдуть, мы стараемся не върить возможному концу, какъ впослъдствіи, охлажденные, не хотимъ върить предшествовавшему, уже неживому и словно бы не бывшему никогда порыву. Между тѣмъ намъ бы слѣдовало себъ сказать: да, мы знаемъ, мы отмътили то, что было и что прошло, и никакое воспоминательное творчество — ослабляющее или усиливающее, однако непремънно по своему передълывающее - казавшагося безсмертнымъ не удержало. Но если это "казавшееся безсмертнымъ" невоскресимо въ насъ уничтожилось, то оно и вив насъ сохраниться не могло — мы же, преодолввая низкую очевидность и свою неотступную о ней боль, придумали въчное потустороннее безсмертіе — божественную неумирающую свою душу и въ непозволительной самонадъянности чуть ли не распоряжаемся тьмь, о чемь лишь можемь бездоказательно и безотвътственно гадать — міровой жизнью и судьбой — а здісь у себя (впрочемъ. у себя ли), на земль, попросту раздаемъ, капризничая и мъняя, суетное, внутренно - печальное земное безсмертіе.

Однако есть у каждаго изъ насъ предълъ безпощадности къ себъ: я спорю съ воображаемыми опровергателями и хочу у нихъ отнять послъднее утъшеніе и надежду, но вотъ едва доберусь также и до своего прошлаго, до немногихъ своихъ привязанностей, до нашей съ вами, неровной и все - таки родной дружбы — и нътъ у меня примиренія со всъмъ оканчивающимся и навсегда неповторимымъ, я опять яростно возмущаюсь, что разставался, что долженъ былъ

разставаться — для непохожихъ на прежнія, отчужденно - далекихъ, отъ времени обездушенныхъ встрѣчъ, я опять послѣ поисковъ нахожу вознаграждающія и ничѣмъ неоправданныя объясненія: они застилаютъ присутствіе конца, и жизнь кажется цѣлесообразной и великолѣпной. Увы, то, что однажды разоблачено, будетъ лишь ненадолго возстановлено, и даже сознаніе собственной правоты вскорѣ перестанетъ насъ утѣшать, разъ оно не измѣнитъ сути разоблаченнаго.

И все же какіе бы мы ни были раздавленные, слѣпые, безсловесные, мы не можемъ не чуять за собой неуловимаго движенія, отдаленной страшной борьбы, и не можемъ не различать какого - то своего касательства или участія, непонятной удовлетворенности, иногда недовольства и безутъшности изъ - за такого своего участія, но къ смутной, единственно - върной этой догадкъ мы примъшиваемъ трусливую необходимость въ личномъ, животномъ неумираніи и кръпко держимся всего искусно перемъщаннаго -- откровеній, върованій, системъ — или же, дойдя до отчаянія, по безнадежному все отвергаемъ, подобно женщинъ, обманывающей и безчестной, но въ чемъ - то заподозрѣнномъ правой и съ особеннымъ упорствомъ отстаивающей всю свою правоту или уже совсъмъ не защищающейся. Мы также можемъ предполагать, что въ отдаленной, намъ еле слышной борьбъ невольно сказываются и отражаются натянуто напряженныя, побъдившія какую - то косность, чуть - чуть взлетающія человъческія жизни, и эти подвиги въ отношеніи міра, себя до конца не сознающіе, чъмъ - то напоминаютъ — бездоказательно и туманно — любовь, скрываемую отъ возлюбленной, безвъстное самопожертвованіе на войнъ и пожалуй — медленную смерть заживо погребеннаго.

Что - то далекое до насъ доходитъ, чего намъ не опредълить и не назвать никакимъ сочетаніемъ неуклюжихъ нашихъ понятій — пространства, цѣлесообразности, времени — и въ чемъ человѣческія усилія какъ - то по слабому все же участвуютъ, но имѣются и земные, мелкіе, нами по бухгалтерски ведущіеся счеты, и въ нихъ - то усилія пропадаютъ и забываются, а въ рѣдкихъ, наполовину произвольныхъ случаяхъ остается перечень достигнутаго, мертвая легенда о пути.

Примъромъ возьму тотъ видъ человъческой дъятельности,

который мнъ ближе другихъ и который хоть немного знаю — литературу. Увы, придется называть имена, и это больно не потому, что ихъ какъ будто снижаю (на самомъ дълъ сниженія нътъ и пожалуй происходитъ обратное), но такъ, въ письмѣ, въ двухъ словахъ, играть именами людей мученическаго напряженія и высокихъ духовныхъ подвиговъ печально и стыдно, однако же необходимо, чтобы вамъ мои мысли пояснить. Всего честнъе сразу же привести имя особенно дорогое и безспорное — для насъ съ вами имя Пушкина — и на его примъръ убъдиться въ кратковременности земного безсмертія. Попробуйте перечитать прозу Пушкина — безъ обычнаго готоваго благоговънія — и васъ въроятно удивить, какая она гладкая, тускло - сърая и легковъсная. Вы съ досадой подумаете: хоть бы ее одухотворялъ искренній личный тонъ, отд'эльныя, поражающія, вырванныя гнъвомъ замъчанія... Нътъ, ни къ чему придраться нельзя, но и ничто не радуетъ, ни условно - стройный сюжетъ, ни подогнанное, безъ неожиданностей, его развитіе — и надо для сравненія прочесть забытыхъ Пушкинскихъ современниковъ, чтобы ахнуть, какой имъ совершенъ переворотъ, какая по тому времени благородная сухость, точность и мъра въ Пушкинской прозъ, сколько въ ней ироніи, ума и скрытой примиренной мудрости, какой одержанъ успъхъ надъ грузной человъческой природой. Конечно, несравнимо труднъе столь же безпристрастно отнестись къ стихамъ, особенно знаменитымъ и каждому памятнымъ — труднъе изъ - за дътскихъ впечатлъній, съ ними связанныхъ и неотразимо длительныхъ, изъ за влюбленныхъ и счастливыхъ дней, когда эти стихи неслучайно нами повторялись, и пожалуй всего труднее — изъ - за другихъ безчисленныхъ дней, когда, вмѣстѣ съ воспоминаніями влюбленными и счастливыми, мы эти же стихи, какъ бы сопутствовавшіе всей нашей жизни, взволнованно и свято берегли. Помните, я вамъ, подобный тысячамъ влюбленныхъ, читалъ (и этимъ больше, чъмъ своей влюбленностью, васъ трогалъ) Пушкинское прославленное — "я васъ любилъ, любовь еще быть - можетъ" — а вы нравоучитально (со всегдашнимъ желаніемъ меня поднять, сдітлать довольнымъ и стойкимъ, не поступаясь ничъмъ своимъ), вы приводили другіе Пушкинскіе стихи — "сохраню ль къ судьбъ презрънье? Понесу ль навстрѣчу ей непреклонность и терпѣнье гордой юности моей?" "презрѣнье" къ тому, что у Пушкина же выражено какъ - то условно

и вяло (по крайней мѣрѣ, для меня): "снова тучи надо мною собралися въ вышинѣ; рокъ завистливый бѣдою угрожаетъ снова мнѣ". Но "ваши" строки прелестны, и недаромъ одна изъ нихъ повторена Блокомъ въ иномъ — пока еще безупречномъ — окруженіи:

Пусть душа твоя мгновенна — Надъ тобою неизмѣнна Гордость юная твоя, Вѣрность женская моя.

Въ томъ, какъ мы поддаемся стихамъ, разобраться не совсъмъ просто: ихъ ритмъ, словесныя сочетанія и то неуловимое, что "между словъ", какъ - то незамътно въ насъ проникаютъ и навсегда сливаются съ душевной нашей природой, явно участвуя въ ее создаваніи. вмъстъ съ другими создающими душу силами — любовной борьбой. книжными подсказками, каждодневными глупыми мелочами и непонятнымъ, неисчерпаемымъ, самовысъкающимся внутреннимъ огнемъ. Я не хочу перебирать отдъльныхъ стихотвореній и пытаться васъ убъдить, что многія изъ нихъ умираютъ или умерли (сколько бы ни внушали они привычнаго восторженнаго довърія), что иныя строки давно стерлись и не волнуютъ, я только посовътую — ради сравненія — прочитать Ронсара, Расина или Мюссэ, въроятно, мало вамъ извъстныхъ и не близкихъ, и даже не стану объяснять, почему вы окажетесь къ нимъ (съ дътства, съ первой любви волнующимъ каждаго француза) холодной и удивленно - осуждающей и почему искренно восхититесь при чтеніи Бодлэра, какихъ - нибудь французскихъ современниковъ, сразу трогающихъ и близкихъ: если вы несогласны со мною, не стоитъ ничего доказывать и васъ безжалостно — по вашимъ же словамъ — "объднять", лишая привычнаго отъ снижаемыхъ мною стиховъ утъщенія (да я и не люблю споровъ и только радъ вдохновляющему, добросовъстно - дружескому обмъну мнъній), если же вы начинаете думать ,какъ я, будемте вмъстъ удивляться тому, что намъ представляется величайшей нелѣпостью и жестокостью — смерти умершихъ, жизни живыхъ (или современниковъ), незаслуженной побъдъ Блока надъ Пушкинымъ, Бодлэра надъ Ронсаромъ и Расиномъ. Я также не стану вамъ досаждать произвольными разсужденіями о томъ, какія произведенія живутъ сравнительно долго, какія воскресаютъ или же гибнутъ безвозвратно — пусть занимается этимъ унылая "исторія литературы", напоминающая мнѣ кладбище, куда постепенно словно бы свозится "живая, дѣйствующая литература", всѣ самоотверженныя усилія и достиженія. Можетъ - быть, историко - литературныя "похороны" (перворазрядныя, торжественныя — простите за грубость моего образа) — болѣе прочная награда для творца, чѣмъ искусственное его оживленіе — отъ невѣжества, боязливости и слѣпоты. Можетъ быть, именно Пушкинъ это подозрѣвалъ (вѣдь ему приписываютъ что - угодно) и ко всему, даже къ "вѣчнымъ произведеніямъ" относилъ безнадежно - безстрашную свою сентенцію: "мертвый, въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся, живущій"...

Еще разъ простите, что бъгло и какъ бы мимоходомъ пишу о вещахъ столь отвътственныхъ, но не хочется въ этихъ письмахъ, меня волнующихъ изъ - за другого, приводитъ какія - то пространныя доказательства. Буду совсьмъ откровененъ: я ничего и не сумъю доказать — кое какъ лишь могу объяснить то, что давно и безъ колебаній знаю, внутренно чувствую, изъ - за чего возмущаюсь и скорблю (разумъется, меньше, чъмъ изъ - за своего, личнаго). Нисколько не увъренъ, что передъ вами оправдался, предупредивъ о своей поверхностности и въ ней признавшись: въдь такъ можно, предупредивъ о любой пошлости, ее высказать и требовать снисхожденія (что равносильно моднымъ теперь и не всегда ироническимъ кавычкамъ, будто бы покрывающимъ всъ "стертыя мъста" — видите, безъ кавычекъ уже никакъ и не обойтись). Притомъ вы строже другихъ и часто бываете справедливъе: вы не довольствуетесь добровольнымъ признаніемъ въ винъ и, если есть вина, обычно требуете исправленія, и я боюсь вашего гнъва, вызваннаго легкомысліемъ моихъ утвержденій и еще бол'ве — разными личными моими намеками, похожими на "дешевое кокетничаніе" (чуть не посліднія ваши обо мні слова). Я даже слышу вашъ голосъ — "или говорите прямо или молчите, лучше молчите" — и, какъ при васъ, теряюсь и въроятно, какъ тогда, ничего не изм'вню и васъ нич'вмъ не задобрю. Вотъ намекаю, пытаюсь упрекнуть и разжалобить — все способы, вами осуждаемые и ненавидимые - и письмо, которое такъ долго я откладывалъ, на которое съ надеждой набросился, это письмо безповоротно испорчено, а на придумываніе другого не хватитъ у меня стойкости.

Вы просите написать обо мнъ. Внъшне — ничего новаго, но какая - то существенная перемьна у меня происходить: прежде я ощущалъ каждую свою секунду (такъ именно, какъ ее ощущаешь, когда нетерпъливо кого - то ждешь или помнишь недавнюю обиду и мучаешься) — только любя, только вдвоемъ съ возлюбленной (и то при спокойствіи, при обезпеченности такимъ спокойствіемъ) будто не замъчалъ времени. Теперь я научился — отъ увлеченія дневниковой работой, по вашему столь безполезной (или же просто отъ того, что постарълъ и куда - то все полетъло) — я научился "глотать время", секунды, минуты, иногда часы, вдругъ удивляться, что поздно, темно, что уже воскресенье и опять пронеслась недъля. Порядокъ моего дня все тотъ же — словно бы случайный, постыдно избаловывающій и безвольный. Опять не міняю библіотечных книгь и побаиваюсь — я повидимому не очень съ женщинами смълъ — хмурящейся библіотечной барышни. Перечитываю, какъ вы мнъ совътовали, Лермонтова.

# письмо седьмое

Есть радостная, насъ какъ бы вздымающая сила въ сознаніи, что мы — капризно и безсознательно — кого - то выбрали, на немъ сосредоточили всю нъжность, всю героичность и внимательность, на которую только способны, все ожиданіе отв'ятной благодарности, всѣ надежды, всю "ставку" на наше будущее: пріятно какого - нибудь человъка случайно и безъ усилій облагодътельствовать (отъ этого возникаютъ у насъ предположительные вдохновенные разговоры, сладкое и въроятно ложное съ такимъ человъкомъ соотношеніе), невыразимо пріятнье облагодьтельствовать того, кого мы рьшили считать и уже считаемъ единственнымъ, кого ежеминутно избаловываемъ и вниманіемъ, и услугами, и помощью, для него существенной и намъ иногда трудной. Мы неръдко забываемъ первоначальную причину трогательности (то, что мы проявили свою волю, что какъ бы тронуты сами собой) и хотимъ одного — непрерывно благотворить и върить понимающей благодарности — и вотъ, чъмъ становимся мы щедръй, чъмъ произвольнъе и незаслуженнъе постоянная жертвенная наша помощь, тъмъ, можетъ - быть, дальше отъ

истины воображаемая дружба, благодарность и отвътность, тъмъ упрямъе наше воображение расходится не только съ дъйствительнодъйствительности, стью, но и съ нашимъ же чувствомъ эта двойственность, эта несогласуемость нашихъ стремленій и воспріятій, удобныхъ намъ вымысловъ и трезвящаго, разочаровывающаго чутья, всегда у насъ остается и во всемъ сказывается, и каждый разъ — обреченно о дъйствительность разбиваясь — мы душевно себя уродуемъ и калъчимъ. Подобное произвольно - упрямое предпочтеніе, подобная, намъ отрадная и нужная заботливость, возникающая оттого лишь, что мы любимъ себя, свой будто бы особенный выборъ и свои столь незамънимыя о другихъ заботы — все это не только относится къ любви (на что, какъ вы подозрѣваете, я сейчасъ намекаю), все это относится хотя бы и къ дътямъ — вспомните, почему иныхъ дътей мы балуемъ, задариваемъ игрушками, полувлюбленно поддразниваемъ, хотимъ коснуться и погладить, и чъмъ ихъ больше мы успъли обласкать, тъмъ они кажутся смъшнъе и милъе - и мы забываемъ себя, свой выборъ, причину ласкъ и подарковъ, но тому, кто выбранъ, уже никакъ не измѣнимъ. Нѣчто похожее и въ нашихъ писательскихъ "романахъ" — впрочемъ, я безошибочно знаю ядовитыя, уничтожающія ваши возраженія, гримасу на каждую, по вашему искусственную или безотвътственную мою фразу, и даже теперь легко могу васъ представить читающей мое письмо и въ вашихъ глазахъ, на вашемъ нахмуренномъ лбу — привычную тънь недоумънія: "что это еще за выдуманные романы, почему столько о нихъ говорится, причемъ столько безтолковаго и неяснаго?" Вы такъ мучаете меня своимъ недоброжелательствомъ и невърјемъ, такъ надо мной нечаянно властны, что я обычно готовъ себя признавать неправымъ и въ чемъ - угодно съ вами соглашаться, только бы вы оцънили доброе наше единеніе и считали, будто мы во всемъ заодно. Правда, моя уступчивость не придаетъ вамъ благожелательности и довърія, и я, разумъется, знаю, что въ конечномъ счеть дъйствую себь же во вредь, но бывають такіе случаи и отношенія, когда всякое замалчиваніе и всякія слова неизм'єнно д'єйствуютъ намъ во вредъ, и я былъ не разъ доведенъ до того, что искалъ лишь спокойствія на ближайшія десять минуть. Къ счастью, теперь вы далеко, я невольно успокоился и окръпъ и въ споръ о "романъ" вамъ не уступаю. Я, можетъ быть, неумъло (зато для себя правидьно)

назвалъ романомъ нечастое длительное свое состояніе, всегда вызывавшееся какимъ - нибудь писателемъ или поэтомъ, но въ такомъ — не кратко - экзальтированномъ, а именно длительномъ и надежномъ - состояніи основа и многія свойства произвольной односторонней влюбленности. Вотъ я подумалъ о Лермонтовъ и тотчасъ же — безъ поисковъ и стараній — выступаютъ различные любовные признаки: въ его имени для меня ( какъ я уже вамъ писалъ) что - то волшебно - волнующе - единственное, въ его образъ, въ его стихахъ и фразахъ (точно въ словахъ возлюбленной) особенная неопредълимая "одна черта" — и только мало неожиданностей, какая - то увъренность, обезпеченность (то, что французы называютъ «sécurité») въ немъ, уже не мъняющемся и не предающемъ, отчего у меня отвътная признательность, иногда скука и, какъ обычно въ этихъ грустно - неравныхъ отношеніяхъ, опасное любопытство ко всему постороннему. Если бы вы знали также, до чего просто разбиваются преграды времени, смерти, возможности взаимнаго пониманія, какіе влюбленно - вдумчивые (чтобы поразить) разговоры я незамътно для себя часами веду, вы бы не морщились и меня бы не высмъивали — видите, сколько удается объяснить въ письмѣ, чего на словахъ не выскажешь (впрочемъ это лишь у меня съ вами — отъ моей напуганности, отъ вашей, какъ бы намъренно - отчуждающей и со мной презрительной нетерпъливости).

Всв случайныя свъдвнія о Лермонтовъ, дневники, письма его знакомыхъ (недавно приводившіяся въ одной книгъ, мною "проглоченной" въ нъсколько вечеровъ), все это волнуетъ меня, какъ будто — оставаясь спрятаннымъ и безнаказаннымъ — я подглядываю, подслушиваю, слъжу за къмъ - то, кого люблю и о комъ собираю то новое и запретное, что съ нимъ постепенно сливается, что становится неопровержимымъ и словно бы въчнымъ, заставляя еще больше его любить. Черезъ стихи, черезъ письма и чужія восноминанія меня поражаетъ собственное Лермонтовское умънье любить, наполненность, готовность, сперва неопредъленная, затъмъ связанная съ образомъ блъднымъ, скрываемымъ, но всегда угадываемымъ и уже неизмънно однимъ. Это Варенька Лопухина — повидимому чахоточная, несчастная Въра въ "Княгинъ Лиговской" и "Княжнъ Мэри" (о ней въ чьемъ - то дневникъ въроятно преувеличенно говорится "молоденькая, умная, какъ день, и въ полномъ смыслъ восхититель-

ная"), шестнадцатилътняя дъвочка, которую добродушно и любовно дразнятъ ея сверстники: "у Вареньки родинка, Варенька уродинка". Почему - то и у Лермонтова, какъ у столькихъ замъчательныхъ людей, вышло, что его "Варенька" оказалась замужемъ за другимъ и онъ въ упрямой уединенной работъ старался осмыслить и оправдать свою, внъшне безцъльную, неудавшуюся жизнь, зато внутренно былъ онъ, какъ немногіе, цъленъ и въренъ, и неръдко женщинъ лишь обманывало настойчивое его вниманіе — ему, должно быть, не однажды мерещились "черты другія", и не къ одному случаю могъ бы Лермонтовъ отнести знаменитыя свои строки:

Когда, порой, я на тебя смотрю, Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ, Таинственнымъ я занятъ разговоромъ, Но не съ тобой я сердцемъ говорю.

И послъдняя свидътельница, наивно-трогательная его cousine вспоминаетъ подобный же "разговоръ" — въ самый день смерти, убійства Лермонтова, "въчно - печальной дуэли" (какъ нечаянно выразился сынъ убійцы).

Мнъ кажется, и у Лермонтова (подобно всякимъ другимъ мечтателямъ, великимъ и малымъ) былъ свой "романъ съ поэтомъ", можетъ - быть нъсколько, и главный изъ нихъ не съ Байрономъ (что пожалуй всего естественнъе предположить), а съ Пушкинымъ, и еще мнъ кажется, будто Пушкина никто такъ не любилъ, какъ Лермонтовъ (который — при его то гусарскихъ понятіяхъ о чести — считалъ, что Пушкину все надо прощать) и никто столькимъ не пожертвовалъ и столь безпощадно не былъ наказанъ за свою любовь. Мнъ также хочется признаться, что не только я самъ люблю (и больше не буду "прилично" и стойко объ этомъ молчать), но и люблю всякихъ любящихъ, всякую любовь, свою и чужую, особенно напрасную, никъмъ и ничъмъ не подогръваемую - и безнадежной, осознанно безнадежной своей върностью мнъ восхитителенъ и понятенъ Лермонтовъ, и часто я въ какомъ - то (какой бываетъ послъ чуда) ледяномъ необъяснимомъ страхъ, что вотъ черезъ умную, горькую эту безнадежность я ворвадся въ живое теченіе его жизни, щедро - безпечной. трудной, самолюбивой, отказывающейся отъ легкаго и простого, съ

готовностью за все отвътить, съ опаснымъ вызовомъ благополучію и пошлости.

Не правда ли, въ каждомъ чувствъ должна наступить полоса зрълости, даже старости — того, что Ларошфуко называетъ «la vieillesse de l'amour» и чему приписываетъ одни страданія. Я думаю, это - прекраснъйщее, самое человъчески - значительное время любви, время терпимости, зрячести, отсутствія преувеличеній и разочарованій, и длится оно иногда до самой смерти дюбящаго — видите, какой я бываю наивный и неисправимый энтузіасть, хотя самъ и не назову пылкой своей довърчивости энтузіазмомъ и постараюсь передъ вами какъ - нибудь ее отстоять: вотъ, скажемъ, настала такая "старость любви" и любовь не прощла — въдь если мы раньше находили какіянибудь ложныя достоинства, это уже обнаружено, если насъ отталкивали случаи предательства и явные недостатки, мы знаемъ и это, и все это любви не убило, что же ее убьеть, и къ чему только мы не готовы? Зато мы научились какой - то безстрашной честности, произвели неумолимо - върную опънку самаго близкаго, самаго намъ любопытнаго человъка, о которомъ особенно трудно судить и думать безъ всякой пристрастности. Въ насъ раскрывается стремленіе быть и во всемъ вдохновенно - безпристрастными, мы нечаянно отыскали способъ постепенно до этого доходить. Вотъ такая пора "любовной зрѣлости" (помня конечно о различіи между любовью настоящей, ощутительной, властной, и условнымъ "писательскимъ романомъ") наступила у меня для Лермонтова, и я не только восхищаюсь, но и возможно - безпристрастно оцфниваю, причемъ оцфнка соотвфтствуетъ восхищенію — правда, уже не слѣпому, безъ первоначальной измънчивости и ненадежности.

Я, кажется, лишь недавно поняль, что именно въ писатель (да и вообще въ людяхъ) мнь близко и почему одно, а не другое, поражаетъ и для меня становится необъяснимо - высокимъ достиженіемъ, я лишь недавно въ этой путаниць разобрался (по собственнымъ, въроятно заимствованнымъ цълямъ) и больше съ собой не ошибаюсь, и только мнь странно теперь по взрослому, по зрълому одобрять то, что притягивало когда - то безотчетно — какъ это произошло у меня съ Лермонтовымъ. Я твердо знаю, никакая "игра ума", никакіе остро поставленные — объ ускользающемъ и запредъльномъ — вопросы, никакое придумываніе и оспариваніе "новыхъ идей" ни-

сколько не кажутся мнъ достойными и даже творческими, и я, не колеблясь, улавливаю, какъ подмъняется напряженная, ведущаяся въ темнотъ, медленная и страшная человъческая работа чъмъ - то легкимъ, случайнымъ и безотвътственнымъ. Я брезгливо - равнодушенъ въ искусствъ ко всякаго рода "гимнастикъ" и "гимнастамъ" и люблю людей, тяжело и осторожно думающихъ, добросовъстныхъ, до наивности серьезныхъ, и если имъ повезетъ, если медленное ихъ вдохновеніе, похожее на пытки, на самомучительство, на отдѣльныя посл'адовательныя самоубійства, сум'ать какъ бы оторвать и выразить ту или иную сущность, частицу сущности, "крупинку" подвижнической ихъ жизни (такъ что цълое ихъ творчество — словно бы "сгустки душевной крови", остановленные, умерщвленные, разъ это "сгустки" и кровь уже въ нихъ не течетъ, но въ такомъ мгновенно застывшемъ видъ единственно схватываемые и передаваемые), если подобная "частица сущности" найдена, передана, я ничего большаго не хочу и ничему другому не повърю: въдь того, что не отмъчено, не выражено, того попросту для насъ нътъ, какъ не существуетъ для насъ неизвъстнаго человъка въ чужомъ и неизвъстномъ городъ или камешка на далекомъ берегу. Всякія же откровенія, пророчества, благодать — это всегда и предположительно и спорно, а вотъ такія, названныя словами, оплотненныя душевныя силы какъ - то по своему можетъ провърить каждый изъ насъ, онъ бываютъ подлинными или ложными и ужъ непремънно — хотя бы и по плоскому — ощутимы. Конечно, передъ странностью нашей судьбы и это безмърно - трудное напряженіе людей, готовыхъ себя, какъ бы досоздавая, передълывать и затъмъ творчески - взволнованно изображать, оказывается напраснымъ и ни къ чему не приводящимъ (и намъ лучше не жить или жить, не оглядывась и куда - то безследно отъ себя прячась), но лишь это, ненужное и суетное, напряжение не есть попытка ввести въ обманъ и не является слъдованіемъ обману, и если нъкоторымъ изъ насъ дано стремленіе узнавать все новое не только во - внъ, но и въ насъ самихъ, то другого способа пожалуй не отыщется. Для меня такіе безконечно - сов'єстливые, праведные творцы — Толстой и Прусть: Достоевскій ставиль острые вопросы и нагромождаль запутанныя, невъроятныя положенія, Толстой и Прустъ неизмѣнно пытались — иногда неудачно и бъдно — улавливать, додумывать. объяснять. Мнъ кажется, Лермонтовъ быль на пути Толстого и бывалъ "до наивности серьезенъ" въ непрестанномъ желаніи что - то свое додумать, выразить, разъяснить (когда - нибудь, если справлюсь со своею лѣнью, вамъ это старательно, текстами, докажу), и такая внутренняя честность въ немъ, гусаръ, свътскомъ человъкъ, поэтъ въроятно счастливаго, быстраго вдохновенія — для меня самое неожиданное и прельщающее.

Впрочемъ, гусаръ, "повъса", свътскій человъкъ — это лишь внъшняя поза Лермонтова, куда болъе благородная, доказывающая большую его готовность за свои поступки расплачиваться и отвъчать, нежели высокія "трагическія" позы, принимаемыя многими и даже знаменитыми людьми, которые распредъляютъ соперниковъ и друзей по степени "благополучія" или "трагичности", причемъ тому и другому върятъ на - слово и сами о своей трагичности говорятъ черезчуръ громко, съ презрительнымъ самодовольствомъ оглядывая молчаливыхъ и, значитъ, благополучныхъ. Лермонтовъ былъ и умнъе и совъстливъе всъхъ этихъ развязныхъ трагическихъ крикуновъ — и насколько онъ, постоянно рискующій жизнью, непонимаемый, нелюбимый и одинокій и въ то же время по - свътски равнодушно - скрытный и никогда никому не жалующійся, насколько онъ достойнъе и какъ - то по человъчески милъе.

# АНАТОЛІЙ ШТЕЙГЕРЪ КИРПИЧИКИ

Плечи у Ивана Петровича были узки и голосъ пересталъ ломаться совсъмъ недавно. Весною онъ перешелъ въ шестой классъ, а осенью его назначили помощникомъ воспитателя въ отдъленіе малышей, которымъ воспитатель велълъ называть его по имениотчеству.

Первоклассники называли его Иваномъ Петровичемъ изъ почтенія, скоро Иваномъ Петровичемъ его стала называть вся гимназія. Издѣваясь и чуть завидуя называли товарищи по классу, иногда улыбаясь называли даже учителя, потому что къ своимъ обязанностямъ Иванъ Петровичъ отнесся серьезно. Онъ слѣдилъ за чистотой въ дортуарѣ, дѣлая мальчикамъ замѣчанія за грязныя руки, и выстраивая ихъ по военному для вечерней и утренней молитвы.

— Пусть привыкаетъ къ отвътственности, говорилъ о немъ инспекторъ. — Это прекрасно формируетъ характеръ въ юношескомъ возрастъ.

Но Иванъ Петровичъ не думалъ о своемъ характерѣ. Онъ былъ очень несчастенъ въ послѣднее время. И въ своемъ дневникѣ онъ писалъ: "Лучше умереть, чѣмъ такъ жить. Я больше не вѣрю ни въ любовь, ни въ чудо. Уроки, уроки, издѣвательства товарищей такихъ пустыхъ и грубыхъ. Ужасные разговоры и Демидова, и Аксенова. Господи, какъ они говорятъ объ этомъ. Но нельзя умереть, пока не узнаешь, что такое любовь". Мысль о самоубійствѣ все чаще и чаще приходила ему въ голову. "Любви нѣтъ и нѣтъ счастья", — писалъ онъ, разгоряченный. Сегодня ему особенно хорошо писалось.

— Иванъ Петровичъ, позвалъ его голосъ воспитателя.

Иванъ Петровичъ вскочилъ и прикрылъ тетрадку физикой Краевича. Вмъстъ съ воспитателемъ входила въ дортуаръ красивая накрашенная дама въ широкой шляпкъ и мальчикъ лътъ десяти, который прятался за ея спину.

— Вотъ, новенькій, сказалъ воспитатель, подталкивая мальчика къ Ивану Петровичу. — А это, мадамъ, мой помощникъ, подъначальство котораго попадаетъ вашъ сынъ. Вы не безпокойтесь, ему будетъ у насъ хорошо. Неправда-ли, малышъ? Какой онъ у васъ хорошій.

Мальчикъ смотрълъ на воспитателя съ глубокимъ равнодушіемъ, даже съ презръніемъ. Его глаза не двинулись, словно онъ не слышалъ воспитательскихъ словъ. Не поднялъ онъ глазъ и на Ивана Петровича.

— Прошу его любить и жаловать, сказала дама. — И ты будешь всѣхъ слушаться. Ну, теперь мнѣ пора, я хочу еще успѣть на этотъ поѣздъ. Она поцѣловала мальчика, который холодно ей подставилъ щеку, пожала руку Ивану Петровичу и пошла къ дверямъ, напутствуемая воспитателемъ, который жаловался ей на провинціальную скуку. — Вотъ вы счастливая, пріѣхали изъ Парижа, будете теперь выступать въ Вѣнѣ. Тамъ у васъ идетъ жизнь настоящая, полная и красивая. Здѣсь будетъ стоять кровать вашего сына.

Мальчикъ стоялъ на мъстъ. Онъ не обернулся вслъдъ матери. — Ты изъ Парижа пріъхалъ, спросилъ его Иванъ Петровичъ, думая, что мальчикъ возволнованъ и разстроенъ. Но мальчикъ вынулъ изъ кармана стеклянные шарики и принялся ихъ разглядывать. Иванъ Петровичъ смотрълъ на него съ удивленіемъ.

— Ты изъ Парижа пріѣхалъ, спросилъ онъ снова и голосъ его зазвучалъ рѣшительнѣе и строже. — Я здѣсь старшій и изволь мнѣ отвѣчать.

Мальчикъ перекатывалъ стеклянные шарики изъ одной ладони въ другую. Онъ былъ все такъ же спокоенъ. Иванъ Петровичъ подошелъ къ нему вплотную.

Мальчикъ былъ не великъ и не малъ ростомъ, шея была открыта, на немъ былъ англійскій спортивный костюмъ. Волосы были свѣтлые, очень тонкіе и мягкіе, а глаза сѣрые и большіе. Иванъ Петровикъ зналъ, что глаза мальчиковъ, когда они упрямятся или злятся, бываютъ похожи на твердые круглые шарики, но глаза этого мальчика на шарики не были похожи. Просто для Ивана Петровича въ нихъ не было мѣста.

Иванъ Петровичъ подошелъ къ мальчику еще ближе. И вдругъ мальчикъ запълъ. Очень тихо, очень спокойно, шарики за-

сунулъ въ карманъ, — чуть-чуть покачиваясь, съ очень серьезнымъ выраженьемъ на лицъ.

Иванъ Петровичъ опѣшилъ. Мальчикъ пѣлъ по французски, (по французски Иванъ Петровичъ понималъ плохо), пѣлъ, не обращая на Ивана Петровича никакого вниманія. Мальчикъ продолжалъ пѣть. Чуть покачиваясь, очень тихо, не повышая голоса, ровнымъ и ангельскимъ голомъ. — Какъ ты поешь, уже совсѣмъ другимъ тономъ хотѣлъ сказать Иванъ Петровичъ, но сказать не рѣшился.

— Новенькій, новенькій, раздались вдругъ крики. Дортуаръ сразу наполнился шумомъ и грохотомъ. Это окончились вечернія занятія и мальчики вернулись въ дортуаръ.

Иванъ Петровичъ съ разбъга връзался въ толпу. Что происходитъ что-то неладное, онъ почувствовалъ это еще издали. На футбольную площадку бъжали не только малыши кое гдъ въ толпъ были видны длинныя фигуры шестиклассниковъ.

- Бѣги, бѣги, крикнулъ ему шестиклассникъ Демидовъ. Это въ твоемъ отдѣленіи. Хорошъ помощникъ воспитателя.
- Француза бьютъ, кричали въ толпъ. Бей его. Стеблевъ, дай ему какъ слъдуетъ. Такъ ему... Бей его. Дай ему въ морду.

Маленькій и коренастый Стеблевъ не нуждался въ поощреніяхъ. Его мускулы и кулаки славились во всемъ классѣ и перечить ему во всемъ классѣ не смѣлъ никто. Вліяніе его на товарищей и власть были безграничны.

Но защищался и французъ. Онъ защищался отчаянно, какъ "воинъ, рѣшившійся дорого продать свою жизнь". Въ одну минуту Иванъ Петровичъ понялъ, что здѣсь происходитъ не обычная школьная драка, — на лицахъ было больше злорадства, чѣмъ спортивнаго любопытства, Стеблевъ дрался не соблюдая установленныхъ правилъ, его маленькіе пудовые кулаки молотили Француза по головѣ, по груди, по глазамъ.

## — Пропустите.

Но здѣсь съ Иваномъ Петровичемъ произошло что-то невѣроятное. Такъ бываетъ иногда во снѣ, во время тяжелаго кошмара: хочешь ринуться, броситься, помочь, — знаешь, что отъ этого дѣйствительно "все" зависитъ, — а что то держитъ, не пускаетъ, чьи то руки, камень? Какая-то тяжесть не даетъ шевельнуться даже.

Аксеновъ и Демидовъ скрутили ему руки за спину. Умолять ихъ

было безполезно. Кто-то изъ малышей подставилъ ему подножку. Падая, онъ увидълъ, что лицо у Француза сплошь залито кровью. И въ эту минуту опять раздалось пънье. Чуть слышное, но уже неровное, какъ разбитый и обломанный стекляный колокольчикъ, опять то-же самое необыкновенное ангельское пъніе.

— Сми-ррр-на. Кому я говорю? Стоять смир-на. Глѣбовъ и Линцъ не пойдутъ сегодня на прогулку. Безъ разговоровъ. Кто тамъ разговариваетъ? Тебѣ дежурство по дортуару внѣ очереди. Пока вы не успокоитесь, мы не пойдемъ въ столовую. Линцу три дежурства внѣ очереди.

Иванъ Петровичъ стоялъ передъ длиннымъ строемъ. Носки врозь, въ линію, руки по швамъ, передъ нимъ стояли мальчики. Тридцать шесть паръ злыхъ глазъ, снизу вверхъ, уставясь, смотрѣли на него.

— Это я виновать во всемъ, думалъ Иванъ Петровичъ. Когда его назначили помощникомъ воспитателя, онъ хотѣлъ обращаться съ мальчиками не такъ, какъ обращались съ нимъ "старшіе", когда онъ былъ въ приготовительномъ классѣ, онъ хотѣлъ чтобы его мальчики въ будущемъ не были похожи на Демидова и Аксенова. И вначалѣ казалось, что у нихъ устанавливается дружба.

Но потомъ пріѣхалъ Французъ и съ его пріѣздомъ все почему-то измѣнилось.

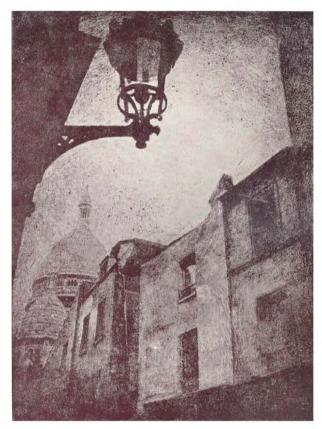
Французъ подчинялся всѣмъ правиламъ и исполнялъ всѣ приказанія. Въ гимназической сѣрой рубашкѣ онъ ничѣмъ не отличался отъ другихъ гимназистовъ. Даже волосы воспитатель велѣлъ остричь ему подъ гребенку. Но и въ сѣрой рубашкѣ, но и съ изуродованной бѣдной золотой головой, онъ казался Ивану Петровичу не совсѣмъ такимъ, какъ другіе.

Иногда Иванъ Петровичъ клалъ Французу руку на плечо. Французъ не обращалъ на это никакого вниманія, илидѣлалъ видъ, что не обращаєтъ. Однажды вечеромъ Иванъ Петровичъ присѣлъ къ нему на кровать, уже послѣ того, какъ потушили электричество. Французъ натянулъ одѣяло на голову и лежалъ вытянувшись и не откликаясь. Иванъ Петровичъ взялъ въ руки завернутую голову маленькой теплой муміи. Мумія запѣла у него въ рукахъ. Изъ шершаваго шерстяного шарика, который онъ держалъ въ рукахъ, сквозь шерсть, чуть пробивалось тихое ровное пѣніе.



Сергъй Лифарь.

Serge Lifar.



Пейзажъ. Фотогр. Марковича

Paysage photographié par Markovitch.

— Иванъ Петровичъ, заткните его, Французъ спать мѣшаетъ, раздался въ темнотѣ злой и бодрый голосъ съ сосѣдней кровати. Иванъ Петровичъ долженъ былъ встать и уйти.

Товарищи, встрътившіе Француза насмѣшливо — ихъ забавлялъ его неправильный русскій языкъ, его англійскій спортивный костюмъ, его постоянное пѣніе, — но хорошо в общемъ, скоро къ нему перемѣнились. Послѣ того, какъ замѣтили, что Иванъ Петровичъ кладетъ Французу руку на плечо, послѣ того, какъ сосѣдъ Француза разсказалъ на другое утро всему дортуару, что Иванъ Петровичъ приходилъ наканунѣ къ Французу: — съ нѣжностями.

Француза начали травить, на травлю Иванъ Петровичъ отвъчалъ строгостью и наказаніями. Тогда къ воспитателю отправилась депутація съ жлобой.

— Онъ насъ наказываетъ ни за что. Онъ намъ ничего не позволяетъ. Мы, право, хорошо себя ведемъ, а онъ къ намъ придирается. Французъ что дълаетъ, а ему ничего. У, французишка проклятый.

Воспитатель оставилъ всю депутацію безъ сладкаго, но предупредилъ Ивана Петровича, что дальше такъ продолжаться не можетъ: — Изъ алгебры у васъ опять двойка и мальчики на васъ жалуются, что однимъ вы потворствуете, а къ другимъ придираетесь. Потрудитесь поправиться до конца четверти.

— Разръшите, пожалуйста, я только на одну минуту. Я, правда, долго у него сидъть не буду.

Гимназическая сестра милосердія преграждала Ивану Петровичу дорогу. — Вы опять принесете папиросы, или еще какую нибудь мерзость. У него поднимется температура.

- Да я не къ Братину, честное слово не къ нему. Можно мнъ видъть Француза?
- Вы не к Братину, удивилась Евгенія Константиновна. Къ Братину я вобще больше никого не пускаю. Идите, пожалуйста, можно.

Французъ лежалъ въ отдъльной маленькой комнатъ. Глазъ у него былъ обведенъ чернымъ и нога высока лежала на подушкъ. — Какіе негодяи, говорила въ дверяхъ сестра милосердія. — Когда его принесли, мъста на немъ живого не было. А на колънъ у него такой синякъ, что только послъ Рентгена будемъ...

Когда сестра ушла, Иванъ Петровичъ, какъ тогда ночью, присълъ на кровать къ Французу. Французъ не шевельнулся. Иванъ Петровичъ взялъ его за руку.

- А что будетъ со Стеблевымъ? спросилъ Французъ.
- Онъ сидитъ въ карцеръ. Потомъ будетъ педагогическій совътъ и его выгонятъ, навърное.
- Если вы меня любите, сказалъ Французъ, передайте ему какъ нибудь это. Вы можете, если вы меня любите.

Иванъ Петровичъ взялъ въ руки небольшой свертокъ. Въ бумагъ что-то перекатывалось, пока онъ мялъ его пальцами. — Только не мните, пожалуйста, попросилъ его Французъ. — А то разорвется. Передадите, вы мнъ объщаете?

— Довольно, сказала входя Евгенія Константиновна. — И вамъ, Иванъ Петровичъ, тоже пора, а то вы опоздаете на уроки.

Иванъ Петровичъ ходилъ къ Французу каждый день и ходилъ такъ цѣлый мѣсяцъ. Лицо у Француза побѣлѣло, зажила губа и опять отросли его волосы. Говорили они ни о чемъ и о пакетикъ, который Иванъ Петровичъ долженъ былъ передать Стеблеву, Французъ не спросилъ ни разу. Черезъ мѣсяцъ состоялся консиліумъ и врачи, нашедшіе у него туберкулезъ колѣна, рѣшили отправить Француза въ Швейцарію. За нимъ опять пріѣхала красивая дама, его мать, которая громко жаловалась на порядки въ эмигрантской гимназіи. — Одни непріятности, говорила она. Хорошее національное воспитаніе. Лучше бы я его оставила въ колежѣ.

Два дня къ Французу никого не пускали, а потомъ пустили за нъсколько минутъ до отъъзда.

— Я не хочу увзжать, сказалъ Французъ и лицо его искривилось самою обыкновенною гримасою, когда очень маленькія діти начинаютъ плакать. А отъ долгаго лежанья онъ вытянулся и казался худымъ и длиннымъ. На немъ опять былъ спортивный "городской" костюмъ, а не сврая гимназическая рубашка.

Вскорѣ послѣ отъѣзда Француза, Ивана Петровича разжаловали изъ помощниковъ воспитателя, онъ остался на второй годъ въ шестомъ классѣ и родители перевели его въ нѣмецкую школу. Но, чтобы имѣть и русскій аттестатъ зрѣлости, Иванъ Петровичъ опять попалъ въ эмигрантскую гимназію, гдѣ такъ неудачно оборвалась его педагогическая дѣятельность.

- Заходите ко мнѣ чай пить, позвалъ его учитель исторіи, когда окончились экзамены. Заходите, ничего, мы не будемъ вспоминать старое.
- А Французъ, что съ нимъ сталось, спросилъ Иванъ Петровичъ, размазывая на блюдечкъ варенье, послъ того, какъ онъ разсказалъ объ эмигрантскихъ собраніяхъ и о Гинденбургъ. Умеръ?
- Французъ, умеръ? удивился учитель. Да, котите я его сейчасъ позову?
- Да, нътъ, сказалъ Иванъ Петровичъ. А что его нога? Поправилась?

Но учитель исторіи все же послалъ за Французомъ. Иванъ Петровичъ не отрываясь смотрълъ на дверь.

Дверь распахнулась и запыхавшійся мальчикъ, широкоплечій, высокій, ростомъ съ Ивана Петровича, въ толстыхъ грязныхъ футбольныхъ ботинкахъ, дълая видъ, что не замъчаетъ Ивана Петровика, вопросительно остановился на порогъ.

— Тебя тутъ хотъли видъть, сказалъ учитель. — Какой ты грязный. Вотъ онъ, вашъ Французъ.

Французъ смущенно щелкнулъ каблуками, какъ учили въ гимназіи. Руку онъ подалъ неумѣло, деревяшкой, видъ у него былъ бодрый, здоровый, одичавшій.

- Онъ у насъ очень хорошо поетъ, сказалъ учитель исторіи. На праздникъ Русской Культуры, онъ выступалъ въ боярскомъ костюмъ...
- Спой что нибудь, словно обрадовавшись, сталъ просить Иванъ Петровичъ. Заставьте его, пожалуйста, что нибудь спѣть. Я васъ очень прошу. Я тебя очень прошу, спой что нибудь, пожалуйста.
- Я не хочу, сказалъ Французъ. Я ничего новаго не знаю. Я не хочу пѣть.
- Я тебя очень прошу. Хоть что нибудь. Хоть начни, что хочешь.

Я ничего, право, не знаю...

— Ну, не кривляйся, какъ дъвченка, сказалъ учитель исторіи. — Что это за глупости. Спой, если тебя просятъ.

Французъ молчалъ.

— Спой, я тебъ говорю. Ты слышишь, я тебъ говорю.

- Тогда не надо, сказалъ Иванъ Петровичъ. Пусть не поетъ.
- Я только "Кирпичики", вдругъ, подумавъ, сказалъ Французъ. И, покраснъвъ, онъ началъ не глядя на Ивана Петровича.

Но голосъ былъ тоже иной, на тотъ голосъ совсѣмъ непохожій. Только въ одномъ мѣстѣ Ивану Петровичу показалось, что звякнулъ стеклянный и тоненькій колокольчикъ.

И вотъ за Сеничку, Да за кирпичики, Полюбила я этотъ Заводъ.

Отъ учителя исторіи они вышли вмѣстѣ. — До свиданья, сказалъ Французъ. — Мнѣ пора. У меня матчъ завтра.

- A ты хорошо играешь, спросилъ Иванъ Петровичъ. Помнишь шарики, что ты мнъ далъ для Стеблева. Они все у меня.
- Какіе шарики, покраснълъ Французъ, Ахъ, это тъ... Ну, до свиданья. И онъ побъжалъ къ футбольному полю.

### PA3CKA3B ME INKA

Въ это утро мы работали на женскомъ отдѣленіи.

Въ большой палатъ — на сорокъ коекъ, — подъ грубыми простынями лежали больныя. Дъвушки и старухи; женщины и подростки метались отъ боли на сърыхъ подушкахъ. А мы ходили отъ койки къ койкъ и всюду, — въ негнущихся суставахъ, въ хрипящихъ бокахъ, въ сухихъ животахъ, — мы узнавали: то сифилисъ, то чахотку, то ракъ.

Мы глядъли на нихъ и гадали, когда и отъ какой болъзни придется намъ умирать.

Возлѣ больной съ глубоко впавшими, точно обуглившимися глазами, мы остановились.

Уложивъ ее на бокъ я руками придерживалъ ея плечи; кто-то другой держалъ ноги. И когда принесли инструменты, я замѣтилъ какъ больная поспѣшно сунула себѣ въ ротъ край салфетки, рукой судорожно смыкая челюсти.

Острую трубу взяль въ руки ассистентъ и приставивъ межъ седьмымъ и восьмымъ ребромъ, — твердо надавилъ.

Я слышалъ, какъ хрустнули скулы больной; я слышалъ свистящій клекотъ подъ салфеткой.

Глубже и глубже вводилъ ассистентъ никелированную трубочку. Медленно, нехотя разступалось живое тѣло. О, какъ томительно медленно шли секунды. Я видѣлъ вдругъ блеснувшій изъ подъ волосъ пьяный взглядъ больной. Дикій взглядъ терзаемаго мяса.

Ассистентъ привинтилъ насосикъ къ трубкѣ и двинулъ валъ. Желтовато-лимонная жидкость поднялась изъ плевръ. Тогда ассистентъ отвинтилъ насосъ и выпустилъ гной въ стекляную пробирку. А острая металлическая трубка торчала межъ седьмымъ и восьмымъ ребромъ, приподымаясь въ тактъ дыханью больной.

И глядя, какъ ассистентъ снова и снова привинчиваетъ насосъ

ко впалымъ, горящимъ бокамъ, — я думалъ, что все-таки надо быть очень безжалостнымъ, что-бы умѣть помогать людямъ.

И вдругъ горячій ознобъ облилъ меня. Не сверху, а снизу, изнутри, пришелъ онъ. Я какъ бы ощутилъ жаръ своего сердца; потъ на легкихъ и печени. Въ глазахъ посъръло, — только верхнимъ угломъ, краемъ, еще мерещились мнъ окна. Въ груди, словно гвоздемъ заковыряли, какъ въ нарывъ. Не хватало дыханія.

Тогда, выпустивъ больную, я невърными шагами отошелъ немного и прислонился къ стънъ. Крупныя капли испарины покрыли меня. — Только бы не упасть. Только бы не упасть! — молилъ я себя.

У меня хватило силы еще, съ безразличнымъ видомъ, вынуть и поглядъть на крышку часовъ, — а потомъ, будто вспомнивъ чтото, деревянно — прямо направиться къ двери.

На терассъ я нашелъ уже нъсколькихъ сокурсниковъ. Перегнувшись черезъ перила, они жадно, — какъ рыбы въ лохани, — глотали воздухъ.

Избъгая взгляда другъ друга, мокрые, зеленые, мы изнеможенно подставляли мутные лбы подъ холодный вътеръ.

А потомъ насъ повели дворомъ куда-то внизъ. Мы проходили мымо часовни:

Старинная, древняя съ широкими отлогими ступенями. Высоко, припавъ къ самымъ периламъ, изъ глины, глядълъ внимательно и строго Христосъ, кого-то выглядывая среди проходящихъ, а вверху надпись:

"Азъ есмь путь истинный и жизнь".

Мы вошли въ подвалы; насъ встрътили усатые сторожа съ засученными рукавами.

На столахъ лежали умершіе за эту ночь. — Желтые, холодные, ссохшіеся, съ картонными номерами на худыхъ рукахъ; они лежали ненужные, — будто уже вышедшіе въ тиражъ билеты, какой-то большой лотереи.

Насъ подвели къ приготовленному трупу.

Инструментомъ уже былъ приподнятъ верхній пластъ кожи и жира. Одинъ за другимъ мягко разступались ребра. Но ключицы были тверды и простой скальпель ихъ не бралъ. Пришлось переку-

сить ихъ большими щипцами. Съ сухимъ трескомъ онъ ровно отсъклись.

— Великолѣпно, — сказалъ ассистентъ, и приподнялъ грудную клѣтку.

Мы хищно взрѣзали легкія. Онѣ были покрыты желтыми ранками. И пока ассистентъ намъ разсказывалъ объ этихъ кратерахъ и о судьбѣ легкихъ занятыхъ ими, — мы торопливо совали безформенныя, какъ у водолазовъ, руки, въ резиновыхъ перчаткахъ, все глубже и глубже. Мы мяли сердечный мѣшокъ, кололи почки, отдѣляли печень. Отъ синеватыхъ перстовъ кишекъ поднимался парный запахъ непроваренной пищи.

Мы кривились, задерживали дыханіе, и что-бъ не слышать гадливой вони человъческихъ внутренностей, — жадно курили папиросу за папиросой. Пепелъ падалъ на сухія, только, кожей обтянутыя руки, мертвеца.

Онъ былъ желтъ, худъ какъ всѣ чахоточники; рѣдкая, жесткая, бороденка, паклей торчала на подбородкѣ. Не знаю почему, его щеки все еще были повязаны марлей. Вытянутыя палки ногъ торчали большими пальцами врозь, и желтыя пятки, похожія на блины, мерцали вялыми подушками мозолей.

А на сосъднихъ столахъ лежали старухи, — съдыя пряди ихъ волосъ казались огромными, возлъ ссохшихся маленькихъ тълъ, — напоминая посинъвшихъ, ощипанныхъ цыплятъ съ пышными хвостами.

Онъ были уже послъ вскрытія: съ проваленными животами выпиленными ребрами; сидящія, лежащія затылками вверхъ, — онъ казались похожими на парящихся въ банъ въдьмъ, сърыхъ отъ пара и копоти.

А потомъ мы снова шли дворомъ. Бодрый холодъ сильнъе гналъ кровь; о, какъ жадно дышала грудь.

Мы шагали важные, серьезные, въ бѣлыхъ халатахъ; а встрѣчные больные, враждебно сторонились, уступали намъ дорогу потупивъ глаза. И снова со свода старинной часовни, внимательно и строго глядѣлъ Христосъ, кого-то выглядывая среди проходящихъ; а внизу надпись:

"Върующій въ меня имъетъ жизнь въчную".

Объдали мы въ этотъ день поздно. Противъ насъ сидъли ве-

селыя молодыя дъвушки, задорно поглядывавшія. И наливая вино въ стаканы я вдругъ сказалъ своему другу, упрямому хохлу изъ Черкассъ, словами пъсни:

- Выпьемъ куму, выпьемъ тутъ, на томъ свътъ не дадутъ. Поднося стаканъ къ сърымъ губамъ, онъ отозвался:
- Выпьемъ куму лучше тутъ.

И столько было въ его, сиротливо мигнувшихъ, глазкахъ примиренности со своей судьбой; столько жалостливаго, усталаго недоумънія, — что мнъ вдругъ опять стало не по себъ.

А кругомъ сидъли люди; сочно жуя и чавкая, ъли, пили. И глядя на нихъ я думалъ, что если наложить щипцы на ключицы то онъ разступятся съ сухимъ трескомъ, а въ лицо ударитъ запахъ теплаго мяса и непроваренной пищи.

Исторія литературы — лѣтопись легкомыслія и непостоянства. Нѣтъ, кажется, ни одного теченія, ни одной теоріи, которая черезъ двадцать пять — тридцать лѣтъ не показалась бы вздорной и плоской.

Сейчасъ новые беллетристы пишутъ большей частью «подъ Пруста»; стараются, по крайней мъръ... Крайне въроятно, что черезъ двадцать пять вътъ будутъ ужасаться тому, что намъ сейчасъ нравится. Опять будутъ возстановлены въ правахъ вещи и внѣшній міръ. Опять будетъ считаться признакомъ изящнаго тона — писать короткими фразами. Найдены будутъ умные, язвительные, временно-неотразимые доводы противъ психологизма. Однимъ словомъ, мы останемся въ дуракахъ... Не черезъ двадцать пять лѣтъ, такъ черезъ пятьдесять, не въ томъ видѣ произойдетъ переворотъ, такъ въ другомъ. Но произойдетъ навѣрно.

Единственный выводь изъ всего этого: надо слушать голост книги, то, что за словами, послё словъ и что переоцёнкё не подлежить. Не имёеть никакого значенія, каковы пріемы автора. Конечно, писатель дёлающій подлинно-творческое усиліе, почти всегда бываеть и формально новъ, т.-е. бываеть въ согласіи съ временемъ: это дважды два четыре, не стоить объяснять... Но все таки важно только то, что остается въ памяти, когда остовъ книги забыть, когда тускнёеть фабула и обликъ героевъ: если не остается ничего, значить ничего въ книге и не было, какъ бы «блестяща» она ни казалась. Все можно поддёлать, кромё этого arrière-gout, безошибочно опредёляющаго цённость творчества, отражающаго то, безъ чего литература есть всего лишь праздная пошлость (Метерлинкъ въ ранней молодости очень вёрно сказаль «развлеченіе для дикарей»):

Толстой, въ «Аннъ Карениной».

Анна, передъ самоубійствомъ, ѣдетъ въ коляскѣ по московскимъ улицамъ, и растерянно-сомнамбулически смотритъ по сторонамъ. «Тютькинъ куафферъ. Је me fais coiffer par Тютькинъ». Этотъ Тютькинъ въ свое время многихъ поразилъ.

Но теперь онъ поражаеть по другому: зачёмь это понадобилось Толстому, въ концё великаго и грознаго его романа, когда въ послёдній разъ склоняется онъ надъ своей жертвой, когда тема отмщенія звучить какъ какой-то средневёковый органь, на этихъ предёльныхъ для человёческаго искусства страницахъ, — зачёмъ понадобился ему этотъ вёрный, и пусть даже въ свое время смёлый, но все таки дешевый, непрочный эффектъ. Ну, да, конечно: подмёчено и найдено безошибочно. Но съ тёхъ поръ вёдь всё научились такъ подмёчать, и неужели Толстой не долженъ былъ пренебречь тёмъ, что всякому стало такъ легко доступно? Для чего это щегольство деталями, — разъ уже и безъ нихъ все безпощадно - ясно, и никакой Тютькинъ къ сути дёла ничего добавить не можеть, а наоборотъ только разсёмваеть вниманіе.

Когда-то я объ этомъ говорилъ Бунину. Онъ сразу, съ живостью согласился: «да, да, конечно» — и перемѣнилъ разговоръ, будто не желая разглядывать пятенъ на солнцѣ.

Насъ во многомъ упрекнетъ будущее. Но кое-что мы все-таки нашли такое, отъ чего не откажемся никогда, какъ никогда никто насъ не убѣдитъ, что не были мы правы: сознаніе тщеты и суетности всего, что не окончательно неустранимо въ литературѣ, желаніе покончить разъ навсегда со всѣми маленькими «красотами», которыя заслоняютъ главную, единственную красоту, педовѣріе къ образной яркости, къ образамъ вообще. «Я лютеранъ люблю богослуженье». Говорятъ, лютеранство убило религію, можетъ быть это убиваетъ литературу, ограничиваетъ ея область, во всякомъ случаѣ, — и чѣмъ дальше вдумываешься, тѣмъ кругъ все тѣснѣе. Но все таки «я лютеранъ люблю богослуженье», чистую, позднюю, трагическую простоту его.

Какъ можно не видъть, что христіанство уходить изъ міра!

Доказательствъ нѣтъ. Но вѣдь не все же надо доказывать. Достаточно вглядѣться повнимательнѣе: позднее утро сейчасъ, солнце взошло уже высоко, — и все слишкомъ ясно для общихъ восторговъ, испуговъ и надеждъ. «Тайна» осталась на самыхъ низахъ культуры иногда на самыхъ верхахъ, но въ воздухѣ ее нѣтъ, и нельзя уже міру ее навязать... Будетъ трезвый, грустный и умный день.

Мережковскій кричить: «кімь же надо быть, чтобы оставить Его въ

эти дни!». Увы, увы, это лишь полемическій пріемъ, одинъ изъ тѣхъ, безъ которыхъ въ такихъ делахъ лучше было бы обойтись. Ответъ несомнененъ: къмъ надо быть? — подледомъ. Возражающій посрамленъ — и умолкаеть. Но дело вовсе не въ оставлении «Его», не въ личномъ предательствъ, о ньть: можно быть върнымъ ,не надо быть слышымь, можно ужасаться грядущей пустоть въ душахъ, безсмысленно все таки ее отрицать... И честиве, мужественнъе подумать: чьмъ же эту пустоту заполнить? «Что дълать намъ и какъ помочь?». Мережковскій брезгливо упирается, опасливо прячетъ голову въ подушку, какъ ни въ чемъ не бывало сочиняетъ новые догматы, старыхъ ему, очевидно, мало... Отъ увъренности, что обладаетъ истиной, онъ то, можеть быть, и предаеть ее: въ темныхъ углахъ, по забытымъ душевнымъ уб'жищамъ еще прячется она, отступая, бросая все за собой, и не до догматовъ ей! Страшно сейчасъ христіанину въ мірѣ, страшнѣе чѣмъ было на арень со львами, — тогда все рвалось впередь, а сейчась впереди ничего. «Оссана сыну Давидову»: последнія пальмы, последнія слабеющія руки тянутся вследь Ему, и ужь какія туть догматическія увещанія и споры, будто на вселенскихъ соборахъ, если исчезаетъ духъ, тема, образъ.

«Мы свой, мы новый міръ построимъ». Лично — отказываюсь (не о себѣ; «я» предполагаемое). Остаюсь на той сторонѣ. Но не могу не сознавать, что остаюсь въ пустотъ, и тъмъ другимъ ни въ чемъ не хочу мъщать. Хочу только помочь... Удивительно, что Мережковскій не захотёлъ понять «потусторонняго» риска христіанства, и пристыдивь воображаемаго собесъдника - подлеца насчетъ «оставленія Его», не замѣтиль, что даже и въ редигіозномъ планѣ, съ допущеніемъ проникновенія во всякую мистику и метафизику, ставка христіанства можеть быть проиграна. Ибо въ конечномъ счетъ «подлецъ» говоритъ: «не люди, — Богъ противъ Него; не можеть быть, чтобы сотворившій мірь хотіль испепелить его, не можеть быть, что этоть вызовь всему всемірному здоровью или благоразумію быль вь согласіи съ всемірной жизненной волей...». И такъ далье. И туть же страшныя евангельскія питаты: блаженны нишіе, — отчего именно нишіе? блаженны плачущіе, — отчего только плачущіе? Отчего неудачники блаженны, вообще? И непонятный, навсегда непонятный разсказь о блудномъ сынъ. окончательно, если вдуматься, взрывающій все «вверхъ дномъ». И богатый юноша, который не напрасно же «отошель съ печалью». И, наконець — последнее: «кто не возненавидить отца своего, и матери, и жены, и детей. и братьевъ, и сестеръ, и притомъ и самой жизни, тотъ не можеть быть Моимъ ученикомъ». «Ужасное» одиночество Христа тогда и обнаруживается вполнѣ. Не только, кажется, люди оставляють Его: природа міра отказывается подчиниться Ему. Послѣдній, предсмертный крикъ на крестѣ: «Боже мой, Боже мой...» еще не потеряль значенія, и ужь если быть Ему вѣрнымъ, то «іl ne faut pas dormir pendant се temps-là», какъ дрожащей отъ волненія и любви рукой писалъ Паскаль. Надо согласиться на все: даже и умереть съ Умершимъ.

Еще гораздо страннъе (если бы не была такъ давно знакома) — добродътельная новоградско-утвержденская модернистическая кашка изъ приторнаго нестеровскаго православія и соціалистическихъ «достиженій», вся эта вообще революція на лампадномъ маслѣ. Доказать и тутъ ничего нельзя. Но вся фальшъ, которая есть въ Достоевскомъ, — въ «Дневникъ Писателя» больше всего, хотя и въ письмахъ ,и даже въ «Карамазовыхъ», — и во всей этой государственно-православной литературной линіи, съ отклоненіями то къ Соловьеву, то къ Леонтьеву, здѣсь сгущена до нестерпимой отчетливости. Народъ нашъ — Богомъ отмѣченъ, ризой пречистой одѣтъ, царя и церковь святую чтитъ, однако, «ружей бы намъ побольше» (увы, Достоевскій). Главное: они хотятъ «строить», реально, во времени и исторіи, на землѣ, — и не чувствуютъ неумолимаго «или — или», раздѣляющаго христіанство и будущее. Если иногда и чувствуютъ, то конфетокъ новъйшаго производства у нихъ припасено достаточно, чтобы внезапную эту горечь заглушить.

Не опровергнуто христіанство, конечно. Но «испустило духъ», выдохлось, изошло за два тысячелѣтія всѣми своими силами и всей страстью. Сейчасъ мы смотримъ вслюдъ ему, — смотримъ и не можемъ оторвать глазъ. «О, свѣтъ вечерній». Единственный свѣтъ, никогда не было такого, надо бы на колѣни стать, провожая его.

Но слѣпота ничему не поможетъ. Уже и подумать нелѣпо, чтобы можно было опять вдохнуть его въ кровь человѣчества, и поднять, напримѣръ, какіе нибудь новые крестовые походы. Кровь по другому кипитъ теперь, о другомъ кипитъ. Сейчасъ люди это лишь до - любливаютъ, до - вѣрываютъ, до-думываютъ, и если въ нѣкоторыхъ душахъ христіанство дѣйствительно будеть (или должно бы) жить вѣчно, то лишь въ разбитыхъ и растерянныхъ душахъ, въ такихъ, которыхъ жизнь хорошенько потреплетъ передъ тѣмъ... Въ выбывшихъ изъ строя, однимъ словомъ. Тогда они вспомнятъ: «блаженны нищіе» — и поймутъ. Удивительна въ Евангеліи именно эта побѣда надъ без-

надежностью: нъть положенія изъ котораго не было бы выхода, по Христу, нъть «дна» вообще. Въ этомъ смыслъ — нътъ смерти.

Кстати, у Мережковскаго приведено незаписанное, отвергнутое церковью изрѣченіе, — въ дополненіе къ тому, извѣстному, что «если двое соберутся во имя мое...»:

-- «Гдв и одинъ человекъ, Я съ нимъ».

Будто торопливая, запоздалая поправка, въ предвльно-ясновидящемъ и милосердномъ пониманіи того, что иногда нужно человіку... Церковь должна была ее отвергнуть. Но все очарованіе христіанства въ этихъ словахъ. Нечего больше сказать.

Вѣяніе подлинности. — Наука ничего о Христь не знаеть. «Il est insaisissable», замѣтилъ недавно осторожный Рейнакъ.

Но избытокъ осторожности умерщвияетъ самую возможность знанія... Случается, что перечитывая Евангеліе останавливаешься, и пораженный чувствуешь: этого не могло не быть. Есть изр'єдка, кое-гд'є, у вс'єхъ евангелистовъ такіе «проблески», въ особенности у Марка. Читаешь въ сотый разъ, по ти ничего уже не видя, — и вдругъ каждое слово становится по новому ясно.

Разсказъ о Крестной смерти.

— Въ девятомъ часу возопилъ Іисусъ громкимъ голосомъ: «Элои, элои, ламма савахфани?«, что значитъ «Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставилъ?». Нѣкоторые изъ стоявшихъ тутъ, услышавъ, говорили: «вотъ, Илію зоветъ» То же повторено у Матфея.

Невфроятно! Какъ я могъ столько лѣтъ читатъ и знать это, ничего не замѣчая. Вѣдь подумайте: если этого не было на самомъ дѣлѣ, въ простѣйшей и реальнѣйшей дѣйствительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «нѣкоторыхъ», можетъ быть тугихъ на ухо, которые не разслышали и сказали: «вотъ зоветъ Илію». Можно ли у простодушнаго Марка предположить такой профессіональный писательскій опытъ и эстетическую изощренность, чтобы выдумать этотъ «штрихъ», ни для чего абсолютно не нужный, кромѣ какъ для беллетристической живости, которую онъ не могъ же цѣнить! Вѣдь это впору умѣлому теперешнему бытовику — такъ сочинять, Тригорину какому нибудь... Значитъ — было. Маркъ не заботится о картинности. Маркъ только записалъ то, что зналъ: эпизодъ, почти

анекдотъ, не имѣющій никакого значенія, — какъ собираль и другое. Значить было все: по одному слову уб'єждаешься въ ціломъ.

Онъ говорилъ съ людьми рѣшительно обо всемъ. Но онъ ни разу не сказалъ имъ, что надо быть честными... Нагорная проповѣдь, заповѣди, блаженства. Представьте себѣ: «Блаженны честные». Невозможно! Сразу будто барабанъ какой-то вторгается въ райскія скрипки: все туть же меркнетъ, все прозаливается и умолкаетъ. Невозможно.

Но Римъ и здёсь одержаль побёду надъ нимъ. Отъ всяческихъ римскихъ Муціевъ Фабриціусовъ, которые вмёстё съ конемъ и, конечно, въ полномъ вооруженіи бросались со скалы, если были «обезчещены», идетъ прямая соединительная нить къ какому нибудь нашему сёдоусому, грозноокому орлу-полковнику, который «не моргнувъ» подсовываетъ своему набёдокурившему сыну револьверъ:

— Иди, застрѣлись. Это твой послѣдній долгь.

И потомъ гордо и страдальчески, съ облегченной совъстью, смотритъ «прямо въ глаза» обществу, которое почтительно восхищено... Это Римъ въ чиствищемъ видв, въ самомъ высокомъ видв его. Отъ Христа здвсь не осталось ничего, и хотя подполковникъ, в вроятно, ходитъ по праздникамъ къ объднъ и лобызаетъ золотой кресть, выносимый его пріятелемъ — батюшкой, все таки онъ душой всецьло съ тьми, кого ужаснуло когда-то христіанство, какъ позоръ и мерзость. Если бы ему сказали это, онъ удивился бы, потому, что привыкъ чтить все установленное въками... Какъ ему враждовать съ Христомъ? Жестокій, длительный, кропотливый реваншъ Рима произошелъ негласно, туть же «подъ самымъ носомъ» церкви, при тайномъ ея согласіи, или непониманіи того, что ділается, или въ рідчайшихъ случаяхъ, подъ ея безномощные, грустные вздохи... Надо было вновь укрѣпить и скрѣпить расшатавшійся мірь, нельзя было допустить, чтобы надъ идеаломь общественно-нужнымъ вознесенъ быль иной идеаль, общественно-неясный и опасный. «Долгъ выше всего, честь выше всего». Человъкъ нашего времени повторяетъ это спокойно и увъренно; даже если не въ силахъ этимъ твердымъ принципамъ следовать, онъ въ нихъ не позволяеть себе усомниться, и въ безмятежномъ невъдъніи своемъ опять толкаеть забытаго, мнимо-чтимаго Учителя на «второе пропятіе».

По Христу все это не существенно. Онъ не «противъ» и не «за»: ему 158 некогда о такихъ вещахъ думатъ. «Воздадите кесарево...». Только навърно это не выше всего. Это просто «законъ».

#### ПИСЬМА А:

Тема Пушкина не даеть мнв покоя. Тема «Пушкинь», вврнве... Тема искусства. Бываеть, что мв хочется погрозить ему кулакомъ, «ужо тебв!» какъ Евгеній Петру въ «Мвдномъ Всадникв». А потомъ я принимаюсь читать — и мало по малу все забываю, «сдаюсь».

Чудный и грѣшный поэть, «несчастный какъ сама Россія», по чьемуто вѣрному — не помню, кто сказаль — слову. Непонятно, когда это успѣли накурить передъ нимъ столько благонамѣреннаго фиміама, что за дымомъ ничего уже и не видно. Къ фиміаму большинство и льнетъ: удобно, спокойно. «Поклонникъ Пушкина, но человѣкъ неглупый...» — эту фразу написалъ я какъ-то само собой, не сразу замѣтивъ ея парадоксальность.

Иногда представляеть его себѣ, — схематически, такъ сказать: страшный оскаль негритянскихь, сіяющихь зубовь, не то въ усмѣшкѣ, не то въ предсмертномъ изнеможеніи, — и безвоздушное, черное — черное пространство вокругь, безъ всякихъ Боговъ и утѣшеній. О, какъ тяжело ему жилось!

Кто-то вполголоса, разсеянно запель въ соседней комнате:

Онъгинъ, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была...

Воть, услышаль я эти строчки, и простите, другь мой, если сантиментально, едва не заплакаль, застигнутый врасплохь, не усивыь во время душевно «защититься»... Не могу безь слезь этого читать и слушать. Есть вообще въ послёднихъ главахъ «Онёгина» такая предёльно-пронзительная для меня, улетающая и грустная прелесть, что не могу ее выдержать. «Пушкинъ, Пушкинъ, золотой сонъ мой». Но послушайте, воть, — это слишкомъ хорошо, и поэтому, жизнь уже не вмёщается въ это. Оттого и грусть. Не увёренъчто правильно здёсь сказать «поэтому»... Но жизнь рвется мимо, мутнымъ, тепло-рвотнымъ, грязно-животворящимъ потокомъ, и я все таки хочу быть съ ней, несмотря ни на что, превозмогая иногда отвращеніе, и знаю, что обратно ее въ былую стройную прелесть вогнать уже нельзя: уже другіе элементы

вошли въ игру, уже явственно звучить другая музыка, и я хочу быть съ ней! Поймите, мнѣ иногда мечтается новый «Онѣгинъ». Для разума моего онъ еще невозможенъ, не могу себѣ представить его, но сердцемъ жду: опять все пронизать такой же гармоніей, найти всему имя и мѣсто, упорядочить данныя міра, одно къ одному, — и не такъ какъ теперь, реакціонно-музейно, жмурясь отъ одинокаго наслажденія, вдыхать аромать рѣдкаго, полуувядшаго цвѣтка, а всѣмъ своимъ существомъ чувствовать влагу, еще идущую отъ земли.

Отсюда переходъ. Не удивляйтесь резкости скачка, но я всегда объ этомъ, почти только объ этомъ, и думаю. Върнъе — сразу думаешь обо всемъ вмѣсть съ поэзіей. Ну, вотъ, скажу прямо, банальнье банальнаго: «впередъ безъ страха и сомнѣнія». Или со страхомъ и сомнѣніемъ, но все таки-впередь. И не то, что «да здравствуеть Москва», нѣть, о нѣть, — но да бупеть то, что будеть, то, что должно быть. Не отъ пассивно-мечтательнаго безволія моего говорю это, но оть моральнаго, — насколько оно мнѣ доступно, — ощущенія времени и бытія... Въ прошломъ было благол'япіе. Были ли вы когда нибудь въ Версал'в зимой, въ сумеркахъ, бродили ли по пустымъ аллеямъ его: это — какъ «Онъгинъ», потому что здъсь жизнь тоже достигла какого-то острія своего, какой-то окончательно-завершенной формы, — и исчезла... Но я отъ благолъпія отказываюсь, отрываю оть сердца любовь къ нему, потому что сколько ни вглядываюсь, не вижу другихъ основаній для него — кромѣ тьмы. Благолѣпіе держалось на тьмѣ: на выбрасываніи всякихъ шестерокъ и двоекъ изъ колоды, на безнощадномъ, ювелирномъ выборѣ и просвивании матерьяла. Защитники «стиля», эстеты исторіи это хорошо знають, - и если революцію они ненавидять, то не столько за казни и за «грабежъ награбленнаго», сколько за прорывъ плотины. Но другъ мой: да будеть то, что будеть.

...У Константина Леонтьева: «какое же великое человъческое дъло не было замъшано на крови!». Отвратительно! — потому, что не просто «констатированіе факта», а и скрытая попытка оправдать его, со смакованіемъ даже, какъ бъгаютъ полюбоваться на пожаръ. Однако достойно все таки вниманія, что эта мысль встръчала живъйшее сочувствіе и поддакиваніе у людей того же склада, которые теперь революціей такъ возмущены, — пока «неизбъжная» во всъхъ великихъ человъческихъ дълахъ «кровь» относилась къ убійствамъ съ молебнами. Исчезли молебны: совъсть сразу стала необычайно чуткой... Кстати, о Леонтьевъ. Умъ, какихъ немного въ нашей литературъ (Чаадаевъ? Герценъ?). Блистательный талантъ: меня всегда поражало его преклоненіе передъ Соловьевымъ, который куда же блёднъе и бъд-

нъе его. При всемъ томъ, ничего не сдълалъ, ничего не оставилъ послъ себя, кромъ двухъ-трехъ удивительныхъ по остротъ эстемическаго сужденія критическихъ статей, въ частности о Толстомъ. Кажется, разгадка въ глубочайшей исторической «безнравственности» его духа, въ предпочтеніи законченности творчеству. Не серьезно, въ концъ концовъ. Увлекательное чтеніе, любопытнъйшій психическій случай, — но и только.

Когда-то Александръ III замѣтилъ, что кухаркиныхъ дѣтей не слѣдовало бы пускать въ университетъ.

По всей въроятности, съ его стороны это было лишь брезгливое брюзжаніе: полвъка спустя еще видишь всю сцену, слишкомъ хорошо знакомую по общей россійской атмосферъ; еще слышишь скрипъ тяжелаго высочайшаго пера, накладывающаго «резолюцію»... Но инстинктъ самосохраненія сказался здъсь въ полной мъръ, замънивъ зоркость ума.

Безошибочный неумолимый расчеть: увеличение знанія, распространеніе его въ ширину должно было неминуемо привести къ «потрясенію основъ». Не только блекнуль ореоль царскаго помазанничества, священнаго уже только для нѣкоторыхъ искреннихъ чудаковъ и для толны безсовѣстныхъ публицистовъ (вспомните «Новое Время» въ 1917 году), но и вдалекъ, за всяческими свободами, вставалъ призракъ соціальнаго переворота... Всѣмъ все разділить поровну: едва только человікть пойметь, что онъ имітеть на этотъ дълежъ право, — а не понять онъ разно или поздно не можеть, какъ будетъ его требовать и къ нему идти. Нельзя поровну раздѣлить, такъ хоть владать сообща: иначе всамь по справедливости размаститься на земла невозможно... Усилія власти, которая этого страшилась, должны были быть направлены на то, чтобы тв, нежелательные, кухаркины двти, подольше ничего не понимали, — и потому то русская монархія и была давно обречена. что у нея не было силы противостоять общей тягъ въка и эпохи къ образованію. Резолюція Александра III вызвала в'єдь вездів осужденіе, даже у самыхъ «благонамъренныхъ» людей, которые представляли себъ «свътлое будущее» въ такомъ видь, что повсюду откроются школы, мужички будутъ по вечерамъ при электрическихъ лампочкахъ читать газеты и благодарить добраго царя. Монархія сиділа на двухъ стульяхъ — и провалилась. Тысячу доводовъ найдутъ вамъ въ отвътъ, чтобы сбить съ толку: не обольщайтесь. это именно такъ, въ грубой простотв своей. Просвъщение работаетъ на лѣвизну, неотвратимо.

Вообще, свъть идущій отъ человъка — лѣвый. Божій... ну, это не по моей части, на это есть спеціалисты, считающіе себя главноуполномоченными Бога на землъ. Ничего бы я противхъ нихъ не имѣлъ, если бы только поменьше они шуллерничали.

#### О совътской Россіи.

Множество неудоумѣній. Много вопросовъ хотѣлось бы задать, — но кому? Первое, насчеть того, что намъ отсюда кажется притворствомъ и безстыдствомъ: насчеть полнаго исчезновенія «фрондированія», завѣдомаго довърія къ новымъ авторитетамъ и всяческаго вообще удовлетворенія въ полномъ согласіи всѣхъ со всѣми.

Притворщиковъ и безстыдниковъ — безъ конца, не стоитъ о нихъ говорить. Но нѣтъ ли за ними естественнаго и здороваго ощущенія, которое сомнительно для насъ только по нашей непривычкѣ къ нему? Иронія разъѣдаетъ сознаніе, какъ ржавчина: мы заподазриваемъ все, и, конечно, не всегда напрасно. Кромѣ того, россійская исторія пріучила къ недовольству, и оно вошло въ «плоть и кровь». Насъ возмущаетъ не только угодничество передъ властью, но и отсутствіе предвзято-протестующаго начала въ отношеніяхъ личности къ обществу. Признаемся: насъ раздражаетъ «товарищество». А какая, должно быть, отрада, какое облегченіе: повѣрить, довѣриться, протянуть руку; примириться, сказать «давайте жить вмѣстѣ», прекратить поиски тайныхъ мыслей у другихъ... Не знаю, есть ли это въ Россіи. Но можемъ быть, есть — и хорошо, если было бы.

Затѣмъ, о огрубеніи и опрощеніи, особенно ясномъ въ литературѣ. Какой то нѣмець написалъ имъ недавно: «ваша литература отстала отъ европейской на пятьдесятъ лѣтъ» — и по своему былъ безспорно правъ. Но одна-ли только прямая, «столбовая» дорога у людей? Не правильнѣе ли предположить, что существуютъ рядомъ тропинки, никуда не приводящія, и что заблудившіеся въ нихъ, и возвращающіеся назадъ, хотя бы и на «пятьдесятъ лѣтъ», могутъ оказаться все таки впереди тѣхъ, которые безмятежно продолжають идти къ тупику? Все дѣло въ этомъ. Не политически, но морально: реакція ли та потеря тонкости и сложности, которая произошла въ духовномъ мірѣ Россіи, — или исцѣленіе? Можно ли жить, т.-е. вынести жизнь и идею развитія, сохраняя въ душѣ все то, что знаетъ (слышитъ, какъ обертона) культурный, «на уровнѣ вѣка» теперешній европейскій человѣкъ? Не требуетъ ли природа и исторія какой-то жертвы, — какъ не разъ уже

бывало? Или никакихъ тупиковъ нѣтъ, и надо продолжать, все продолжать, только продолжать, — какъ молотомъ въ стѣну, пока въ трещину, съ противоположной стороны не блеснетъ свѣтъ?

Наконець, послѣднее, самое важное. Сталинъ объ этомъ вѣроятно не думаетъ, не думалъ и Ленинъ... котя, сидя въ Кремлѣ, ну, когда нибудь ночью, послѣ докладовъ и совѣщаній, чувствуя все таки отвѣтственность за все, что было сдѣлано, и что будетъ сдѣлано, неужели могъ онъ ни разу не побезпокоиться, ну, ни на одну минуту, ни на одну секунду объ этомъ? Неужели ни разу не спросилъ онъ себя: а что же дальше? Отлично, водворится коммунизмъ, безклассовое общество, придетъ полное разрѣшеніе соціальныхъ проблемъ. А дальше? Въ планетарномъ, такъ сказать, масштабѣ? Что будетъ съ человѣкомъ, что будетъ съ міромъ? А если Богъ все таки есть? А если страданіе неустранимо, и не стоило, говоря попросту, огородъ городить? И какъ говорилъ Толстой, «послѣ глупой жизни придетъ глупая смертъ», тоже въ планетарномъ масштабѣ. Была пятилѣтка. Но есть ли тысячелѣтка? Въ смутныхъ, смутнѣйшихъ чертахъ существуетъ ли истинный «планъ», возможенъ ли онъ, — или игра ведется вслѣпую?

Пишу и ловлю себя на мысли: въ сущности, какое мит дѣло? «Смерть и время царятъ на землѣ». Умру, ничего не буду знать, значитъ — все равно, пей, голубчикъ, и веселись, пока можно. Но нѣтъ, мит не все равно, не буду же я самъ себя обманывать. Вѣроятно, правда: жизнь одна вездѣ.

Иногда думаешь: неужели это совершенно невозможно? Неужели все это исчезло навсегда, и нельзя никакъ, никакимъ способомъ, въ Россіи все вернуть къ тому состоянію, о которомъ многіе такъ горько, и въ сущности безкорыстно, мечтаютъ?

Чтобы опять зазвенёль валдайскій колокольчикь, надъ тройкой, въ темномь, вёковомь лёсу, да ямщикь — ну, конечно, въ «красномь кушакь» — насвистываль пёсню. Чтобы мужики въ холщевыхъ рубахахъ кланялись въ поясъ рёдкимъ проёзжимъ. Чтобы томились купчихи на перинахъ въ бёлокаменной Москвё, подъ смутный, неумолкающій гуль колоколовъ. Чтобы въ сумеркахъ, на глухой станціонной платформё шептались гимнавистки, подъ руку, оть поёзда до поёзда, съ тургеневскими думами въ сердцё, и тяжелыми косами, — и вдалекё гасла узкая, желтая полоска зари. Чтобы свободно и спокойно текли рёки, чтобы утопали въ прохладныхъ рощахъ синеглавые въ звёздахъ монастыри и гостепріимныя усадьбы. Что-

бы воскресла «святая Русь», однимъ словомъ, — и настала прежняя тишь, да гладь, прежняя сонная благодать.

Надо было бы сжечь почти всё книги, консервативныя и революціонныя, все равно, закрыть почти всё школы, разрушить всё «стройки» и «строи» — и ждать сто лёть, пока не умреть послёдній, кто видёль иное. Надо было бы на сто лёть прервать всякую связь съ зараженнымь міромь, закрыть всё границы: это бредь, конечно, это невозможно — но я говорю предположительно... Послё этого, когда улетучится всякое воспоминаніе объ усиліяхь и борьбё человёка, можно было бы, пожалуй, попробовать свято-россійскую реставрацію. Въ глубокой тьмё, — какъ скверное дёло.

Блокъ: «да, и такой моя Россія, ты всёхъ краевъ дороже миѣ». Да, вѣрно: «и такой». Блокъ какъ всегда правъ. Но въ сущности онъ еще любовался, и намъ теперь трудиѣе: то, новое, чуждое, чужое — будто уже и не Россія. Что же дѣлать! Оставимъ все таки мертвыхъ хоронить мертвецовъ.

Въ оправдание стиховъ. — Конечно, никакого вліянія, ни на кого, ни на что. Въ журналахъ — балластъ, и если редакторы все таки печатаютъ ихъ, то лишь изъ боязни прослыть некультурными: редакторы въ журналахъ пошли нынче всепонимающіе и всепрощающіе, «Апполонъ» побъдилъ все таки «Русское Богатство», редакторы захлебываются «помилуйте, мы привътствуемъ все красивое», и даже сами втайнъ озабочены, чтобы матерьялъ солидный, серьезный украсить этакими виньеточками. Полная беззащитность отъ упрековъ, которые, кстати, такъ легко и эффектно дълать. «Въ наше время, когда...» — такъ пожалуй люди литературно-грамотные уже не пишутъ, но внутренно все, даже въ лучшихъ случаяхъ, остается по прежнему: мы, умницы, заняты дъломъ, вы, лодыри, дайте же намъ хоть поэзію, достойную этого дъла, — и скрытое, инстинктивное злорадство при этомъ отъ сознанія, что требованіе невыполнимо, и что «вы», съ вашимъ непонятнымъ, смутно-тревожнымъ бредомъ въ головъ, будете все таки уличены в дармо-ъдствъ.

Но въдь стихи всегда беззащитны. По совъсти: кому они нужны, — въ жизни, ну для этого «жизнетворчества», для работы и бодрости, кому? Все идеть мимо. Не будемъ же лгать, оставаясь съ глазу на глазъ: это лунное, тихое дъло — не надо на него нападать. Это два слова тамъ, два слова здъсь — еле замътно, не всегда внятно, — которыя два сердца, два слуха то здъсь, то тамъ услышать. Прогресса не было въ поэзіи, не будеть и упадка. Два

слова еще, двъ-три струны, будто задътыя вътромъ... И ничего больше. Остальное — для отвода глазъ, для прикрытія слишкомъ безпомощно-нѣжной сущности — и ничего больше. Круговой порукой, молчаливо, мы это знаемъ, и даже пожалуй, чъмъ дальше, тъмъ лучше знаемъ. Сейчасъ я ошибся и не то сказалъ: прогрессъ естъ. Человъкъ учится ощущать и выбирать, время точитъ душу, поэзія освобождается отъ трескотни, становится чище и тише. Другого ничего не можетъ быть и не должно быть. Критическіе фельетоны объ упадкъ необходимы, потому, что иначе, безъ этого общаго склада и стиля нельзя жить: здъсь иначе нельзя жить. «Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма». Но поэзія не здъсь, а туда и оттуда. Затъмъ, еще: есть у человъка дневныя мысли, и есть ночныя... Узкій дымокъ. Два-три слова, которыя мы лучше все таки слышимъ теперь, чъмъ сто лъть назадъ.

### BBHOKB HA IPOBB POMAHA

Недавно — неизвъстно точно, котораго числа, мъсяца и года, — послъ долгой и тяжкой бользни, скончался Романъ. Покойный достигъ весьма преклоннаго возрста — достаточно напомнить, что онъ безъ малаго на два стольтія пережилъ своихъ сверстниковъ: Оду, Трагедію и Героическую поэму; — въ послъднее время состояніе его здоровья внушало серьезныя опасенія его многочисленнымъ друзьямъ и знакомымъ, и заставляло ихъ принимать героическія мъры, дабы хоть нъсколько отдалить роковую развязку. Однако ничто, даже режимъ усиленнаго питанія преміями, сіе давно испытанное и не однажды засвидътельствовавшее свою благодътельность средство, не было въ состояніи поддержать съ часу на часъ угасавшія силы страдальца; а неусыпное наблюденіе, которымъ онъ быль окружень со стороны авторитетовъ науки, мы боимся, лишь способствовало ускоренію наступленія того момента, когда неизбъжное свершилось, — хотя, повторяемъ, преждевременной кончину Романа никакъ нельзя назвать.

Жизнь покойнаго столь изобиловала поучительными примърами превратности судебъ, что даетъ богатую пищу для размышленій, коимъ какъ нельзя болье умьстно предаться надъ свежею могилою. Чтя истину превыше всего, мы рышаемся отказаться отъ строгаго соблюденія правила, завыщаннаго древними римлянами «О мертвыхъ ничего кромы хорошаго!» — и открыто заявляемъ — давность происшествій, о которыхъ идетъ рычь, да послужить намъ извиненіемъ! — что годы юности усопшаго протекали отнюдь не безупречно и притомъ въ такой обстановкы и въ такихъ компаніяхъ, какими люди благовоспитанные справедливо гнушаются.

Однако, можно ли это поставить въ упрекъ покойнику? Никакъ, ибо такъ, еще съ колыбели, было опредълено ему фортуною. Въ отличіе отъ сво-ихъ вышеупомянутыхъ сверстниковъ, Романъ увидълъ свътъ не въ позлащенныхъ чертогахъ Царей, но гдъ-то въ корчмѣ на большой дорогѣ. Дивиться-ли, что побродяги, странствующіе комедіанты, кавалеры индустріи и улич-

<sup>1)</sup> Во избъжаніе недоразумѣній, укажу, что рѣчь идетъ исклк чительно о Романъ въ прозъ, а не о его соименникъ, Романъ въ стихахъ. Изъ Пушкина извъстно, что между обоими романами — существуетъ «дьявольская разница».

ныя дівки были первыми его пістунами, а впослідствій сотоварищами его забавь и упражненій? Оть нихъ переняль онъ и сохраниль надолго ихъ вкусы, понятія, нравы, повадку и річь, по которой получиль и самое имя свое, которому пребыль онъ вітрень и тогда, когда судьба неожиданно взыскала его своими милостями и вознесла его на высочайщія степени преуспітянія и благоденствія.

Съ Романомъ случилось то, что обыкновенно случалось съ его собственными героями. Герой Романа коснъеть въ безвъстности и въ ничтожествъ, водится съ самыми непочтенными людьми, ему самому угрожаеть опасность стать пропащимъ человъкомъ — и вдругъ: нъкто, богатый и знатный, узнаеть въ немъ свое дътище и устраиваетъ его счастье. Отличіе судьбы Романа отъ судьбы его героевъ лишь въ томъ, что, лицо, бывшее виновникомъ переворота, происшедшаго съ Романомъ, искало, если ему върить, не столько того, чтобы его осчастливить, сколько, чтобы ему напакостить. Такъ это или нътъ, — важно, что, однажды связавшись съ Романомъ, Сервантесъ сталъ ему прямо-таки вторымъ отцомъ и надълилъ его всъми тъми свойствами, которыми онъ не переставалъ привлекать впослъдствіи сердца такихъ благодътелей, каковы: Фильдингъ и Дикенсъ, Стендаль и Флоберъ, Толстой и Достоевскій.

Встрѣча съ подходящими людьми — дѣло случая. Однако, сдѣланный сейчасъ перечень именъ говоритъ за то, что случай еще не все въ жизни и что перемѣну происшедшую съ Романомъ на половинѣ его жизненнаго пути, едва-ли можно объяснять столь упрощенно, какъ объяснялись подобныя вещи въ старинныхъ романахъ и какъ онѣ уже никогда не объясняются въ новѣйшихъ.

Прежде всего обратимъ внимание на то обстоятельство, что Романъ, снабженный средствами къ дальнъйшему безбъдному существованію благороднымъ испанцемъ, не пожелалъ оставаться въ отечествъ послъдняго, а заявилъ себя въ рядъ другихъ земель обитаемаго міра, однако, отнюдь, не повсемъстно, а почти исключительно въ трехъ странахъ: въ Англіи, Франціи и въ далекой, варварской Россіи. У итальянцевъ есть только одинъ образецъ подлиннаго, «классическаго», т. е. соціально-психологическаго романа, — «Обрученные» Манцони. Романъ прекрасный, но своею единственностью и несмъняемостью напоминающій въчное дежурное блюдо дешевыхъ ресторановъ. У нѣмцевъ есть Гете, но только: называть творца Вертера и Dichtung und Wahrheit творцомъ Вильг. Мейстера, не значитъ-ли это проявить прямо-таки грубое непониманіе тѣхъ совершеннъйшихъ образцовъ ху-

дожественной прозы, каковы Вертеръ и Dichtung und Wahrheit? А межлу тымь именно В. Мейстерь и есть подлинный соціально-психологическій романъ «большой формы», — произведение умнвишее, значительнвишее по замыслу, но и невыразимо, невыносимо, безпросвётно скучное. Есть у немпевъ новъйшіе романисты, писатели очень почтенные, очень обстоятельные и даже, можеть быть, глубокіе; но ихъ романы словно писаны для Нобелевской преміи или «для юношества и самообразованія», и въ конців концовъ могуть прекрасно быть переработаны въ какой-нибуль Grundriss der Sittengeschichte des... Jahrhunderts quellenmässig dargestellt von..., ö. o. Professor an der Universität..., in 2 Bänden mit Sach-und Namenregister. (Я оставляю въ сторонъ упоительные скандинавские романы -- лирическая поэмы въ прозв). Случай Германіи твмъ поразительное, что, въ отличіе отъ Италіи, литература которой послѣ Ренесанса, вообще, за малыми исключеніями, заглохда въ провинціализм'є, были же у него въ нов'айшее время міровые поэты драматурги, наконецъ, единственные, несравненные мастера философско-художественнаго слова, каковы Шопенгауэръ и Нишие.

Въ чемъ туть дело? При попытке разобраться въ вопросахъ подобнаго рода, вопросахъ исключительной сложности, и дать на нихъ--конечно гинотетическій — отв'ять, полезно начинать съ обращенія къ какому-нибудь особо бьющему въ глаза примеру. Таковъ примеръ какъ разъ В. Мейстера. Гете, какъ мало кто, проникъ въ самую суть романа, понялъ, до Бальзака и Стендаля, чёмъ онъ можетъ и чёмъ долженъ быть, и выполнилъ заданіе съ исключительными добросовъстностью и самообладаніемь, не позволяя себъ никакихъ отклоненій, никакихъ нарушеній внутренняго закона избраннаго имъ «жанра», извлекъ изъ своей темы всв возможности, такъ что В. Мейстеръ могъ бы считаться классическимъ, чиствишимъ образцомъ романа не будь онъ до такой степени скученъ. Вопросъ сводится къ тому, почему онъ такъ скученъ. В. Мейстеръ — «образовательный», какъ говорилось тогда, романъ. «Образованіе», т. е. духовное формированіе «героя» протекаеть здёсь на нашихъ глазахъ, отъ начатковъ до завершенія. Оно распадается на два большихъ періода. Сперва «годы ученія», затівмь — «годы странствованій». Личность сперва слагается въ «маломъ» свёть, затымъ, вступаетъ въ «большой» и научается постепенно познавать свои возможности и свои границы, достигаеть полноты своего самоосуществленія, своей конкретизаціи, состоящей въ органическомъ единеніи «Я» съ не-Я». Тема В. Мейстера т. обр. связана съ темой Фауста. Но она, т. сказ. скромиве, умврениве — «большой міръ» В. Мейстера все-таки не «Всеединство» Фауста — и твить самымъ

прозаичнъе: прямая тема романа, а не мистеріи. И воть замъчательно, что если поэтическая, неизмъримо, казалось-бы, труднъйшая, тема Гете далась, если не цъликомъ, то хоть частично (вся 1-ая часть Фауста, отдъльныя мъста 2-ой), то прозаическая, болъе простая, не далась вовсе. Почему? Потому что этотъ «малый міръ», въ которомъ родился и выросъ Гете, который онъ изобразиль съ такой пластичностью и свъжестью красокъ въ D. und W., со «Всеединымъ» былъ связанъ органичнъе, прочнъе, нежели съ «большимъ міромъ». Личность, семья, отцовскій домъ въ родномъ городъ, затъмъ, сразу, даже не «Вселенная», а именно «Все», «Всеединое». Таковъ міръ Гете, — міръ всякаго истиннаго нъмца, по крайней мъръ, того времени. Промежуточныя же ступени, общество, отечество, нація, — еще только «постулаты разума», а не данные реально объекты.

Вернемся снова къ Лонъ-Кихоту. Сервантесъ первый согналъ своего героя съ большой дороги и заставиль его хоть умереть дома. Расцветь романа съ этого начинается. Дъйствіе его съ дороги переносится въ домъ, сперва въ усадьбѣ, затѣмъ и въ городѣ. Изъ непомнящаго родства, подкидыща, бастарда, герой обращается въ «потомка» и вмфств «предка», изъ безпаспортнаго босяка — въ собственника, хозяина и гражданина. Торжество романа наступаеть тамъ и тогда, гдв и когда слагается общественный слой, сильный въковой традипіей, сохраняющій свою собственную, специфическую физіономію, и вм'єсть съ тымь, посль того какт онъ — волею или неволею — сталъ носителемъ общенародной идеи, исполнителемъ обще-напіональной задачи, вступившій въ стадію рефлексіи, критики, самосознанія. Герой новаго романа уже не авантюристь, не «чистая личность», которая тымь самымъ и безличность, общее мъсто любыхъ «возможностей»; онъ пріобрътаеть осъдлость и вмъсть съ нею -- характерь; онъ -- часть быта, но часть мыслящая и отвътственная: ибо онъ, осуществляя свою судьбу, «представляеть» свой классъ, свое сословіе и свой народъ. Въ такомъ положеніи быль англійскій country-gentleman, начиная со времени Перваго Георга, русскій пом'єстный дворянинъ со времени Петра, французскій буржуа съ того же времени. Англія, Франція, Россія — три страны, первыми осуществившія національно-государственное объединеніе и жившія полной и богатой національной жизнью, между темъ какъ Испанія, послё слишкомъ быстраго подъема, впала въ долгій сонъ, а въ Германіи и въ Италіи провинція и городъ возобладали надъ общимъ отечествомъ.

Національное возрожденіе, реализація общенародной идеи наступили въ этихъ послёднихъ странахъ поздно, уже при тёхъ соціально-бытовыхъ

условіяхь, которыя привели къ тому, что Романъ и тамъ, гдѣ было его собственное царство, сталъ клониться къ упадку. Агентомъ исторической жизни, гражданиномъ, выразителемъ «общей воли», сталъ въ нашей время человъкъ, въ одномъ отношеніи похожій на героя стариннаго, «плутовскаго» романа. Тоть быль существомь, потерявшимь свой классь, свой домь, свой быть. Этоть, сидя дома, оставаясь въ рамкахъ своего класса и въ условіяхъ своего быта, живеть все равно что внѣ дома, внѣ класса, внѣ быта, ибо классы уравнялись, быть «стандардизовался», домъ смвнился квартирой. Тоть быль безличень, ибо оторвался оть среды, и будучи ничемь, быль темь самымъ «способенъ на все» въ томъ смыслъ, что съ нимъ могла случиться любая авантюра — въ поискахъ ея онъ и мотался по большой дорогв; этоть безличень потому, что всецёло связань съ насквозь «стандардизованной», обезличенной средой, и вся его жизнь — сплошной для него случай, строжайше предусмотрыный какой-то коньюнктурой, непредожной водей какого-нибудь концерна анонимныхъ акціонерныхъ компаній, этой его раціонализованной, разоблаченной, но не менье оть этого могущественной Судьбой.

Въ различныхъ условіяхъ по разному возникаеть и различный характерь пріобрѣтаетъ личное сознаніе. Герой классическаго романа достигаль самосознанія какь отвітственный выполнитель миссіи, выпавшей на его родь, на его классъ, его родину. Герой стариннаго «дорожнаго», «илутовскаго» романа, съ которымъ могло «все случиться», тъмъ самымъ склоненъ быль считать себя способнымь на все и ко всему. Новвиши человвкь, съ которымъ случается только то, что «со всёми», и который не отвёчаеть ни за что, имъетъ особую амбицію: единственной возможностью для него не слиться со всёми, сохранить себя, кажется для него — уйти въ себя, отдёлить свою, единственную, свою собственную «внутреннюю» жизнь отъ всеобщей. одинаковой «вибшней». Онъ возводить себя въ герои новаго романа, въ которомъ уже нёть среды, ни быта, нёть и событій, «внёшнихь фактовь», — разві только какъ поводы для «переживаній». Тэмъ значительнье для него все «внутреннее», духовное или матеріальное, — безразлично; все — вплоть до разнаго рода секрецій, каковымъ тоже отводится місто — и немалое въ произведеніяхъ нов'єйшаго фасона, выдающихъ себя за насл'єдниковъ покойнаго Романа.

Случается порой и Новому Человѣку выглянуть на свѣть божій и удостоить «внѣшнее» своимъ милостивымъ вниманіемъ. Что же онъ видить тогда? Не знаю, быль-ли кѣмъ либо замѣченъ факть необыкновеннаго разви-

тія, въ современной литературів, и а роді и. Пародія есть особый видъ насмішки, болье коварный и ядовитый, чімь карикатура. Эфекть несоотвътствія между ожидаемымь и воспринимаемымь, лежащій въ основъ комическаго, въ карикатуръ достигается тъмъ, что въ ней подчеркиваются, выиячиваются, некоторыя черты въ изображаемомъ. Три, ровнымъ счетомъ, волоса на головъ Бисмарка, — вотъ простъйшій примъръ карикатуры. Въ пародіи высмівиваемыя черты не шаржируются, не преувеличиваются, а только обезсмысливаются. Достигается это тымь, что въ опредыленную форму вливается постороннее, съ ней не связанное, ее прямо-таки подчасъ исключающее содержаніе. Тімь самымь, изъ органическаго единства символовь, форма обращается въ кучу «пріемовъ». Карикатура всегда трактуетъ свой предметь какъ живую величину; она участлива и сочувственна. Три волоска Бисмарка смѣшать лишь того, для кого Бисмаркъ — конкретный человѣкъ, а не «представитель германскаго имперіализма». Идіотская, автоматическая скупость Гарпагона или Плюшкина смешить насъ лишь въ томъ случае, если мы воспринимаемъ ихъ какъ мыслящія, сознательно-волящія существа. Напротивъ, если что-либо становится предметомъ пародіи, то это значитъ, что оно для пародирующаго умерло. Такъ обычнымъ предметомъ пародіи были до сихъ поръ литературные «жанры», стили, «пріемы» — именно тогда, когда они начинали восприниматься какъ «пріемы», когда оть нихъ отлетала та ихъ душа, которой они были символами. У Пруста пародированы различные соціально-культурные стили французскаго общества. Въ романахъ великолѣпнаго знатока Италіи Aldous Huxley, пародированы жизненные стили чуть-ли не всёхъ эпохъ ея исторіи. Это еще бы ничего. Но у Пруста, предметомъ пародіи бываеть сама жизнь, а у Андре Жида она является уже единственнымъ такимъ предметомъ. Что это значитъ? Обезсмысление жизни у ея пародистовъ состоить не въ томъ, что «возвышенное», въ изображении ея у нихъ, отступаеть передъ «низменнымъ», «красивое» — передъ «безобразнымъ», «героическое» передъ «пошлымъ», но въ томъ, что и «возвышенное» и «красивое» и «героическое» объясняются, а объяснение заключается въ «сведеніи» объясняемаго къ простайшимъ психо-физическимъ процессамъ. Элементы этого обращенія съ жизнью даны уже у «великаго упростителя» какъ недавно назваль Толстого С. В. Завадскій. Однако, упрощая, разлагая, Толстой даеть новый синтезь жизни; ибо онь оперируеть, т. ск., извнутри, участвуя всёмь своимь существомь вь той Все-жизни, что даеть себя знать въ процессахъ, на какіе онъ «сводить» ея высшія проявленія. Поэтому, сводя высшее къ низшему, Толстой не обезсмысливаеть его; разлагая Сложное на

Простое, не умерщвляеть его, разоблачая секреты живущихъ, делаетъ лишь ощутимъе Тайну самой Жизни. Прустъ, Поль Валери и Жидъ, оперирують извив; не сопереживають, а наблюдають, не соучаствують, а принимають въ свъдънію (Америка и Лига Націй!) и потому, разоблачая современную культуру, «сводя» ее къ сплошному ряду «пріемовъ», въ конечномъ итогъ обезсмысливають Все. Толстой подчиняеть Жизнь Хозяину. Новый Человекъ сотворилъ себе божество иного сорта, Господина Голову (Monsieur Teste), Поля Валери, божество, наконецъ-то избравшее позицію достойную своего сана, уже по настоящему трансцендентное, не то что всв прежніе боги, относительно которыхъ свъдущіе люди терялись въ догадкахъ: трансценденты-ли они по отношенію къ Міру, или иманентны. Это божество не удостаиваетъ матеріи своимъ прикосновеніемъ — какъ бы рукъ не замарать? Творить, распоряжаться, — для него дёло черезчуръ клопотливое и неопрятное. Оно только познаеть. Это его монополія; у познаваемаго же отымается всякій его собственный смысль. Жизнь обращается тымь самымы въ свою собственную Пародію. Надо отдать справедливость Андре Жиду: у него всеже есть какой-то Идеаль полной, ивлостной жизни. Но привычка-ли къ Пародіи, или то обстоятельство, что въ эмпирической жизни онъ не видить ни намека на воплощение этого идеала, — только его собственныя воплощения цьлостнаго человька сами сбиваются на пародіи. Романь-же, изображающій пародію на жизнь, самъ можеть быть только пародіей романа. Жидъ этого и добивается, нам'тренно сшивая матерію своихъ романовъ більми нитками, механизируя конфликты, утрируя параллелизмы ситуацій и т. п.

Надвемся, что всёмъ вышеизложеннымъ мы усивли окончательно убедить любезнаго читателя въ истинности печальной вёсти о смерти Романа. А теперь, слёдуя классическому пріему романистовь, мы подносимъ читателю сюрпризъ и радуемъ его извёстіемъ, что Романъ снова воспроизвелъ судьбу столькихъ своихъ героевъ. Начавши за упокой, мы кончаемъ за здравіе. Романъ и не думалъ умирать. Это намъ такъ только показалось, по причинё узости нашего кругозора, — свойство всёхъ любителей Изящнаго. Мы все смотрёли въ литературу; что бы намъ заглянуть и въ беллетристику? Плебейское происхожденіе Романа выдало таки себя. Его аристократическіе сверстники умерли разъ навсегда, не торгуясь съ жизнью. У Романа на это не хватило доблести и достоинства. Разоблаченный и высмённый, выгнанный изъ литературы, гдё онъ занималъ положеніе поистинё царственное, обратно въ беллетристику, изъ которой онъ нёкогда вышълъ, онъ не сгорёлъ со стыда, онъ не изнемогъ подъ ударами Рока, а проявилъ удивительную и,

правду говоря, мало привлекательную живучесть. Пріютившись на пятой страниці ежедневной газеты, онъ терпіливо дожидается читателя — и оказывается правымъ: вірный старому другу, читатель, минуя Бунина, Тэффи и Ремизова, пробирается къ нему на газетные задворки и съ тімъ же нетерпініемъ, кажущимся цінителямъ изящнаго тупоумнымъ, на самомъ діта глубоко человіческимъ, — съ какимъ онъ ніжогда торопился узнать, свидится пи Хариклея съ возлюбленнымъ Феагеномъ, удастся пи душкіт рыцарю выбраться изъ заколдованнаго літса, ждеть, чтобы красивый и симпатичный агентъ Скотландъ-Ярда раскрыль передъ нимъ тайну убійства мистера Вилькинса и снялъ бремя подозрінія, тяготінощаго надъ невинной дактило.

Изъ исторіи Романа, хронологически совпадающей съ исторіей ум'вющаго грамоть Человька, позволительно извлечь нькоторую мораль. Мыняются эоны, боги, культы — но все это пустяки и одна видимость: ибо любезный читатель Recognitiones, Амадиса Галльскаго и Арсена Люпэна, остается тыть же самымь любезнымь читателемь, какимь онь быль во времена царя Турна и Іосифа Прекраснаго, безсміннымь, присносущимь, тождественнымь себъ и развъ что смънившимъ хитонъ на епанчу и епанчу на пиджакъ. Смерть Романа въ литературћ и его посмертная жизнь въ беллетристикћ впрочемъ, онъ жилъ въ ней всегда, и можно было бы написать его biographie romancée подъ заглавіемъ «Лвойная жизнь Романа», — явленіе, им'єющее значеніе символа. Оно говорить о смерти культуры Новаго времени, событіи, спору нѣтъ, весьма прискорбномъ, но до котораго подавляющему большинству дюдей, именуемыхъ культурными, не болве двла, какъ до прошлогодняго снъга. А изъ этого слъдуеть, что исторія вевсе не такая ужь важная вещь, какъ это вообразили себъ историки. Историкамъ и философамъ любезный читатель съ полнымъ правомъ противопоставляетъ скотницу Хавронью, бывшую, какъ извъстно, мастерицею сказывать и с т о р і и.

## СЕРЕБРЯНЫЙ ВЪКЪ

Хотя и напечатанная въ газеть\*) статья Георгія Адамовича «Стихи» усивла остановить вниманіе всіхъ, для кого поэзія не пустое місто.

Автору статьи — поэту, не скрывшему разочарованія въ современныхъ стихахъ, ставили даже въ вину автобіографическій характеръ его разочарованія. Если въ этомъ и есть какая - то доля правды, врядъ ли слѣдуеть обращать особое вниманіе на эту сторону статьи.

Еще менѣе справедливо было бы въ ней искать нарочитой недооцѣн-ки кого-либо изъ современниковъ. Здѣсь не мѣсто говорить о повзіи самого Адамовича, но въ его критическихъ работахъ есть то, что справедливо отмѣтилъ у Андрел Бѣлаго Пастернакъ — способность безкорыстно восхищаться успѣхами другихъ безъ оглядки на собственное свое мѣсто въ литературномъ генералитетѣ.

Тѣмъ убѣдительнѣе, казалось бы, — горечь упоминаемой статьи. Мнѣ думается, что — къ утѣшенію любителей современной поэзіи — горечь эта не безысходна. Вѣроятно самъ Адамовичъ отчасти съ этимъ согласится.

У критика, особенно если онъ поэть, есть иногда капризное сознаніе, что можно такъ, а можно и совсёмъ наоборотъ. Сегодня онъ поэзію похорониль, завтра быть можеть посвятить ей хвалебное слово.

Это почти всегда вёрно о поэтахъ и критикахъ-декадентахъ. Адамовичъ — ближайшій ихъ родственникъ. Оговорюсь, что для меня у декаденства не меньше достоинствъ, чёмъ недостатковъ, и что Анненскій, величайшій декадентъ, кажется мнѣ однимъ изъ нуживишихъ поэтовъ.

Но вопросъ о декадентствъ завелъ бы слишкомъ далеко и я долженъ, не безъ сожалънія, пока оставить его въ сторонъ.

Какова бы ни была природа горечи поэта о современных стихахъ, устойчива ли она или нътъ, — если ей въ какой - то моментъ удалось собрать въ себъ какую - то часть скрытыхъ лучей современной поэзіи, стоитъ на этомъ остановиться.

Мнѣ кажется, что у Адамовича во всякомъ случаѣ вѣрно наблюденіе (и самонаблюденіе) о затрудненности стихотворной рѣчи у нѣкоторыхъ со-

<sup>\*) «</sup>Послъднія Новости».

временныхъ поэтовъ, быть можетъ не наиболе одаренныхъ, но вероятно наиболе ответственныхъ.

Позволю себъ подълиться своими мыслями по этому поводу...

Кто знаеть, сколько разъ безъ этого запоя, Труда кошмарнаго надъ грудою листовъ, Я духомъ пасть, увы! я плакать быль готовъ,

Среди неравнаго изнемогая боя; Но я люблю стихи— и чувства нѣть святѣй: Такъ любить только мать и лишь больныхъ дѣтей.

Эти строки Анненскаго мив хотвлось взять эпиграфомь къ моей статьв, но такъ какъ она въ сущности только отсюда и начинается и такъ какъ принято никакими поясненіями эпиграфа не сопровождать, пользуюсь здвсь своимъ правомъ.

Да и что прибавить къ красноречивейшимъ этимъ строчкамъ?..

Есть золотой и есть серебряный вѣкъ искусства. И въ тоть и въ другой — люди другъ другъ стоютъ. Врядъ ли первые другой природы чѣмъ вторые.

Равновъсіе нарушается стихіей.

Стихія ренессанса, какъ бы выбирая углубленія, замедляется и собирается въ большихъ артистахъ своего времени. Они и сами зам'вчательны, но стихія д'влаетъ ихъ великими.

Но воть стихія схлынула, выговорилась.

На смѣну тѣмъ артистамъ пришли другіе, врядъ ли менѣе подлинные. Но они предоставлены только своимъ силамъ. За нихъ ничто уже не дѣйствуетъ, не говоритъ. Имъ недостаточно, какъ тѣмъ, болѣе счастливымъ, всмотрѣться и вслушаться. То, что недавно было полно свѣта и звуковъ, стало похожимъ на тишину и сумерки. Художнику серебрянаго вѣка не помогаетъ стихія.

Но организація человіка все та же и безъ союзника ирраціональнаго онъ все же ділаєть свое діло.

Героизмъ серебрянаго вѣка въ этомъ и состоитъ. И что - то въ созданіяхъ его художниковъ, несмотря на неизбѣжную блѣдность, даже лучше искусства золотого. Тамъ слишкомъ ужъ все полногласно, слишкомъ переливается черезъ край. Здѣсь — мѣра человѣческихъ силъ. Все суше, бъднъе, чище, но и, болъе дорогой цъной купленное, ближе къ автору, болъе — въ человъческій ростъ.

Разумъется, въ Сикстинской капеллъ царь и Богъ — одинъ только художникъ. Но, когда послъ четырехъ - пяти посъщеній душа посътителя, какъ бы измятая бурей, устаетъ отъ Микель-Анджело и начинаетъ желать отдыха, — глаза съ удивленіемъ — «какъ же я раньше этого не замътиль?» — и благодарностью — впервые замъчаютъ на длинной боковой стънъ скромныя фрески художниковъ серебрянаго въка. Какое чувство мъры, какой ровный, умъло и любовно распредъленный свътъ, какъ все это «по плечу» обычному, будничному состоянію души и какъ все это, несмотря на то, что голосъ художника почти кажется сдавленнымъ шопотомъ рядомъ какъ-бы съ трубами титановъ, слышными, когда повернешься къ «Послъднему Суду» или поднимещь глаза на потолокъ къ Сивилламъ и Пророкамъ Микель - Анджело, — какъ все таки и этотъ шопотъ возвышаетъ душу!..

Ничуть не ювелирная отдёлка маленькихь, недолговѣчныхъ и прелестныхъ вещицъ составляетъ суть серебрянаго вѣка. Бываетъ и это. Но такъ, между прочимъ, для утоленія «переутонченности», которая можетъ быть и является единственнымъ признакомъ упадка.

Нѣтъ, художникъ серебрянаго вѣка не ищетъ болѣе ничтожныхъ темъ, нежели его счастливый предшественникъ. Онъ такой же искатель и носитель послѣднихъ истинъ. Онъ пытается, съ неизмѣримо большимъ трудомъ, чѣмъ тѣ, кому помогала стихія, дать образъ своей и всей вообще человѣческой жизни.

Онъ — труженикъ искусства, не баловень его.

Ошибочно думать, что первый обязательно Сальери, второй — Моцарть.

Я уже цитировалъ строчки Анненскаго — свидѣтельство поэта о самомъ себѣ. Если Сальери у Пушкина, при всей глубинѣ произносимаго надънимъ суда, все же въ музыкѣ — неудачникъ, Анненскаго неудачникомъ въ поэзіи не назовешь. И ужъ никакъ не назовешь имъ Бодлэра.

А это ли не труженикъ поэзіи!

L'homme a, pour payer sa rançon Deux champs au tuf profond et riche, Qu'il faut qu'il remue et défriche Avec le fer de la raison; Pour obtenir la moindre rose, Four extorquer quelques épis, Des pleurs salés de son front gris Sans cesse il faut qu'il les arrose.

## L'un est l'Art et l'autre l'Amour ...

Это сопоставленіе труднаго искусства и трудной любви (у Бодлера любви къ женщинѣ, у Анненскаго — материнской, къ больнымъ дѣтямъ), освящаетъ тяжесть труда, но «соленыя слезы» и тутъ не забыты.

Нътъ, разумъется, никакой возможности съ точностью опредълить границы въка золотого и въка серебрянаго.

Всего проще, быть можеть, считать золотымь вѣкомъ два - три лучшихъ десятильтія жизни «свой въкъ увлекающаго генія».

Золотой вѣкъ русской поэзіи прошлаго стольтія, «первая любовь» Россіи — жизнь и стихи Пушкина.

Благодаря Баратынскому, серебряный въкъ существуетъ одновременно съ золотымъ.

Не таковъ случай Языкова. Онъ по свободѣ и звучности голоса — образчикъ вѣка золотого, но это образчикъ второго или третьяго сорта.

На Лермонтовѣ золотой вѣкъ какъ - бы замедляетъ свое исчезновеніе. Историческое десятилѣтіе и столѣтіе, разумѣется, не имѣютъ ника-кого отношенія къ лѣтоисчисленію поэзіи.

Ея золотой вѣкъ для двадцатаго столѣтія— Тютчевъ и Блокъ. Не существенно, что между ними— десятилѣтія. Между Виргиліемъ и Данте— двумя вершинами европейскаго волотого вѣка— столѣтія.

Въ несравненно болѣе маломъ масштабѣ — для Россіи и для ея поэтовъ, нынѣ дѣйствующихъ — Тютчевъ и Блокъ — поэты одной стихіи. Есть въ ней и что-то отъ Лермонтова, но Лермонтовъ наполовину — съ Пушкинымъ, съ тѣмъ давно-прошедшимъ золотымъ вѣкомъ.

Тютчевъ — весь въ двадцатомъ столътіи и нашъ современникъ Блокъ нисколько Тютчева не устраняетъ, не замъняетъ, а только становится рядомъ съ нимъ. Оба — въ сердцъ всего, что движетъ современной поэзіей.

Блокъ къ тому же далъ голосъ нашей злободневности и былъ какъ-бы физически ощутимымъ, страшнымъ и ангельскимъ лицомъ нашего золотого въка.

Съ исчезновеніемъ своего генія время теряетъ голосъ, онъ кажется сдавленнымъ, охрипшимъ.

Но и въ немъ та же тема и даже ея какъ бы подземное углубленіе. Хочется върить, что именно это присутствуеть въ современной послъблоковской поэзіи и что это послужить рано или поздно ея оправданіемъ.

2.

## "КЛИМЪ САМГИНЪ"

Въ этой вещи Горькій пытается изообразить среднего русскаго интелигента до революціи. Годъ за годомъ отъ дошкольной поры (лучшая часть эпопеи) до превращенія въ адвоката Самгинъ переходить съ одной страницы на другую свидѣтелемъ и вялымъ участникомъ всего, что было въ Россіи въ концѣ прошлаго и въ началѣ двадцатаго вѣка.

Уже въ дѣтскіе годы «умненькій» мальчикъ, поощряемый вниманіемъ вврослыхъ, повторяеть обрывки ихъ фразъ, и Горькій дѣлаеть попытку возстановить восьмидесятые годы въ представленіи ребенка. Середина девяностыхъ годовъ — ходынка и коронація — описаны какъ сознательныя впечатлѣнія Самгина – студента, а Гапонъ и 9-ое января служать уже темой для доклада въ провинціи Самгину – адвокату, который былъ очевидцемъ и невольнымъ участникомъ тѣхъ событій и за свой докладъ даже «пострадалъ», отсидѣвъ двѣ недѣли въ тюрьмѣ.

Наряду съ развитіемъ событій исторіи политической, Горькій пытается возстановить исторію философскихъ и художественныхъ настроеній эпохи и герои его спорять не только объ «Искрѣ» Ленина и выстрѣлѣ Балмашева, но и о стихахъ Верлена и «Витебскаго или Виленскаго» (Минскаго) и даже о религіозныхъ сектахъ.

Наконецъ есть въ эпопе**š** Горькаго планъ какъ бы внѣвременный — описанія любви, смерти, всего, что относится къ природѣ человѣка и зависить лишь косвенно отъ событій историческихъ.

«Климъ Самгинъ» отражаеть Горькаго во весь рость.

Но эти цёпи я разрушу, На то и воля мнё дана, Затёмъ и разбудиль мнё душу Фанатикъ знанья— Сатана. Эти чуть-чуть комическія строчки, будто бы сочиненныя однимъ изъ персонажей «Клима Самгина», въроятно написаны самимъ Горькимъ и о себъ: до чего это на него похоже и по стилю и по смыслу!

Одольть «Клима Самгина», ничего не пропуская, конечно, подвигь. Онъ облегчается все же сценами и эпизодами отличнаго мастерства, вродь, напримъръ сценъ обиды, нанесенной мальчику Борису, и его гибели. Мъстами нудное теченіе повъсти мъняетъ ритмъ. Онъ становится почти захватывающимъ въ концъ второго тома и въ началь третьяго тамъ, гдъ описывается нарастаніе и убываніе «революціонной волны» 1905 года.

Въ какой - то степени «Климъ Самгинъ» можеть даже сойти за карту нѣсколькихъ десятилѣтій русской жизни. Не то, чтобы вещь эта могла внушить художественную идею эпохи (это оказалось Горькому не по силамъ), но какъ въ чьемъ - то чудовищно-подробномъ дневникѣ, въ эпопеѣ Горькаго каждый можеть получить толчекъ для собственныхъ своихъ воспоминаній или по крайней мѣрѣ справку, всегда одностороннюю, но подробную: какъ хоронили такого-то? Какъ дрались между собой «черносотенцы» и студенты? и т. д.

Въ описаніяхъ Горькаго въ общемъ нѣтъ завѣдомой лжи или вѣрнѣе она не всегда ему удается.

Онъ пытается воскресить и вновь осудить излюбленный въ русской литературѣ типъ «лишнего человѣка». И такъ какъ судить Самгина долженъ трибуналъ читателей, увѣренныхъ, что владѣютъ полнотой истины, и такъ какъ Горькій сейчасъ одинъ изъ идеологовъ политбюро, слѣдственный матеріалъ подобранъ имъ пристрастно и безъ желанія смягчить неизбѣжный приговоръ.

Но по моему есть все же возможность химически выдёлить изъ рапорта казеннаго часть художественную, потому что и въ «Климѣ Самгинѣ», несмотря ни на что, Горькій не рядовой писатель.

Декадентка Нехаева съ цитатами изъ Верлена и Брюсова, съ истерикой въ любви, съ въчной зябкостью, съ отвращеніемъ къ ѣдѣ — каррикатура
не лживая. Очень убъдительно въ концѣ третьяго тома превращеніе Нехаевой
въ изступленную сектантку, радѣющую о духѣ, и съ посѣдѣвшими висками
и съ визгами: «Дхарма» Дхарма!» прыгающую вокругъ чана съ водой. Было
въ декадентствѣ нѣчто, чего Горькій до сихъ поръ не оцѣнилъ и не понялъ,
но были вѣдь тамъ и Нехаевы.

Замъчателенъ образъ хромого мужиченки и сцена ночной ловли трех-пудоваго сома, котораго мужиченка выдумаль.

У многихъ персонажей «Клима Самгина» есть живыя черты.

Мелкій, за всёми подглядывающій Дроновъ, болтливый Лютовъ съ его шутовствомъ и нервными тиками, дёловитый и разговорами немного похожій на Маякина изъ «Оомы Гордева» — Варавка и множество другихъ лицъ и карикатуръ чёмъ - то задёваютъ вниманіе.

Особенно хороши образы дѣтей и два три женскихъ образа. Лидія до неубѣдительнаго превращенія ея въ разбогатѣвшую даму съ претензіями — интересно задуманный и нарисованный типъ дѣвочки и женщины дикой, пытливой и ко всему и къ себѣ неутоммо требовательной. Удаченъ образъ красавицы Алины Телепневой, кокотки по убѣжденію.

Центральная фигура эпопеи, конечно, Климъ Самгинъ. Но это фигура условная.

«Самгинъ могъ бы сравнить себя съ фонаремъ на площади: изъ улицъ торопливо выходятъ, выбѣгаютъ люди; попадая въ кругъ его свѣта, они по-кричатъ немножко, затѣмъ исчезаютъ, показавъ ему свое ничтожество».

Самгинъ революціонеръ по недоразумѣнію, это потенціальный предатель, хотя и для этой роли недостаточно у него характера. Онъ боится жизни, презираеть всѣхъ и себя. Его любять, точнѣе имъ увлекаются женщины, но для него каждая становится рано или поздно «прочитанной книгой».

Безъ всякаго желанія автора унизить можно, мнѣ думаєтся, утверждать, что Горькій многое въ Климѣ Самгинѣ списаль съ себя самого. Въ этомъ принципіально нѣтъ ничего позорящаго — есть сколько угодно примѣровъ, когда писатель въ себѣ наблюдалъ и судилъ что-то, что потомъ составило характеръ его героя. Другое дѣло, насколько автору удается въ жизни преодолѣть черты, ради уничтоженія которыхъ онъ и создаетъ въ романѣ карикатуру на себя, но это уже вопросъ психологіи творчества и тема для будущихъ біографовъ Горькаго...

Преодолѣвая тысячу съ лишнимъ страницъ еще не законченной горьковской эпонеи, не разъ спрашиваешь себя, отчего же все - таки ее такъ тяжело усваивать.

Много живыхъ лицъ, удачно описанныхъ эпизодовъ, наконецъ время дъйствія такъ интересно для каждаго именно сейчасъ.

Неужели дѣло только въ тенденціозности Горькаго? Но вѣдь эпоха, которую онъ описываеть, — довоенная, и при всей необходимости представить ее въ свѣтѣ, пріятномъ для большевиковъ, она все же сставляеть немало свободы для описаній чисто художественныхъ.

Или дъло въ неумъніи распорядиться діалогами, заточившими всю

эпопею. Да, дёло навёрно и въ этомъ. У Горькаго разговоры невыносимы, потомъ что всё персонажи говорять голосомъ автора. Какъ Фреголи, Горькій переодёвается то въ костюмъ Дронова, то — Самгина, то — Лидіи, но все это маски одного актера, котораго по тембру голоса и даже по однообразному ритму фразъ, всегда узнаень.

Наконецъ, быть можетъ, «Климъ Самгинъ» и въ самомъ дѣлѣ родъ дневника, мѣсто разгрузки всѣхъ за всю жизнь накопившихся мыслей, афоризмовъ и наблюденій Горькаго, чѣмъ и объясняется удручающе медленный темпъ въ развитіи эпопеи и обиліе въ ней какого - то чернового непроработаннаго матеріала.

Какъ бы то ни было, всѣ эти недостатки еще не всецѣло объясняютъ неудачу Горькаго. Мнѣ думается, объясненіе этой неудачи — въ природѣ Горьковскаго таланта.

Критикъ не можетъ избѣжать оговорокъ о себѣ, точнѣе — о личныхъ своихъ вкусахъ. Какъ ни неловко это дѣлать, приходится, говоря о такомъ-то авторѣ, напомнить, что между нимъ и читателемъ въ критическомъ изслѣдованіи возникаетъ еще и третье лицо. Можетъ быть и лучше напомнить объ этомъ, скромнѣе во всякомъ случаѣ пояснить, съ какой именно точки зрѣнія авторъ кажется такимъ, а не другимъ.

Я не фанатикъ модернизма, хотя и считаю, что все, остающееся за предѣлами этого понятія, относится къ литературѣ XIX-го вѣка и осуждено съ большимъ или меньшимъ блескомъ подновлять и украшать старое зданіе, изъ котораго жизнь уже давно перекочевала въ другое мѣсто.

Всяческіе «измы» и погоня за модой здісь не при чемъ. Наоборотъ нельзя не понять Блока, которому уродства модернизма были противны, а реализмъ «знаньевцевъ» казался въ какую то эпоху живительнымъ. Блокъ и въ его лиців весь русскій модернизмъ пережилъ разочарованіе въ блужданіяхъ только по облакамъ и отказался отъ ничівмъ неоправданнаго высокомірія къ реальной жизни.

Съ анти - модернистами ничего подобнаго не произошло. Они не дали себѣ труда разобраться въ чужой стихіи и даже усвоили себѣ высокомѣрно - пренебрежительный тонъ, какой-то самодовольно - снисходительный смѣшокъ въ оцѣнкахъ явленій не своего міра.

Въ «Климѣ Самгинѣ» Горькій нытается все же заигрывать съ модернизмомъ. Трогательны по наивности и неуклюжести его неожиданно почтительныя цитаты изъ Сологуба или Брюсова и даже попытка углубить свою повѣсть, «совсѣмъ какъ у нихъ», какимъ то мистическимъ планомъ, для чего

терой повъсти черезъ каждыя двадцать страницъ произноситъ: «да былъ ли мальчикъ то?», а одинъ разъ даже: «да была ли дѣвочка то?», что уже совсѣмъ смѣшно, потому что въ первый разъ восклицаніе относилось къ дѣйствительно-потонувшшему мальчику Борису.

Но въ общемъ «Климъ Самгинъ» очевиднѣе даже чѣмъ всѣ другія вещи Горькаго показываеть, что одинъ «черноземный талантъ» еще не достаточенъ для великаго подвига въ литературѣ, хотя по замыслу эпопея Горькаго и могла бы на это претендовать. Дарованіе Горькаго воспитано въ пренебреженіи къ какимъ бы то ни было поискамъ за предѣлами простѣйшей реальности. Отсюда такая духота въ «Климъ Самгинъ», эта безпросвѣтность, это, какъ въ банѣ, переполненіе всей вещи тѣлами и запахами тѣлъ.

Совсёмъ недавно совершенно такая же неудача, но по причинамъ прямо противоположнымъ постигла — модерниста, тоже большого писателя, у котораго еще больше чёмъ у Горькаго данныхъ для исключительныхъ побёдъ въ литературѣ. Я имѣю въ виду Андрея Бѣлаго и эпопею «Москва подъ ударомъ». Бредъ и фантазія Бѣлаго и все подавляющіе «натура и быть» у Горькаго, оказалось, иногда другъ друга стоютъ. Кстати эпопея и у того и другого задумана одинаково: Бѣлый тоже судья интеллигенціи. И ему еще больше чѣмъ Горькому пришлось бороться съ совѣстью раньше чѣмъ взять на себя такую роль, но для обоихъ писателей справедливы строчки изъ Фомы Гордѣева:

«Иногда они со страхомъ говорять о своей совъсти, порою искренно мучатся въ борьбъ съ ней, — но совъсть — это сила непобъдимая лишь для слабыхъ духомъ; сильные же быстро овладъвають ею и порабощають свониъ желаніямъ»...

Бъда только въ томъ, что искусство не выноситъ такого подавленія совъсти, въ этомъ оно чище жизни. Провалъ двухъ эпопей двухъ большихъ русскихъ писателей не случайное въ этомъ смыслъ явленіе.

Кстати, если продолжать разсужденія о модернистахъ и анти - модернистахъ и предаться Маниловскимъ мечтаніямъ, — какой геніальной удачей было бы соединеніе въ одномъ лицѣ — Вѣлаго и Горькаго, этихъ двухъ полюсовъ русской прозы. Синтезъ двухъ представляемыхъ ими началъ въ поэвіи произошелъ и оттого имя поэта, единственное изъ русскихъ именъ дваддатаго вѣка, имѣетъ право встать рядомъ съ великими именами міровой литературы. Это имя — Блока. Въ русской прозѣ послѣ Телстого и Достоевскаго — такого имени нѣтъ. Розановъ? Да, пожалуй, но это вѣдь не совсѣмъ

литературное имя. Чеховъ? Но это уже довольно давнее и все же не столь безусловно великое прошлое.

Вернемся къ Горькому.

Въ «Климѣ Самгинѣ» раскрывается особенность его памяти, воспитанной въ прилежномъ — все пригодится — собирании всяческихъ наблюдений.

Если умѣстно здѣсь напомнить имя прозаика новаго и значенія безспорно всемірнаго, прозаика, воспитаннаго въ блистательной и опаснѣйшей атмосферѣ европейскаго модернизма и являющегося его лучшимъ и ядовитѣйшимъ цвѣтомъ, если умѣстно напомнить, что именно у него жизненный реализмъ тончайшими тканями перепледся съ геніемъ декадентства, можетъ быть сопоставленіе съ Прустомъ поможетъ оттѣнить особенную безпомощность памяти у Горькаго.

Память Пруста, какъ молнія, озаряєть крохотную деталь, которая потомь, разрастаясь, охватываєть, оплетаєть и поддерживаєть всю грандіозную эпопею. У Горькаго памяти не позволено шалить, она — честный труженикь, съ трудомъ тащущій чудовищный возъ, гдѣ среди всякаго хлама затеряны и драгоцѣнности.

I.

Еще два-три года тому назадъ въ общественно-литературныхъ эмигрантскихъ кругахъ Парижа все было болъе-менъе ясно. Всякій, къ этимъ кругамъ принадлежащій, зналъ «существующій порядокъ вещей, установившійся, повидимому, «всерьезъ» и «надолго». Ясно было — гдѣ «правое», гдѣ «лѣвое», гдѣ «реакція», гдѣ «прогрессъ», въ чемъ «вѣрность традиціямъ» и «въ чемъ подрываніе устоевъ», кто сохраняетъ «живую связь съ дѣйствительностью» и «кто ничего не забылъ и ничему не научился».

Получалась, словомъ, цѣлая стройная панорама съ возвышенностями и низменностями, горделивыми шпилями и обреченными на сносъ лачугами, какъ панорамѣ и полагается. Конечно, что принимать за верхъ, что за низъ— зависѣло отъ точки зрѣнія. Любой ландшафтъ можно наблюдать просто, можно и вверхъ ногами: тогда самая глубокая изъ ямъ покажется Монбланомъ и обратно. Но непререкаемая реальность цѣлаго отъ этого нисколько не страдала. Негативъ и позитивъ, яростно «отрицая» другъ друга, повторяють, какъ извѣстно, съ одинаковой точностью тотъ же самый «кусокъ жизни». Не будь его — не было бы ни позитива, ни негатива.

Короче говоря, съ большими или меньшими недостатками, съ тѣми или иными ошибками или несправедливостями, въ эмиграціи установилась своя, прочная іерархія цѣнностей и, вытекающій изъ нее и на нее опирающійся «существующій строй».

\*\* \*

Всѣ законы міра начинаются съ суровыхъ каръ за попытку къ ниспроверженію существующаго строя. Въ эмиграціи уголовнаго кодекса нѣтъ и за подкопъ подъ какое либо изъ ея установленій «злоумышленника» нельвя ни осудить, ни разстрѣлять. Но нѣкоторый аппаратъ моральнаго воздѣйствія у эмиграціи, какъ у осознанной и организованной аьти-большевистской силы, конечно есть. Странно было бы, если бы его не было. Слишкомъ огромны цённости, вывезенныя эмиграціей съ «всероссійскаго пожарища», да и люди ихъ вывезшіе не годятся на роли простыхъ музейныхъ сторожей. Лучшіе изъ нихъ, — эту убитую, точніе пришибленную «тамъ» и охраняемую здісь россійскую культуру сами создавали и двигали, — естественно, что отъ своей привычной «хозяйской» роли своихъ обязанностей — правъ они добровольно не откажутся.

Всегда шла борьба, никогда не прекращавшаяся внутри самой эмиграціи — и она достигала разныхъ степеней напора и ожесточенія. Но самый кругь этой борьбы былъ ограниченъ уже тѣмъ самымъ, что вели ее люди одной и той же старой русской культуры и одного кожнаго, кровнаго отвращенія къ разрушителю этой культуры — большевизму. И, если въ политическихъ разногласіяхъ дѣло могло заходить и заходило порой очень далеко — то въ этой, основной, области эмиграція сама собой, безъ всякихъ усилій, сейчасъ же объединялась — какъ только что либо начинало угрожать ея «не писаннымъ законамъ». Отъ вульгарнаго «смѣновѣховства», до достаточно сложнаго и хитроумнаго евразійства — всѣ явленія такого порядка находили немедленный отпоръ. Сѣмена разложенія неизмѣнно попадали на камень и прорости не могли...

Такъ было до недавняго времени, покуда дёло шло въ плоскости обычныхъ противопоставленій: мы и они, культура и варварство — эмиграція и большевизмъ. Но съ нёкоторыхъ поръ «аппаратъ» сталъ давать перебои. Незамётно, подспудно, въ разныхъ углахъ русской жизни зарождалась и накопляла энергію неизвёстная до сихъ поръ «Третья сила», къ оцёнкё которой старыя мёрки какъ будто непримёнимы. Теперь, на нашихъ глазахъ, сила эта «вступаетъ въ игру».

\*\*

Обликъ представителей этой силы далекъ и отъ того, какимъ мы энаемъ эмигранта, и отъ того, какъ рисуется намъ большевикъ нашихъ дней. Обликъ этотъ, прежде всего, двоится, троится, четверится.

Когда то въ блаженныя довоенныя времена были въ модё соединенные портреты знаменитостей. Скажемъ: «монархи Европы». Брались карточки Вильгельма II, Эдуарда VII, бельгійскаго Леопольда, испанскаго Альфонса и, накладывая одна на другую, получали физіономію благообразнаго господина среднихъ лётъ, съ пышной растительностью и нёсколько туманнымъ взглядомъ. Это и былъ соединенный портреть монарховъ Европы. То же дѣлалось съ борцами, актерами — невинныя были времена и невинно люди развлекались.

Такъ, воть, чтобы хоть приблизительно представить себѣ двоящееся, троящееся, четверящееся лицо «новаго человѣка», вступающаго въ русскую жизнь, приходится прибѣгнуть къ такому же способу «накладыванія»...

... Матеріализмъ — и обостренное чувство ирраціональнаго. Марксизмъ — и своеобразный романтизмъ. «Сильная Россія» и — «благословимъ судьбу за наши страданія». Отрицаніе христіанства — «спасеніе въ христіанствѣ». Русское мессіанство, интернаціоналъ. «Цѣль оправдываетъ средства» и непротивленіе злу. Достоевскій, Достоевскій, Достоевскій... Немного Толстого. «Атлантида» Мережковскаго, Ницпе и... Андре Жидъ. «Пушкина не существуетъ». Славянофилы, Леонтьевъ. Рудольфъ Штейнеръ, даже Елевфеврій... Безчисленные, — какъ пишуть въ анализахъ, — «слѣды» другихъ пестрыхъ, перекрещивающихся, отрицающихъ другь друга вліяній.

Изъ этой смёси идей и чувствъ, страстей и системъ, смотритъ, если хорошенько вглядёться, лицо новаго русскаго человёка. Отчетливости благообразнаго господина съ баками Франца-Госифа и носомъ Фердинанда болгарскаго — этотъ «комбинированный портретъ», конечно, не имветъ. Но онъ не сливается и въ безформенное, туманное пятно, какъ можно было ожидать. Какія то черты явно сквозь туманъ рисуются. Самая противоръчивость ихъ придаеть имъ что-то собственное, характерное. Кром'я того, этоть портреть передъ портретомъ монарховъ Европы или чемпіоновъ бокса им'яеть одно важное преимущество въ смыслѣ выразительности. Тамъ, при роскошныхъ очертаніяхъ носовъ и бородъ, глаза, какъ я уже отмічаль, нісколько расплывались: монархическая или скулодробительная идея, отъ соединенія въ одно отборныхъ ея представителей, сильней отнюдь не выявлялась. На этомъ лице, такомъ еще неопределившемся, глаза горять ярко. И въ нихъ светится нечто, если не организующее хаосъ остального, то одухотворяющее его. Въ глазахъ, «сборныхъ» глазахъ новаго человъка, ярко свътится его «пореволюціонное сознаніе».

\*\*

«Пореволюціонное сознаніе»... Не знаю, кто пустиль въ ходь это опредёленіе, да это и не существенно. Настоящимь авторомь его была сама жизнь. И эти два слова, призваны, быть можеть, сыграть роль той черты, которая

раздѣлить по новому строй русской жизни, сложившейся послѣ революци. Самое удивительное, что если эту черту провести — за чертой, отдѣляющей «новыхъ людей» отъ «старыхъ», окажемся не только мы, люди прежней России, но и «они» — безконтрольные хозяева России ныпѣшней.

Пореволюціонное сознаніе... Новый человѣкъ, человѣкъ «третьей силы» — недоволенъ «существующимъ строемъ» по обѣ стороны рубежа и этого не скрываетъ. Но онъ именно недоволенъ — ни нашей ненависти, ни большевицкаго презрѣнія къ намъ, у него нѣтъ. Онъ вообще, какъ бы игнорируетъ самый рубежъ, раздирающій на двое Россію, какъ бы считаетъ его несуществующимъ. Критикуя и присматриваясь, онъ выбираетъ у «насъ» и у «нихъ» то, что можетъ ему подойти. Но и эмиграція, и большевизмъ для него въ значительной степени старая русская жизнь. Онъ же собирается строить новую.

\*\*

Кто же, однако, они, эти новые люди, откуда они взялись. Что это — новое покольніе? Отчасти, новое покольніе. Но только отчасти. Конечно, среди нихъ преобладаєть молодежь — но признакъ возраста какъ то для нихъ нехарактеренъ. Нехарактерно это впрочемъ, не только для нихъ. Во всей послъвоенной Европъ перемънилось, если присмотръться, строеніе и порядокъ смъняющихъ другъ друга человъческихъ волнъ. Какіе то новыя неизвъстныя вошли послъ войны въ уравненіе, по которому движется «душа исторіи» — и многія прежде ясныя и самоочевидныя положенія потеряли свою ясность и самоочевидность.

Точнѣе всего — это люди новой духовной среды. Сознаніе ихъ, конечно, опредѣлилось ихъ бытіемъ, хотя ни у кого въ мірѣ нѣтъ такого неодолимаго стремленія, какъ у нихъ — наперекоръ марксистской заповѣди опредѣлять бытіе сознаніемъ. Многое объясняется въ нихъ тѣмъ, что въ большинствѣ своемъ, такъ или иначе — это «люди изъ подполья».

Русское подполье нашихъ дней ждеть еще своего изобразителя. Въроятно, еще долго будетъ ждать: задача слишкомъ трудна. Оно неисчерпаемо богато страданіемъ и его духовный опытъ очень великъ.

«Подполье», это главнымъ образомъ всѣ тѣ, кто за пятнадцать лѣтъ революціи не выплыль на поверхность ни въ эмиграціи, ни въ Россіи, не участвоваль ни въ какомъ строительствѣ, не игралъ никакихъ ролей, тѣ, кто никакъ общественно не «осуществился», послѣ распада Россіи. Незамѣтно

для себя, не сознавая этого, безмолвствовавшая пятнадцать лѣть «глухая масса» русскихъ людей, накопила огромную энергію — теперь она ищеть выхода.

\*\*

Лицо «новаго человъка» туманно: оно двоится, троится, четверится. Идеи его путанны, противоръчивы, пестры. Въ принявшемъ за пятнадцать лътъ отчетливыя формы, раздъленномъ непроходимымъ рубежомъ, выкристаллизовавшемся, нъсколько даже окаменъвшемъ міръ русской жизни онъ, «новый человъкъ» растерянно глядитъ вокругъ себя, не зная во что върить, что отрицать, на что опереться, «прабая, лъвая, гдъ сторона».

Онъ неясенъ еще самому себѣ — какъ же отъ него ждать ясности. Онъ «подкидышъ» — о его родословной можно только гадать. Онъ христіанинъ, отрицающій Христа, антибольшевикъ, не довѣряющій эмиграціи, онъ не признаетъ рубежа, но по обѣ стороны его, — онъ равно чужой дѣйствующимъ и тамъ и здѣсь законамъ. Онъ, — пока что, — только большой вопросительный знакъ, появившійся передъ нами «изъ ничего» — на пятнадцатомъ году революціи.

Но — нельзя объ этомъ забывать — въ глазахъ его — новое сознаніе.

II.

На собраніяхъ въ разныхъ обществахъ и кружкахъ русскаго Парижа, часто выступаетъ теперь молодой человѣкъ лѣтъ двадцати шести-восьми. Зовутъ его Петръ Степановичъ. Говоритъ онъ на эмигрантскихъ собраніяхъ отъ лица недавно основанной имъ и его друзьями «Третьей Россіи» — пока скромнаго журнальчика, въ будущемъ... но это покажетъ будущее.

Петръ Степановичъ крѣпко скроенъ, да и сшитъ довольно «ладно». Высокій, прямой, свѣтлые глаза, бѣлые зубы. Только что-то топорное, тяжеловѣсное во всемъ — въ движеніяхъ, въ ходѣ мыслей, въ рѣчи.

Подыметь руку — точно пудовую гирю подняль. Зададуть вопрось — такъ задумается надъ отвътомъ, точно труднъйшую задачу ръшаеть. Скажеть слово — слово какое то каменное. Иногда — очень ръдко улыбается. Улыбка — дътская.

— Мы хотимъ могущества!

Это лейтмотивъ всёхъ его выступленій. Говорить онъ это такъ убёж-

денно, такъ ясно смотрить собесёднику въ глаза, такъ жестко, выбросивъ слово, стискиваетъ челюсти, что забываешь на минуту жалкое несоотвётствіе между мечтой и дёйствительностью, словомъ и дёломъ.

Этотъ прямой, коренастый, топорный человѣкъ — несомиѣнно убѣждень въ томъ, что такъ или иначе «могущества» (онъ произносить по мужицки: «мохущества») — онъ добьется. И такова сила убѣжденности, что она, «разсудку вопреки» — убѣждаетъ. Кто его знаетъ, можетъ именно онъ и добъется. Вотъ вѣдъ какой скуластый, твердолобый, упорный. — «Мы достроимъ Вавилонскую башню»... «Мы добъемся»... «Мы, мы...»

Самое характерное для его выступленій, что онъ всегда говорить одно и то же. Воть онъ излагаеть свою программу подробно, тщательно отчеканивая каждое слово, прямо, ясно глядя передъ собой. Потомъ, какъ водится, начинается диспуть, программу Петра Степановича начинають съ разныхъ сторснъ разбивать. Разбивается она легко. Въ ослѣпительной ея стройности одинъ за другимъ открываются глубокіе изъяны. Она, оказывается, противорѣчить сама себѣ, она абсурдна. Стройная «Вавилонская башня» расыпается карточнымъ домикомъ.

Но взгляните на Петра Степановича. Онъ слушаеть съ равнодушнымъ, нѣсколько скучающимъ видомъ, точно все это его нисколько не касается. Онъ ждеть, когда списокъ ораторовъ будеть исчерпанъ. Тогда онъ снова подымется на эстраду и тѣмъ же голосомъ, также твердо, убѣжденно, увѣренно... буква въ букву повторитъ въ заключительномъ словѣ то, что говорилъ во вступительномъ. Все, что ему возражается, онъ просто — откровенно пропустилъ мимо ушей.

Но нужны ли всё эти возраженія? Не лучше ли присмотрёться, прислушаться, прежде чёмъ желать быть понятымъ, самому постараться понять? Прислушаться не столько къ интонаціи, звуку голоса вотъ такого Петра Степановича. Присмотрёться къ его лицу, задуматься надъ его біографіей — если онъ этого стоитъ. А онъ, повидимому, стоитъ — недаромъ его слушають такъ внимательно и возражають ему такъ горячо.

\*\*

Новый человѣкъ изъ новой Россіи. Что мы знали о немъ до сихъ поръ?

Какъ о темной сторонъ луны — о Совътской Россіи мы достовърно внаемъ, собственно, только то, что она существуетъ. Все остальное — спор-

но, обо всемъ остальномъ можно только гадать. Да и догадки эти, основанныя на обрывочныхъ частныхъ свёдёніяхъ и на ворохахъ офиціальной лжи, касаются главнымъ образомъ сегодняшняго дня, Россіи, какъ она есть сейчасъ.

Было горе, будеть горе, Горю нѣтъ конца.

заглушенно шепчуть подспудные «ночные голоса» оттуда. Покрывая ихъ, сверхъ-мощный громкоговоритель пропаганды вѣщаеть о неслыханныхъ достиженіяхъ пятилѣтки. Но между «горемъ безъ конца» и «энтузіазмомъ строительства», есть же живая жизнь великой страны, движущаяся впередъ по какимъ то колеямъ и какъ-то слагающаяся для будущаго. Что мы знаемъ о ней?

До сихъ поръ мы могли только гадать: за пятнадцать лѣтъ большевизма врядъ ли всѣ, кто не погибъ, превратились въ соціалистическихъ роботовъ, или прихвостней власти. Кто то выжилъ и морально и физически. Это разъ. Два — за эти пятнадцать лѣтъ въ совѣтскомъ воздухѣ сложились милліоны сознаній, въ совѣтскую почву проросли милліоны новыхъ корней. Какіе то изъ этихъ новыхъ корней — въ подспудной, труднѣй всего поддающейся надзору ГПУ и контролю Ц.К. — области духа срослись и переплелись не съ правовѣрно-коммунистическими насажденіями, а какъ разъ съ враждебными коммунизму, уцѣлѣвшими отъ всероссійскаго «корчеванья» — корнями старой русской культуры. Прививка, какъ будто, не могла не произойти и не могла не дать всходовъ. Всходовъ — надо ждать. — На нихъ, какъ будто, можно надѣяться. Въ остальномъ: «было горе, будетъ горе», ночной туманъ и, сквозь него, бутафорскіе огни пятилѣтки.

И вотъ случилось ожиданно — неожиданное. Кто то старый выжилъ, кто то новый подросъ. Что то привилось, что то зацвъло и зазеленъло. Новый русскій человъкъ стоитъ передъ нами. У него славный мужицкій выговоръ, славный открытый взглядъ. Если онъ улыбается, улыбка у него дътская. Но по большей части онъ серьезенъ, каменно-серьезенъ. Отъ лица милліоновъ, такихъ же, какъ онъ, каменно-серьезнымъ голосомъ онъ говорить міру:

— «Мы достроимъ Вавилонскую башню. Мы хотимъ могущества».

Въ чемъ, въ чемъ, а въ «подлинности» такого Петра Степановича сомнѣній нѣтъ. Все въ біографіи его честно, чисто и органично. Это не смѣновѣховецъ и не невозвращенецъ — не шлакъ историческаго процесса, а новѣйшій, послѣдній его сплавъ. Выплавка шла, примѣрно, такъ.

Рабочая семья. Въ раннемъ дѣтствѣ октябрьскій перевороть, воспринятый, какъ праздникъ раскрѣпощенія. 1919, 1920, 1921 годы — густая романтика Алой и Бѣлой розы, «бѣшеныхъ атакъ мірового капитализма» на «мирный рай трудящихся». 1922 — атаки отбиты. Наконецъ-то: «мы свой, мы новый міръ построимъ». Но вмѣсто новаго міра строится... Нэпъ. Первыя колебанія, такъ ли безошибочна «азбука коммунизма». Затѣмъ комсомоль, ВУЗ. Разговоры, книги, встрѣчи, само-критика, критика-просто... Съ лица бывшей Россіи понемногу сползаетъ маска страшилища, царя-жандарма, съ лица Россіи нынѣшней — идиллическая личина добродѣтельнаго товарища. Приходитъ время сдѣлать выборъ, роковой моментъ для нынѣшнихъ хозяевъ Россіи, къ предотвращенію котораго направлены всѣ средства коммунистической педагогики. Но самыя сильныя средства дѣйствуютъ, какъ извѣстно, до поры до времени и предотвратить непредотвратимое нельзя.

Петръ Степановичъ сдѣлалъ выборъ такъ. Послѣ окончанія ВУЗ-а, на порогѣ прекрасной карьеры, ничѣмъ не угрожаемый, принадлежащій къ привиллегированному сословію — онъ сѣлъ въ поѣздъ, доѣхалъ до границы и безъ денегъ, безъ языка, безъ единаго знакомаго за рубежомъ, границу перешель. Это былъ вполнѣ безкорыстный жестъ, никакого практическаго смысла въ немъ не было. Онъ бѣжалъ единственно и исключительно потому, что въ воздухѣ Совѣтской Россіи для его легкихъ не хватало кислорода — онъ задыхался.

Ho и въ эмиграціи — онъ этого не скрываеть — онъ тоже задыхается.

На ретрант рынграниетаго собрані

На эстрадѣ эмигрантскаго собранія стоить человѣкъ. На немъ потертый костюмъ и темная рабочая рубашка. Въ карманѣ у него волчій нансеновскій паспорть, въ головѣ обрывки нахватанныхъ знаній. Онъ бѣжаль изъ Россіи и добываеть себѣ кусокъ хлѣба физическимъ трудомъ. Отставъ отъ большевиковъ, къ эмигрантамъ онъ не присталъ. Онъ «самъ по себѣ». Онъ и маленькая кучка его учениковъ гордо называють себя «Третьей Россіей»...

Воть онъ излагаеть свою программу. Программа, что и говорить, — «обширная». Новое государство людей — титановъ. Новая «титаническая религія». Побъда надъ косностью духа — достройка — Вавилонской башни. Туть выясняется «пикантная подробность» — строить башню, оказывается, начали большевики и до поры до времени ничего, правильно строили: «расчистили мъсто», заложили фундаменть. Теперь, впрочемъ, большевики дълають

«непоправимую историческую ошибку» — не желають уйти, чтобы дать «новымъ людямъ» — титанамъ достроить на заложенномъ ими фундаментъ «Третью Россію».

Программа, повторяю, общирная. Достаточно сказать, что въ числѣ ея пунктовъ — въ планѣ «преодолѣнія косности матеріи» есть и такой: воскресеніе мертвыхъ...

Тотъ, кто скажетъ «сумасшедшіе», будетъ неправъ. Неправъ и тотъ, кто пожметъ плечами: «парлатаны». Нѣтъ, не сумасшедшіе и не шарлатаны. Сумасшедшій тотъ, кто зачалъ въ больномъ мозгу больную идею и навязываетъ ее окружающему. Парлатанъ — сознательно, изъ разсчета, шарлатанитъ. Но чѣмъ виноваты люди, обыкновенные люди, которые, едва открывъ глаза, увидѣли весь міръ и все происходившее въ немъ, окрашеннымъ сумасшедше — шарлатанскимъ заревомъ. Все. Каждый уголокъ мысли, чувствъ прошлаго, будущаго. Надъ этимъ, право, стоитъ задуматься.

Тъмъ и важенъ вотъ такой Петръ Степановичъ, что онъ не личность. Онъ стоитъ сейчасъ на эстрадъ эмигрантскаго диспута, десятки, сотни тысячь, милліоны, можеть быть, такихь, какь онь, стоять на великой русской земль, и пусть они ни о какомъ титанизмъ и не помышляють — головы ихъ, ихъ души сформированы по тому же самому образцу. Всв перспективы для нихъ заранве искажены, всв планы спутаны. И именно чёмъ меньше они сумастедше, чёмъ меньше шарлатаны, чёмь сильнёе говорить въ нихъ врожденное чувство правды и справедливости, — тѣмъ болѣе странныя формы принимаетъ въ нихъ «души неслыханный протестъ», когда онъ назрѣлъ. Протестъ противъ нищеты духовной и матеріальной, противъ униженія національнаго и личнаго, протесть противъ обмана буржуазнаго и обмана большевицкаго. Тема «униженныхъ и оскорбленныхъ» (съ непремвной надеждой на какое то обязательное конечное «торжество») всегда была близка русскому сознанію, всегда его «возбуждала». Теперь, когда вся Россія такъ неслыханно оскорблена и унижена и внъшне и изнутри, ей, на ея гноищъ, снятся «золотые сны». Опасные сны: тамъ и «Вавилонская башня», и конная армія Буденнаго, — подходившая въдь уже къ Варшавъ! — и красный пътухъ, котораго можно будетъ опять запустить, и Христось, и погромы, и «батюшка царь» съ черными, огненными глазами Пугачева.

Среди неисчислимыхъ золъ, которыя большевики принесли Россіи, есть одно — еще почти неосознанное. На нашихъ глазахъ только что появились первые цвъточки — ягодки будутъ потомъ. Славный, честный (несом-

ивно честный), прямой, безкорыстный (о, еще бы не безкорыстный!) Петръ Степановичь, ввщающій о титанизмів съ трибуны «Зеленой Лампы», не есть ли онъ именно такой цвіточекъ распукающагося на нашихъ глазахъ новаго зла.

Зло это особой породы. Вызванное большевизмомъ, оно большевизму враждебно. Такъ спирить порой вызываетъ демона, который сильнъе его, и демонъ его душитъ. Но тъмъ, кого этотъ демонъ передушитъ потомъ, отъ этого не легче.

Для своей пользы большевики разрушали систематически все, на что опиралась русская жизнь: церковь, семью, національное чувство, человіческое достоинство, честь, самый разумь. Они дійствовали успішно, — нельзя не признаться. Но до желаннаго «стопроцентнаго» истребленія живой души народа, какъ ни старались, діло довести не удалось. Что то уцілівло, чтото срослось со старыми корнями, что то новое родилось и пробиваеть дорогу къ жизни. Но выросшее на отравленной почві, въ разріженномъ воздухі «соціалистическаго опыта», въ искаженныхъ перспективахъ прошлаго и будущаго, сдобренное, какъ дрожжами, врожденнымъ русскимъ «максимализмомъ», — это новое... уродливо и внушаеть страхъ.

За примърами недалеко ходить — сказочный рость гитлеровскаго движенія у всёхъ передъ глазами. Тоже хотять могущества, тоже стремятся «достраивать башни». А гитлеровщина — замѣчу въ скобкахъ — родилась въ сравнительно благополучной и несравненно болье устойчивой Германіи, и при всей ширинъ «обхвата» — мелка. Ну, конфискуетъ Гитлеръ «еврейскіе капиталы», ну, дастъ каждой дактилографкъ въ принудительномъ порядкъ «облокураго мужа»...

А тутъ Россія. Путанныя русскія головы «съ сумасшедшинкой» Пятнадцатильтній «стажъ» большевизма, т. е. ньчто небывалое въ природь. И безконечная, неизмъримая глубина всяческихъ русскихъ страданій...

Что же, если сегодня большевики падуть и для такихъ Петровъ Степановичей, для постройки и достройки разныхъ ихъ башенъ откроется не эстрада «Salle Shopin», а «отъ финскихъ хладныхъ скалъ»... вся русская земля? Воля у нихъ каменная, скулы выдающіяся, говорокъ понятный, мужицкій, по «мохуществъ» они истосковались. Самое опасное, что они безкорыстны и честны, слъдовательно, зло, которое они несутъ, есть зло идейное — т. е. труднъе всего искоренимое зло. Что же тогда? Изъ огня да въ полымя...

Въ антрактъ одного изъ такихъ диспутовъ я подълился сомнъніями на этотъ счетъ съ русскимъ общественнымъ дъятелемъ, пожилымъ человъкомъ, видавшимъ виды.

#### Онъ сказалъ:

— Да... это такъ. Но и не совсѣмъ такъ. Видите-ли... да вотъ, посмотрите на его лицо.

Петръ Степановичъ, только что чеканившій съ эстрады свой «каменный» докладъ, стоялъ неподалеку отъ насъ. Онъ разговаривалъ съ квиъ то и во весь роть улыбался своей простодушной улыбкой.

- Видите, какъ онъ улыбается? Какъ ребенокъ. Не кажется ли вамъ, что такая улыбка реальнъе и важнъе его словъ. Потому, что слова слова, и что тамъ за ними неизвъстно. А улыбка уже есть дъло, притомъ дъло мира и любви.
- Вотъ, прибавилъ онъ, вы боитесь «что будеть»? А будеть, можеть быть, просто: рухнутъ большевики и и первое, что сдёлаютъ русскіе люди, это улыбнутся другъ другу, вотъ такъ, отъ души. Потомъ, разумѣется, начнутся распри. Но главное, то самое, за что вы боитесь, уже будетъ спасено.

I.

"Блаженны нищіе духомъ"...
Небо нагорное сине;
Верески смольнымъ духомъ
Дышатъ въ блаженной пустынъ.
Бъдные люди смиренны;
Слушаютъ, не разумъя,
Кто это, сердце не спроситъ.
Вътеръ съ холмовъ Галилеи
Пухъ одуванчиковъ носитъ.
"Блаженны нищіе духомъ"...
Кто это, люди не знаютъ,
Но одуванчики пухомъ
Ноги Ему осыпаютъ.

II.

Если четыре, отъ четырехъ Евангелій на лицо Іисуса падающихъ свѣта нами угаданы вѣрно: въ 1-омъ Евангеліи — слово Его, во ІІ-омъ — дѣло, въ ІІІ-емъ — чувство, въ ІV-омъ — воля, то чего Іисусъ хочетъ, — претворить воду въ вино, законъ въ свободу; у Луки, въ Назаретѣ, то, что Іисусъ чувству етъ — въ едва не удавшейся попыткѣ Назареянъ убить Его, свергнувъ съ горы, — необходимость смерти Голгооской: у Марка, въ Капернаумѣ, то, что Іисусъ дѣлаетъ, — явленіе "силы", отъ Него исходящей.

въ исцъленіи больныхъ; а у Матоея, на горъ Блаженствъ, то, что Іисусъ говоритъ, — Блаженная въсть о царствъ Божіемъ.

Кана Галилейская, Назаретъ, Капернаумъ, Гора Блаженствъ, — можетъ быть, вовсе не четыре первыхъ дня Господня, а одинъ, только разно понятый и увидънный, подъ четырьмя свътами: у Матөея — утреннимъ, у Марка — полуденнымъ, у Луки — вечернимъ, у Іоанна — ночнымъ, звъзднымъ.

Кажется, у одного Марка дана исторія, въ личномъ воспоминаніи Петра, очевидца, о Капернаумской субботь, а у остальныхъ трехъ евангелистовъ — исторія, смѣшанная съ тѣмъ, въ чемъ непосвященные, невѣрующіе, видятъ только "легенду", "апокрифъ", а вѣрующіе, посвященные, узнаютъ мистерію — религіозный опытъ, внутренній, не менѣе дѣйствительный, чѣмъ опытъ внѣшній, историческій, ибо то, что было, есть и будетъ въ вѣчности, не менѣе дѣйствительно, чѣмъ то, что было однажды во времени.

Если въ трехъ свидътельствахъ — Іоанна, Луки, Марка — исторія съ мистеріей сплавлена на огняхъ разной степени жара, съ разною степенью крѣпости, то крѣпчайшій и нерасторжимѣйшій сплавъ ихъ данъ у Матөея. Очень вѣроятно, что та самая проповѣдь, которую мы называемъ Нагорною, дѣйствительно произнесена была Іисусомъ, въ первый или одинъ изъ первыхъ дней служенія, и сохранилась, съ большей или меньшей степенью точности, въ памяти ближайшихъ къ Нему учениковъ: вотъ и с т о р і я. Но болѣе, чѣмъ вѣроятно, что Б л а ж е н с т в а — главное для насъ, такъ же какъ для самого Іисуса, въ этой проповѣди, — суть подлиннѣйшій и внутреннѣйшій опытъ Его: вотъ м и с т е р і я. Эти - то два металла и сплавлены Матөеемъ на огнѣ жарчайшемъ, въ крѣпчайшій сплавъ, такъ что они уже не два, а одно: то, что было однажды во времени, — Исторія, есть и то, что было и будетъ въ вѣчности, — Мистерія: первый день Господень — уже наступившее царство Божіе.

III.

Слѣдовало за Нимъ множество народа изъ Галилеи, и Десятиградія, и Іерусалима, и Іудеи, и изъ - за Іордана. Увидѣвъ же народъ, Онъ взошелъ на гору (Мт. 4,25; 5,1). Если это свидѣтельство Матөея относится къ первому дню или

вообще къ первымъ днямъ служенія Господня, то очень вѣроятно, что такое множество народа, слѣдующаго за только - что начавшимъ проповѣдь и вчера еще никому неизвѣстнымъ рабби Іешуа, есть преувеличеніе обобщающей и сокращающей стилизаціи, — не исторія, а мистерія. Очень вѣроятно также, что и въ свидѣтельствѣ Луки, относящемъ Нагорную проповѣдь уже къ позднѣйшимъ днямъ — къ избранію Двѣнадцати, — такое же преувеличеніе.

...На гору взошелъ Онъ помолиться въ тѣ дни, и пробылъ всю ночь въ молитвѣ къ Богу.

Когда же насталъ день, призвалъ учениковъ Своихъ и избралъ изъ нихъ двънадцать, наименовавъ ихъ Апостолами...

И сошедши съ ними (съ горы), сталъ на ровномъ мѣстѣ, и множество учениковъ Его, было съ Нимъ и много народа изъ всей Іудеи, и Іерусалима, и приморскихъ мѣстъ, Тирскихъ и Сидонскихъ, которые пришли послушать Его и исцѣлиться отъ болѣзней своихъ, также и страждущіе отъ нечистыхъ духовъ; и всѣ исцѣлялись.

И весь народъ искалъ прикасаться къ Нему, потому что отъ Него исходила сила, и исцѣляла всѣхъ (Лк. 6,12-13, 17-19). Судя по свидѣтельству Марка о Капернаумскомъ бѣгствѣ Іисуса послѣ перваго дня служенія: "нашедши Его, говорятъ Ему: всѣ ищутъ Тебя" (1, 25-27), и о такихъ же, во всѣ дни служенія повторяющихся, бѣгствахъ: "находился внѣ, въ мѣстахъ пустынныхъ, и приходили къ Нему отовсюду" (1,45), — судя по этому свидѣтельству, народъ, ищущій Господа, и въ этотъ день Нагорной проповѣди, идетъ къ Нему на гору, а Онъ, послѣ ночной молитвы, должно быть, по восхожденіи солнца, сходитъ къ народу съ горы и встрѣчается съ нимъ "на ровномъ мѣстѣ", ἐπλ τόπου πεδινοῦ (Лк. 6, 17), вѣроятно, на горной площади или плоскомъ выступѣ горы, гдѣ собираются вокругъ Него не тысячныя толпы со всей Палестины, какъ въ преувеличеніи Матөея и Луки, а лишь немногія сотни Капернаумскихъ жителей.

IV.

Время года, кажется, ранняя весна, конецъ Марта, начало Апръля; мъсто — надъ Капернаумскимъ Семиключьемъ, на гор-

ныхъ высотахъ къ съверо - западу отъ Геннисаретскаго озера. Тамошніе жители помнятъ до нашихъ дней три стоявшихъ на одной изъ этихъ высотъ, теперь уже срубленныхъ, дерева — два теребинта и одинъ ююбъ (jujube). Судя по ихъ арабскому имени el-mebarakat, "Благословенныя", "Блаженныя", а также по слову, тоже арабскому, der makir, въроятно, отъ греческаго μαχαρισμός, Блажен с тво, уцълъвшему на одной изъ найденныхъ здъсь, циклопическихъ глыбъ, должно быть, отъ развалинъ очень древней базилики, — судя по этимъ двумъ признакамъ, древнъйшее преданіе искало горы Блаженствъ въ этихъ мъстахъ.

Здѣсь, въ горной пустынѣ, между темныхъ базальтовыхъ скалъ, стелются блѣдные луга асфоделей, смерти безсмертныхъ цвѣтовъ; зыблются надъ ними на высокихъ стебляхъ, въ чьей древесинѣ скрылъ похищенный съ неба огонь Прометей, огненно - желтые зонтики ферулы (ferula); рдѣютъ анемоны брызнувшими каплями крови по темной зелени вересковъ, тѣ же, что нѣкогда рдѣли у ногъ Пастушка Назаретскаго, и великолѣпный гладіолъ, gladiolus atroviolacens, ярко - красный и черно - фіолетовый, можетъ быть, евангельская "лилія", хоботом, арамейская schoschanna напоминаетъ пурпуръ царей:

Посмотрите на лиліи, какъ онъ растутъ: не трудятся, не прядутъ; но, говорю вамъ, что и Соломонъ, въ славъ своей не одъвался такъ, какъ всякая изъ нихъ (Мт. 6, 28-29).

Въ воздухъ, болъе ръдкомъ и свъжемъ на этихъ горныхъ высотахъ, чъмъ въ душной котловинъ озера, тянущій съ горъ холодокъ, и запахъ утренней гари въ туманъ, и углубляющее тишину, невидимыхъ въ небъ жаворонковъ пънье, и кукованіе кукушки, сладко - унылое, какъ на чужбинъ память о родинъ, — здъсь все могло напоминать Іисусу родные холмы Назарета.

Солнце уже всходило изъ за голыхъ и рдяныхъ, какъ раскаленное желѣзо, вершинъ Галаада, а озеро, все еще тѣнистое, въ глубокой, между горъ, котловинѣ, спало, какъ дитя въ колыбели. Небо и горы отражались въ зеркалѣ водъ, съ такою четкостью, что, если долго смотрѣть на нихъ, то казались тѣ, отраженныя, настоящими. И пустынно было все, и торжественно - безмолвно на землѣ

и на небъ, какъ въ приготовленномъ къ брачному пиру и ожидающемъ гостей, чертогъ жениха:

Все готово; приходите на брачный пиръ.

V.

И когда сълъ Онъ, приступили къ Нему ученики Его. Сидя, а не стоя, учитъ всегда, — въ тишинъ, въ спокойствіи.

И открывъ уста Свои, училъ (Мт. 5, 1-2).

И поднявъ глаза Свои на учениковъ, говорилъ (Лк. 6, 20).

Молча сперва сидитъ, опустивъ глаза, и весь народъ, тоже молча, смотритъ на Него, ждетъ, чтобъ Онъ поднялъ глаза, открылъ уста. Небо и земля, и преисподняя ждутъ. Міру навѣки запомнились эти сомкнутыя въ молчаньи уста, опущенные глаза Господни.

Чтобы видъть и слышать Сидящаго, все народное множество тоже сидитъ, въроятно, по склону горы, такъ что, глядя на Него снизу вверхъ, видитъ лицо Его въ небъ, окруженное лучами восходящаго солнца, какъ славой Господней.

Проповъдь "Нагорная", — върно поняло христіанство уже съ первыхъ въковъ: горнее слово, съ неба на землю сходящее, самое небесное изъ всъхъ на землъ сказанныхъ словъ.

Блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть царство небесное. Блаженны плачущіе, ибо утѣшатся.

Блаженны кроткіе, ибо наслѣдуютъ землю.

Блаженны алчущіе и жаждущіе правды, ибо насытятся.

Блаженны милостивые, ибо помилованы будутъ.

Блаженны чистые сердцемъ, ибо узрятъ Бога.

Блаженны миротворцы, ибо наречены будутъ сынами Божьими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо ихъ есть царство небесное (Мт. 5, 3-10).

Музыки болѣе небесной, чѣмъ эта, никогда еще не было и, вѣроятно, никогда уже не будетъ на землѣ; съ этимъ каждый легко согласится, вѣрующіе и невѣрующіе одинаково, — всѣ кто обладаетъ, хотя бы въ малѣйшей мѣрѣ, тѣмъ, что можно бы назвать "музыкальнымъ слухомъ сердца". Люди ко всему привыкаютъ, но къ этому, кажется, никогда не привыкнутъ: сколько бы ни слушали, все вновь и вновь удивляются, какъ будто слышатъ въ первый разъ, и все не могутъ этимъ насытиться.

Въ медленно - глубокихъ гулахъ океана бъется великое сердце земли: такъ и въ этихъ "Блаженны, блаженны", бъется сердце Божіе, и отвъчаетъ ему сердце человъческое: "истинно, истинно, такъ!"

"Лѣто Господне, блаженное", наступило въ мірѣ. Гдѣ - то высоко надъ міромъ, должно быть, въ раю, Божья гроза пронеслась, и льется съ горы солнечный ливень Блаженствъ, водопадомъ громокипящимъ и опьяняющимъ.

Музыку Блаженствъ слышатъ всѣ, но того, что за нею, — величайшаго въ мірѣ, дѣла — спасенія міра, — почти никто, кромѣ святыхъ, уже или еще не слышитъ.

#### VII.

Блаженны богатые, имъющіе, beati possidentes, — вотъ "дъло" міра, то, на чемъ онъ стоитъ; "блаженны нищіе" (не "духомъ", а просто "нищіе", какъ върно, кажется, понялъ Лука), — вотъ "бездълье" — то, отъ чего рушится міръ. Слуги Мамоновы — Марксовы (новый Мамонъ — "Капиталъ"), — все равно, сегодняшніе ли, уже успъвшіе награбить, богачи-буржуи, или еще не успъвшіе, завтрашніе богачи - пролетаріи, — могутъ, въ лучшемъ случать, только плечами пожать и усмъхнуться на эту безпемощно - дътскую мечту, а въ худшемъ, только - что дъло дошло бы до ихъ шкуры, истребили бы блаженныхъ нищихъ, какъ злъйшихъ враговъ сегодняшняго государства или завтрашней революціи.

Если же върно понялъ Матоей: "блаженны нищіе духомъ", то для дътей міра сего это еще нелъпъе. "Духомъ богатые, мудрые,

блаженны", — міръ и на этомъ стоитъ; "блаженны нищіе духомъ", "слабоумные", "безумные", — и отъ этого рушится міръ.

Знаетъ ли это Господь? Знаетъ, конечно; потому и говоритъ: (Мт. 18,3).

Если не обратитесь, не войдете въ царство небесное Въ этомъ - то именно словѣ: "обратитесь", στραφητε, "обернетесь", "перевернетесь", — ключъ ко всему въ Блаженствахъ.

Въ словъ Господнемъ, не вошедшемъ въ Евангеліе, "незаписанномъ", agraphon, — тотъ же ключъ:

Такъ сказалъ Господь въ тайнъ: если вы не сдълаете ваше правое лъвымъ и ваше лъвое правымъ, ваше верхнее нижнимъ и ваше нижнее верхнимъ... то не войдете въ царство Мое.

Dominus in mysterio dixerat: si non feceritis dextram sicut sinistram et quae sursum sicut deorsum, non cognoscetis regnum Dei. Это и значить: "въ царство Мое не войдете, Блаженствъ не познаете, если не обратитесь, не перевернетесь, не опрокинетесь". Первое же слово Господне, сказанное міру: μετανοείτε покайтесь", "опомнитесь", значить: перемъните вств ваши мысли, вств ваши чувства, всю вашу волю; выйдите изъ этого міра, изъ трехъ измъреній, и войдите въ тотъ міръ, въ измъреніе четвертое, гдть нижнее становится верхнимъ и верхнее — нижнимъ, правое — лѣвымъ и лѣвое — правымъ; гдть в с е на о б о р о т ъ . Только "перевернувшись", "опрокинувшись", только "внизъ головой", къ ужасу встахъ, какъ будто твердо на ногахъ стоящихъ, "здравомыслящихъ", можно войти, влетъть, упасть, изъ этого міра въ тотъ, изъ царства человъческаго въ царство Божіе, изъ печали земной въ блаженство небесное.

## VIII.

Царство Божіе есть опрокинутый міръ, — скажетъ рабби Іозій Бенъ - Леви, іудейскій книжникъ, можетъ быть, одинъ изъ тѣхъ, кто, по слову Господню, "недалекъ отъ царства Божія" (Мт. 12, 34), — во всякомъ случаѣ, ближе къ нему всѣхъ нынѣшнихъ — бывшихъ христіанъ. Міръ опрокинутый, перевернутый,

есть царство Божіе; это и значить: царству человъческому обратно церство Божіе; тамъ все наоборотъ.

Будутъ послъдніе первыми, и первые послъдними (Мт. 20,16).

Что высоко у людей, то мерзость предъ Богомъ (Лк. 16,15).

Душу свою сберегшій потеряетъ ее, а потерявшій... сбережетъ (Мт. 10,39).

Въ самомъ языкѣ Іисуса, сотканномъ изъ такихъ антитезъ — кажущихся противорѣчій, дѣйствительныхъ противоположностей, — слышится какъ бы до - временная, въ вѣчности усвоенная, привычка; ладъ и строй души, нечеловѣческіе, — музыка доносящаяся въ этотъ міръ изъ того, гдѣ все обратно - подобно этому, — все наоборотъ.

Горе богатымъ — блаженны нищіе; горе пресыщеннымъ — блаженны алчущіе; горе смъющимся — блаженны плачущіє; горе любимымъ — блаженны ненавидимые: рядъ Блаженствъ — рядъ переворотовъ, полетовъ внизъ головой, радостно - ужасающихъ. Въ небъ перевернутая, опрокинутая, какъ предметъ отраженный въ зеркалъ водъ, всякая тяжесть земная становится легкостью, всякая печаль — блаженствомъ; и на оборотъ: здъшняя легкость становится нездъшнею тяжестью, земное блаженство — небесной печалью.

#### IX.

Здѣсь еще, на землѣ, восторжествуетъ праведникъ, а злодѣй будетъ наказанъ. Царство Божіе есть пресвѣтленный, возвышенный, очищенный Богомъ, но все еще стоящій, какъ стоялъ всегда, неопрокинутый міръ: въ это вѣрятъ Псалмы; Іовъ уже не вѣритъ:

Пыткъ невинныхъ посмъивается (Богъ). — Въ руки нечестивыхъ отдана земля; лица судей земныхъ Богъ закрываетъ.

Если не Онъ, то кто же? ( Говъ 9,23 - 24).

Видитъ и слѣпой — зрячій Эдипъ, что "лучше всего человѣку совсѣмъ не родиться, а родившись, умереть поскорѣй".

Іисусъ — Іовъ - Эдипъ — обратный: больше ихъ страдаетъ и лучше ихъ знаетъ "власть тьмы", царящую надъ міромъ; но знаетъ и то, чего не знаютъ они: зло для нихъ безконечно, а Онъ видитъ, что "близко, при дверяхъ", Конецъ (Мк. 13, 29); міръ во злѣ стоитъ для нихъ, а для Него опрокинутъ; царства Божія не знаютъ они, а Онъ знаетъ, какъ никто никогда не зналъ, потому что Онъ самъ — Царь. Вотъ почему тѣ несчастны, а Онъ блаженъ.

#### X.

Сынъ превращаетъ Отчій законъ въ свободу.

Слышали вы, что сказано древнимъ? А я говорю вамъ (Мт. 5, 21-22), —

по - арамейски: wa-na amar lekhon, — вотъ рычагъ, которымъ опроопрокидываетъ міръ Іисусъ. Сказано древнимъ въ законѣ, а Онъ говоритъ въ свободѣ. Добрыхъ Богъ награждаетъ, злыхъ казнитъ, въ законѣ, а въ свободѣ:

Солнцу Своему повелъваетъ Отецъ вашъ небесный всходить надъ злыми и добрыми, и дождь посылаетъ на праведныхъ и неправедныхъ (Мт. 5,45).

Добрыхъ отъ злыхъ отдъляетъ законъ; свобода соединяетъ ихъ. Только добрыхъ спасаетъ законъ; добрыхъ и злыхъ спасаетъ свобода.

Слуги царевы, посланные звать гостей на брачный пиръ, — выйдя на дороги, всѣхъ собрали, кого только нашли, и злыхъ, и добрыхъ; и наполнился брачный пиръ возлежащими.

Царь же, войдя посмотръть возлежащихъ, увидълъ тамъ человъка въ одеждъ небрачной...

И сказалъ царь слугамъ:... бросьте его во тьму внъшнюю; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ.

Ибо много званныхъ, но мало избранныхъ (Мт. 22, 10-14).

Кто этотъ человъкъ въ небрачной одеждъ? Злой? Нътъ, злые съ добрыми здъсь неразличимо смъщаны. Кажется, "небрачный",

значитъ: не "обратившійся", не "перевернувшійся", не перешедшій изъ этого міра въ тотъ, не "блаженный", не "избранный".

## XI.

Выбралъ Онъ Себѣ въ Апостолы самыхъ грѣшныхъ людей, сверхъ всякой мѣры грѣха, — скажетъ Посланіе Варнавы, отъ временъ Мужей Апостольскихъ. Судя по тому, что самимъ Іисусомъ Іуда названъ будетъ "діаволомъ" (10. 6, 70), а Петръ — "сатаною" (Мк. 8, 33), такъ оно и есть. "Выбралъ Себѣ въ ученики негодяевъ отъявленныхъ", — скажетъ Цельзъ, (ІІ-ой вѣкъ), разумѣется, ничего не понимая и злобно преувеличивая, но спроситъ, кажется, съ искреннимъ недоумѣніемъ: "почему такое предпочтеніе грѣшниковъ?" Съ тѣмъ же недоумѣніемъ могли бы спросить объ этомъ всѣ, отъ Канта до Сократа, учителя "нравственности".

Мытари и блудницы впереди васъ (праведниковъ) идутъ въ царство Божіе (Мт. 20,16), — скажетъ Господь. Мытари, telonai, по Талмуду, — "тѣ же разбойники".

И къ злодъямъ причтенъ (Мк. 15,28), — будетъ Самъ Іисусъ. Въ сонмъ блудницъ и мытарей, Онъ — "злодъй" среди злодъевъ, "отверженный" среди отверженныхъ, "проклятый" среди проклятыхъ.

Этотъ народъ — невѣжда въ законѣ; проклятъ онъ (10. 7, 40),— скажутъ люди закона о всѣхъ идущихъ за Іисусомъ, "беззаконникомъ". "Проклятъ темный народъ", ат haarez, — вотъ это - то "проклятье" и будетъ Благословеніемъ, Блаженствомъ, по закону "опрокинутаго міра", — царства Божія.

# XII.

Равенство въ законъ — безличность; личность въ свободъ — неравенство: будетъ и этимъ рычагомъ опрокинутъ міръ.

Кто имъетъ, тому дано будетъ, и пріумножится; а кто не имъетъ, у того отнимется и то, что имъетъ (Мт. 12,12), —

вотъ для мѣры силъ человѣческихъ невыносимая, возмутительная, душу переворачивающая несправедливость, неравенство, — какъ бы нарочно въ лицо всей человѣческой справедливости брошенный вызовъ.

Въ этомъ смыслъ, не только вся Нагорная проповъдь, все ученіе Христа, но и вся Его жизнь — не что иное, какъ опрокинутый законъ. Міръ будетъ спасенъ величайшимъ изъ всъхъ злодъяній — Богоубійствомъ Голгооскимъ: Крестъ — всъхъ опрокинутыхъ законовъ, перевернутыхъ справедливостей вънецъ.

Сколько бы ни доказывалъ Кантъ, что христіанство есть "ученіе нравственное" прежде всего, — съ тъмъ же, если не съ большимъ, правомъ, могутъ доказывать другіе. что христіанство "безнравственно". Главное во всякой и въ собственной Кантовой этикъ — "категорическій императивъ" долга, а въ Нагорной проповѣди тотъ же императивъ опрокинутъ. Нътъ, ужъ если говорить о нравственности, то всь религіи, отъ Моисеева Закона до Ислама, всь философіи, отъ Сократовой до Кантовой, подводять болье широкое и твердое, потому что болъе общедоступное, въ мъру человъческихъ силъ осуществимое, основаніе подъ нравственность, нежели христіанство, съ его нечеловъческой безмърностью, таинственной "превратностью", — уходомъ изъ трехъ измъреній въ четвертое, гдъ "все наоборотъ". Самое шаткое изъ всъхъ равновъсій, конусъ, поставленный на остріе, — вотъ что такое христіанство. Дорого обошлось оно людямъ, — не слишкомъ - ли дорого? Но, прежде, чъмъ это ръшать, надо бы подумать: можно ли было меньшей цвной спасти погибающій мірь?

## XIII.

Дътскую игрушку, Ваньку - встаньку, напоминаетъ человъкъ, съ тою лишь разницей, что у того человъка, игрушечнаго, свинцовый грузъ — въ ногахъ, а у настоящаго — въ головъ. Ваньку - встаньку нельзя опрокинуть, все подымается на ноги, а человъка нельзя поднять, — все падаетъ, какъ палъ Адамъ, согръшивъ. Первородный гръхъ и есть этотъ, къ низу тянущій обратнаго Ваньку - встаньку, свинцовый грузъ. Падшаго въ людяхъ Адама поднять не можетъ никакой законъ, никакой императивъ, никакая нравственность. Чтобъ

это сдълать, надо перемъстить въ человъкъ центръ тяжести. Это и дълаетъ Нагорная проповъдь.

Не собирайте себъ сокровищъ на землъ... но собирайте себъ сокровища на небъ...

Ибо, гдъ сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше (Мт. 6, 19-21).

Радуйтесь въ тотъ день и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесахъ (Лк. 6, 22-23).

Сердце человъка — истинное сокровище, — тянущій грузъ, уже не свинцовый, а золотой, — перемъстится, и обратный Ванькавстанька, падшій Адамъ, встанетъ на ноги. Если царство Божіе есть "опрокинутый міръ", то и обратно, міръ есть опрокинутое царство Божіе. Снова опрокинуть разъ уже опрокинутое, перевернуть перевернутое, — это и значитъ: возстановить, выпрямить, поднять падшій, оживить мертвый, спасти погибающій міръ.

Это безконечно просто, и не трудно, а невозможно людямъ, кромъ одного Человъка — Іисуса; этого не только никогда никто не дълалъ, но никому не приходило и въ голову, что это вообще можно сдълать.

## XIV.

Горе наше въ томъ, что, за двѣ тысячи лѣтъ, мы такъ привыкли къ словамъ Его (какъ будто можно къ нимъ привыкнуть, если только услышать ихъ разъ), что уже оглохли, ослѣпли къ нимъ окончательно; твердимъ ихъ, какъ таблицу умноженія, безсмысленно. Но, еслибъ мы могли чуть - чуть отвыкнуть отъ нихъ и вдругъ услышать ихъ такъ, какъ будто они сказаны не за двѣ тысячи лѣтъ, а вчера - сегодня, то, можетъ быть, мы удивились бы, ужаснулись; поняли бы вдругъ, что это самыя неимовѣрныя, невыносимыя, невозможныя для насъ, "безумныя", какъ дважды два пять, самыя нечеловѣческія изъ всѣхъ человѣческихъ словъ. И всего неимовѣрнѣе, можетъ быть, то, что Онъ говоритъ ихъ такъ просто. Въ каждомъ словѣ Его, опрокинутъ міръ, съ такою же бездонно - тихою ясностью, какъ въ совершенно - гладкомъ зеркалѣ водъ — отраженные въ нихъ берега. Самое тяжкое,темное, страшное для насъ, Онъ говоритъ, какъ самое простое, ясное, легкое. "Кто потеряетъ душу свою, тотъ сбережетъ

ее". Многіе, можетъ быть, и до Него это предчувствовали, какъ блаженно - ужасающую тайну, но Онъ первый это сказалъ такъ, какъ всѣмъ понятную и очевидную истину, какъ дважды два четыре, но въ мірѣ не трехъ, а четырехъ измѣреній. Въ томъ - то именно и главная особенность Его, что глубочайшее и сокровеннѣйшее, опрокидывающее міръ съ неодолимою силою, говоритъ Онъ такъ просто, легко и естественно, какъ будто не можетъ быть и наче, и это всѣмъ извѣстно, а Онъ только напоминаетъ забытое, открываетъ то, что у всѣхъ людей въ душѣ.

Если кто приходить ко Мнѣ и не возненавидить отца своего, и матери, и жены, и дѣтей, и братьевъ, и сестеръ, а притомъ и самой жизни своей, тотъ не можетъ быть Моимъученикомъ (Лк. 14,26), —

эти, раздирающія наше сердце, слова Онъ говоритъ такъ тихо и ласково, какъ и мать не говоритъ съ ребенкомъ. Но мы должны помнить какъ все это неимовърно, неслыханно, перевернуто, обратно или даже "превратно": да, лучше это считать губительно-превратнымъ, "демоническимъ", чъмъ къ этому привыкнуть, какъ мы привыкли. Тъ, кто ненавидитъ Его, ближе къ Нему и правъе тъхъ, кто лишь терпитъ Его и считаетъ Нагорную проповъдь "отчасти полезною", — "ученіемъ нравственнымъ прежде всего".

## XV.

"Кто не возненавидить отца своего и матери"... Хочется, не дослушавь бъжать отъ страха, но, можеть быть, потому именно, что не дослушаль. Если это кажется "возмутительнымъ", "противоестественнымъ", то, можеть быть, потому, что принято, какъ новая заповъдь, законъ, повелъніе: "возненавидь". Но въдь это вовсе не такъ. Върно-понятыя слова Его страшно о с в о б о ж д а ю т ъ насъ, а не порабощаютъ; ставятъ передъ нами цъли, задачи, а не законы. Требуетъ ли Онъ чего нибудь, повелъваетъ - ли, принуждаетъ - ли? Нътъ, только сообщаетъ опытъ, непреложно - ясный, хотя и не нашему, а иному, какъ будто опрокинутому, а на самомъ дълъ, можетъ быть, возстановленному, здравому смыслу, гдъ все наоборотъ нашему смыслу- мнимо - здравому, больному, искаженному.

Столь непонятное, страшное для насъ, въ Его не испытанной нами любви, небесно - земной, а g a p ê, становится простымъ, легкимъ и радостнымъ въ нашей любви, только земной — эросъ. "Любви врага твоего". Если въ плотской любви одинъ любитъ, а другой ненавидитъ, то любящій любитъ и врага, и это такъ естественно, что ему не надо говорить: "любви". — "И оставитъ человъкъ отца и мать, и прилъпится къ женъ своей" (Мт. 5), — столь же естественно.

Нътъ, вовсе не говоритъ Онъ: "оставь", "возненавидь"; Онъ только говоритъ: "возненавидишь", "оставишь". Вовсе ничего, для Себя отъ человъка не требуетъ, а только соблазняетъ его, плъняетъ Собой, влюбляетъ въ Себя; не повелъваетъ ничего, а лишь открываетъ, что было, есть и будетъ въ человъкъ, или можетъ быть всегда, — скрытое въ немъ и всегда готовое открыться — Блаженство.

## XVI.

Съ Богомъ былъ Іисусъ, какъ никто изъ людей, и, если быть съ Богомъ, значитъ блаженстовать, то Онъ, какъ никто изъ людей, былъ блаженъ. Только что новый Адамъ вышелъ изъ рая, и раемъ пахнетъ еще отъ Него. Души человъческія, всъ одинаково, злыя и добрыя, помнятъ этотъ райскій запахъ и летятъ на него, какъ пчелы на запахъ цвътовъ: тянутся къ Іисусу неудержимо, какъ компасныя стрълки — къ магнитному съверу. Всъхъ увлечетъ Онъ на мигъ въ блаженство Свое: этотъ-то мигъ — въчность и есть Царство Божіе.

Первый Адамъ и послѣдній — одинъ и тотъ же. Весь тонъ исторіи — времени — какъ бы сонъ Адама въ раю, гдѣ съ древа жизни вкушаемые плоды — Блаженства.

Память о рав — Блаженствахъ — есть у всвхъ людей въ душв, а «Сынъ Человвческій — только превый проснувшійся, вспомнившій Адамъ.

Отче! Ты возлюбилъ Меня прежде основанія міра.

(Io, 17, 24-25), —

вотъ религіозный опытъ Іисуса, нами не сдівланный, невозможный для насъ. Тутъ кончается вся наша земная Евклидова геометрія; тутъ мы — "комнатныя собачки", подбирающія крохи подъ сто-

ломъ (Мш., 15, 27); но и у крохъ тотъ же вкусъ, какъ у хлѣба на столѣ — плода съ дерева жизни. Опыта Блаженствъ нѣтъ у насъ, и мы почти ничего не знаемъ о нихъ; но глядя въ лицо Его, слыша голосъ Его, не можемъ не чувствовать, что это и для насъ возможно, по крайней мѣрѣ, желанно. Кто понялъ Блаженства, тотъ принялъ ихъ, потому что сердцу человъческому этого нельзя не желать.

Ваши же очи блаженны, что видятъ, и уши ваши, что слышатъ, (Мш., 13, 16).

Всъ Блаженства въ томъ и заключаются, чтобы это видъть и слышать, — знать, что это есть.

## XVII.

Будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный (Мш., 5, 48).

Ясно, или кажется яснымъ,что этого не только исполнить, но и помыслить человъку нельзя. Зачъмъ же Онъ этого требуетъ, или къ этому зоветъ, манитъ? Зачъмъ объ этомъ говоритъ, какъ о самомъ простомъ, очевидномъ и даже какъ будто легкомъ: "бремя Мое легко"? Кто возлагалъ на людей болъе тяжелое бремя?

Но вотъ что удивительно: сердце наше, внимая словамъ Его, все таки знаетъ — вспоминаетъ, что тяжесть эта можетъ вдругъ сдълаться легкостью.

# И върится, и плачется И такъ легко, легко...

Каждый изъ насъ, внимая Блаженствомъ, вспоминаетъ или могъ бы вспомнить, если бы такъ страшно не забылъ, свой дътскій, райскій сонъ, то, что своими ушами слышалъ, своими глазами видълъ на горъ Блаженствъ.

Что же ты потупилась въ смущеньи? Погляди, какъ прежде, на меня. Вотъ какой ты стала — въ униженьи, Въ ръзкомъ, неподкупномъ свътъ дня.

Я и самъ въдь не такой, — не прежній, Недоступный, гордый, чистый, злой, Я смотрю добръй и безнадежнъй На простой и скучный путь земной.

А. Блокъ.

Мит кажется, со временемъ много будетъ написано объ атмосферт тридцатыхъ годовъ въ Парижъ, потому что въ Парижъ, волей судьбы, перемъстился центръ — не русской жизни и не русской литературы, конечно, но нъкоторый очень важный центръ — «человъка своего столътія».

Въ каждомъ стольтіи люди наново отражають внъвременный, цълостный моменть — жизнь; и чъмъ напряженные внъшняя обстановка даннаго стольтія, чъмъ она страшнье и безпощадньй, чъмъ мучительные внутреннее состояніе душъ, тымъ высота постигаемаго, хочется върить, должна быть человъчный и чище.

Для насъ, такъ называемыхъ второго и третьяго покольній эмигрантской молодежи, мнъ кажется, было бы очень важно попытаться поставить вопросъ о человъкъ тридцатыхъ годовъ, постараться, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, осознать его основныя чувствованія. Эта тема, я думаю, должна затронуть лишь тъхъ, для кого катастрофа дъйствительно произошла, для кого несомнънна пропасть между прошлымъ и настоящимъ. Тъмъ же, для кого внъшнія событія представляются лишь безъ труда устранимой (въ принципъ) преградой извнъ, преодолжать которую, можно будетъ вновь начать благополучно строить, — продолжать традиціи, тема эта мало что скажетъ.

Сейчасъ не время спорить и что - то доказывать. Можно лишь стремиться выразить свое чувствованіе, заранье зная, что выводы, которые изъ словъ можно было бы сділать, окажутся въ противорічни съ логикой... Все какъ будто погибло, дышать, дійствительно, нечімь, а жизнь и поэзія все таки будуть продолжаться.

Самое страшьое изъ всего того, что увидели послевоенныя поколенія

— «то, что оказалось», дневной свёть, «неподкупный и грубый». Свёть этоть образоваль въ современномъ сознаньи какъ-бы освёщенное пятно. Можно держаться въ сторонъ, т. е. сознательно не хотъть выйти на провърку: въ этомъ случать многое можно сохранить, отстаивать, продолжать. Но вст цънности будуть цънностями лишь до границы освъщеннаго пятна, и тъ, кто не могутъ оставаться на мъстъ, подпадаютъ немедленно подъ дъйствіе разрушительныхъ лучей.

Начавшееся десятильтие следуеть по слову поэта Юнга назвать «періодомъ обнаженной сов'єсти». Сов'єсть тревожить: сов'єсть заставляеть провърять себя, формулы, имъвшія прежде значительность и убъдительность, оказываются «только словами». Непосредственное соприкосноваейе съ грубой и страшной жизнью, со смертью, съ судьбой, съ «законами жельзной необходимости» по выраженію того же поэта, образовали въ сердив современнаго человъка особое чувство, пробный камень. Всякая внутренняя фальшь, поза, неискренность, этимъ чувствомъ выводятся на свъть. Благодаря этому чувству нестернимо то, что прежде принималось иногда какъ духовное обогащенье — риторика, схоластика, безответственная игра съ несказаннымъ. «Не знаю», «не умъю», «не могу объ этомъ говорить» воспринимаются сейчасъ съ большимъ вниманіемъ, чёмъ тё конценціи о Смерти, Богё и судьбахъ человъка, гдъ такъ много эрудиціи и такъ мало искренности. Вотъ почему «Смерть Ивана Ильича» современнику говорить больше, чёмъ Вл. Соловьевъ; чувство, велевшее Толстому остановиться у порога смерти, ему нонятнъе, понятнъе, чъмъ «слова, слова и слова».

Въ отношеніи себя, въ отношеніи своего, современный человѣкъ пережиль глубокое разочарованіе. Онъ научился не слишкомъ довѣрять себѣ, онъ требуеть отъ себя правдивости, онъ суровъ, серьезенъ. Линія внутренней жизни современнаго человѣка представляеть собою постепенное изживаніе «человѣка внѣшняго», смѣну его «внутреннимъ», но внутреннимъ не въ смыслѣ раскрытія предполагаемой метафизической сущности своего я, а такимъ, который хотя бы самому себѣ не лжетъ, который хочетъ прорваться къ дѣйствительному знанью — что есть въ себѣ, въ другомъ, тѣмъ, кто готовъ принять послѣдствія, какой бы неприглядной и мучительной не оказалось правда. Мучительность этого роста увеличивается тѣмъ еще, что совѣсть не есть извнѣ усвоенная задача, она вытекаетъ невольно изъ внутренней предрасположенности. Во внутреннемъ подвигѣ современнаго человѣка нѣтъ мѣста намѣренному отказу, предрѣшенному ограниченію, лишенію себя чего либо.

Въ этомъ основное различіе современнаго и предшествующихъ поко-

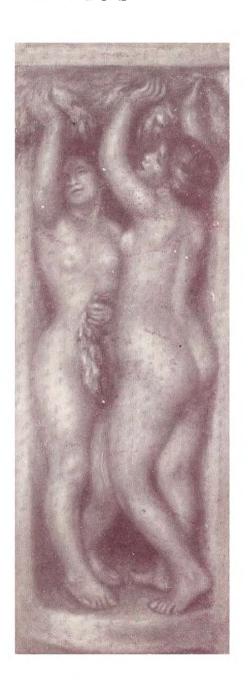
леній, которыя вдохновлялись жертвенностью во вне, и темь самымь — негко принимали пафосъ утвержденія, героизмъ и т. п. Современный человекъ совсемь не герой. Это обыкновенный человекъ на обыкновенной земле, который, независимо отъ желанія, видить и замечаеть, верне, не можеть не видеть и не замечать, и, не встречая ответа, потерявь способность удовлетворяться полуответами, принужденъ — мужественно или не мужественно, въ его положеніи это безразлично, оставаться связаннымъ со всею тьмой и безысходностью міра. А такъ какъ онъ человекъ, — потерявъ все, онъ еще съ большей остротой чувствуеть свое человеческое, — онъ долженъ пытаться понять, пытаться къ чему то прійти, долженъ любить, ненавидёть и хотёть счастья.

Туть — только вопросъ, напряженный, мучительный, операція безъ наркоза. Былое имущество роздано, богатый евангельскій юноша сталъ нищъ и нагъ. Но не знаю, согласился бы онъ взять назадъ свое богатство, если-бъ могъ? Думаю, онъ бы не захотёлъ и даже если-бъ захотёлъ, не смогъ. Это значило-бъ зачеркнуть самаго себя — пусть въ пустоте, пусть въ недоумёніи и въ незнаніи передъ міромъ остановившагося.

Современный человъкъ нищъ и нагъ, потому, что онъ совъстливъ. Онъ могъ бы задрапироваться въ любыя ткани, онъ могъ бы, не хуже прежняго, выбирать матеріи, цвъта и оттънки, но не хочеть. Мнъ кажется, эта воля, — отказъ, объдненіе, ръшимость выдерживать одиночество, выносить пустоту — самое значительное, что пріобръло новое покольніе, и дай Богъ, чтобы лучшая часть нашихъ молодыхъ поэтовъ и писателей устояла и не соблазнилась легкой дешевой удачей — литературной — толпы ради.

Въ прошломъ году въ кружкахъ молодежи велись горячіе споры объ «эмигрантскомъ Гамлеть» и гитлероподобныхъ «двтяхъ Каина». (Подъ Каинизмомъ разумвлся фашизмъ, и другія теченія, вплоть до намвренія взамвнъ «устарввшаго христіанства» создать новую и религію могущества»). Что же дальше?

Рыцарь бѣдный, Гамлеть, раздавшій свое имущество, бронированныя группы упрощенцевь, по своему такихь же искреннихь, когда нибудь должны будуть перейти на положеніе отцовь. Что принесуть съ собой люди тридцатыхъ годовь — уединенные мечтатели и «каиниты»? Есть очищенье пустотой, пустынножительство, и есть голая, неприкрытая пустота: стиснувь зубы, умирай. И Гамлеть и Каинъ эмиграціи въ страшномъ положеніи; какъ распорядится молодежь тригцатыхъ годовъ своей совъстью?



«Ein Rätsel ist Reinentsprungenes», сказаль поэть. Тайна все что не сдёлано, а родилось, все единое, въ единствъ простое. Такую простоту мы можемъ понытаться разгадать только номысливь ее, какъ сложность, только произведя надъ ней насиліе, то самое насиліе, какое необходимо бываеть произвести каждый разъ на каждой выставкв Ренуара. Такъ, гдф собрано нфсколько его холстовъ, передъ нами онъ весь. И не потому, чтобы легко было представить вст разновидности его искусства, вст ступени его развитія, но потому что онъ весь безъ остатка, въ каждомъ своемъ полотив, въ каждомъ наброскъ, все равно, въ самихъ раннихъ своихъ созданіяхъ или въ виденіяхъ последнихъ леть, которыя сведеннымъ бользнью пальцамъ дряхлаго живописца еще удалось приколдовать къ холсту.

Въ живописномъ расцвътъ семидесятыхъ годовъ онъ завоевалъ себъ незамъняемое мъсто. Намъ кажется теперь болъе, чъмъ естественнымъ, почти необходимымъ, чтобы рядомъ съ предсмертными картинами Коро, съ наиболъе зрълыми акварелями Іонгкинда и Будэна, рядомъ съ лучшими работами Писсарро, Моне и



Сислея, появились пейзажи юнаго Ренуара, гдв столько сіянія, льта и тепла. По правде сказать чемъ больше мы ими любуемся, чёмъ полнее ихъ воспринимаемъ, тъмъ меньше ощущаемъ потребности говорить по ихъ поволу объ импрессіонизмѣ. Впрочемъ и вообще, какъ разъ въ самыхъ соверпенныхъ вешахъ импрессіонистовъ не только нътъ никакой творческой предваятости, но часто и вообще нътъ соотвътствія техническимъ теоріямъ импрессіонизма. Лучшіе пейзажи Моне именно тѣ, гдѣ пространственное строеніе картины не принесено въ жертву ея свётовой и воздушной растворенности. И если Мане действительно есть основание противопоставлять всему, что было до него, то въ живописи Сислея, Моне или Писсарро и всего больше въ живописи Ренуара гораздо плодотворнъе увидъть ея внутреннюю связь съ искусствомъ барбизонцевъ, Коро, или даже нъкоторыхъ мастеровъ ХУПП века, чемъ отличія, о которыхъ столько говорили и которыя, глядя на полотна Ренуара, мы почти готовы свести къ нъкоторымъ новшествамъ, очень личнымъ, но совсемъ не такимъ глубокимъ и обобщающимъ, можетъ быть, какъ это некогда казалось.

Никто не вошель въ импрессіонизмъ такъ легко, какъ Ренуаръ; никто не вышель изъ него такъ есте-

ственно и такъ безбольно. Не следуетъ придавать, какъ это делалось за последнее время, слишкомъ большого значенія темъ сомненіямъ и той борьов, которыя пережиль Ренуаръ послв итальянскаго путешествія въ началь 80-хъ годовъ и о которыхъ онъ самъ разсказалъ Воллару. Такъ же невврно, впрочемъ, какъ изображать Ренуара послвдовательнымъ импрессіонистомъ, было бы видвть въ немъ мастера, ни въ чемъ импрессіонизму не родственнато и принципіально враждебнаго ему. Уже потому вражда не велика, что импрессіонизмъ для Ренуара не опасенъ. Иллюзіонистскаго распыленія формъ, декоративнаго уплощенія для него не существуетъ. И противопоставлено имъ не композиціонное мастерство, не архитектура цвлаго, которыя съ такимъ усиліемъ стремится имъ противоположить Сера, а нвчто болве прочное, инстинктивное, врожденное: чувство органически твлесной формы.

Все въ картинахъ Ренуара вытекаетъ изъ этого чувства и подчиняется ему. Оно такъ могущественно, такъ властно, именно потому, что чуждо всякой отвлеченности. Будь оно болъе отвлеченно, въ духъ представленій Пуссена, напримъръ, о равновъсіи и мъръ, о композиціонной геометріи, оно не устояло-бы, можетъ быть, противъ эстетики импрессіонизма. Но для чего Ренуару даже и бороться съ ней, когда все равно у него въ крови это ощущеніе пластичности, осязаемой поверхности, тълесной полноты вещей? Если ему есть съ чъмъ осваиваться и съ чъмъ бороться, такъ это съ импрессіонистской техникой. Но не забудемъ, что техника эта такъ же ему нужна, какъ и другимъ. Это она снабжаетъ его необходимыми средствами выраженія и она его дълаетъ живописцемъ. Это она отдълитъ его отъ Энгра и она же его впервые свяжеть съ традиціей Фрагонара и Ватто.

Правда, слёдовать до конца импрессіонистской техникѣ Ренуару не позволить его даръ. Отсюда то раздраженіе, та реакція противъ импрессіонизма, которыя у него намѣтились въ 80-хъ годахъ. Онъ становится временно безпокойнѣе и суше. Онъ выписываеть моделлирующія подробности формъ, онъ рисуетъ кистью на полотнѣ. Красочному очарованію его картинъ это не всегда идеть на пользу. И все таки, надо быть осторожнымъ въ истолкованіи этого времени. Не забудемъ двухъ истинъ. Въ самыхъ импрессіонистскихъ картинахъ молодого Ренуара, какъ въ пейзажахъ или въ «Moulin de la Galette» уже на лицо его органически тѣлесное воспріятіе формы. И съ другой стороны, послѣ «разрыва съ импрессіонизмомъ» нельзя у Ренуара наблюсти никакого приближенія къ линейному классицизму Энгра и нельзя не видѣть въ его вещахъ той освобожденной живописности, въ которой онъ не могь себѣ надолго отказать и которой онъ обязанъ импрессіонизму.

То, что наступило для Ренуара послѣ сомнѣній 80-хъ годовъ, это какъ разъ торжество живописи, полное сліяніе пластическаго зрѣнія съ зрѣніемъ

красочнымъ и свътовымъ. Съ самыхъ первыхъ опытовъ обозначилось у него стремленіе къ этому единству. Именно этимъ «Діана Охотница» 1866 г., одна изъ первыхъ его картинъ, отличается отъ своего образца, Курбе; именно этимъ вліяніе Мане ограничено для ранняго Ренуара. Однако до 80-хъ годовъ равновъсіе живописнаго и пластическаго воспринимается, какъ неустойчивое, какъ завоеванное по новому въ каждой новой картинъ. Позже равновъсіе это нерасторжимо и дано заранъе. Можетъ быть и оно и не равновъсіе уже; но если какая нибудь изъ сторонъ одержала въ немъ побъду, то это скоръе живопись вобрала въ себя пластическіе элементы, чъмъ они побъдили живопись. Пресловутый классицизмъ поздняго Ренуара не архитектуренъ, не разсудоченъ. Если его картины построены, то не какъ домъ, а какъ тъло; въ нихъ не прочность камня, а неистребимость жизни.

Всв его формы органичны прежде всего; и онв всв въ становленіи, а не въ бытіи. Отсюда все усиливающійся къ старости нантеизмъ его искусства. То всеобщее раствореніе частей въ цвломъ, которое въ импрессіонизмѣ служило иллюзіи, у него реализуется, переносится на вещи. Міръ уже самъ по себв воспринимается, какъ расплавленный, растворенный. Краски возникають и поють, формы протекаютъ и сливаются. Человѣческое становится дочеловѣческимъ, растительнымъ, природнымъ. Во всемъ — обожествленное здоровье, всеоживляющая жизнь. Твло требуетъ формы, но чувство твлесности можетъ преступить предвлы формъ. Въ гипертрофіи твлесности у стараго великаго живописца, въ этомъ превращеніи любой матеріи въ трепещущую плоть нѣтъ классической мѣры, нѣтъ эллинскаго предвла. Міръ уже не просто ясный день, но вѣчный полдень, растворяющій солнечный жаръ, истома, то паническое состояніе, котораго такъ страшился грекъ и въ которое сладострастно погружены всв послѣднія созданія Ренуара.

Нѣсколько лѣть тому назадъ, на распродажѣ собранія Ганья, можно было составить себѣ особенно полное представленіе объ этомъ Ренуарѣ послѣднихъ лѣтъ, — самыхъ волнующихъ, можетъ быть у него, если и не самыхъ совершенныхъ. На красныхъ тряпкахъ отеля Друо, въ безвкусныхъ рѣзныхъ рамахъ, эти картины и этюды, небольшіе или даже совсѣмъ маленькіе, казались на первый взглядъ какими то случайными пестрыми клочками. Посѣтители останавливались сразу передъ нѣсколькими, болѣе ранними немного, гармоническими и подкупающим композціями, вродѣ знаменитыхъ панно 1909 года и менѣе знаменитой «Раненой купальщицы». Вещи эти не слишкомъ характерны для «послѣдней манеры» Ренуара, а «послѣдняя манера» еще не всѣхъ убѣдила и привлекла. Многіе сопротивляются

этой живописи, не заботящейся ни о чемъ, кромѣ того, чтобы быть собою и расплывшейся, по ихъ мнѣнію, въ какомъ то приторномъ сиропѣ, свидѣтельствующемъ лишь о старческой разслабленности. Это непониманіе, можеть быть, лучше, чѣмъ нѣкоторые заранѣе готовые и поэтому подозрительные восторги, но оно все таки — непониманіе. Вѣрно одно: къ этому искусству лишь постепенно начинаешь присматриваться, постепенно привыкать и удивляться. Не сразу въ немъ увидишь все, что въ немъ нужно увидать.

Невнятно, непостроено — таково первое впечатленіе — хоть можеть быть всетаки и стройно. Пестро; и это правда, что Ренуаръ не колористь, въ строгомъ смыслѣ слова, т. е. что онъ совсѣмъ особо понимаетъ единство освъщенія и свъта: безъ «гаммы», безъ предустановленной тональности; но кто же станеть отрицать красоту и умъстность этихъ лиловыхъ и синихъ, красныхъ и розовыхъ тоновъ. Лицо, землю, плоды, деревья — все онъ пишеть одинаково, какъ то похоже одно на другое, слитно; но зато во всемъ этомъ — то же льто, та же страстная растительная жизнь. Быть можеть тайна этой живописи въ отсутствіи всякой отвлеченности, въ безпрепятственномъ, ничьмъ не опосредствованномъ сліяніи двухъ конкретностей: красокъ природы и тахъ, что покупають въ магазинъ, міра и палитры. Никогда не было короче разстояніе между видимымъ міромъ и холстомъ; никогда живопись не была такъ не отдълима отъ руки и глаза. Въ этомъ ея границы, но въ этомъ и ея торжество. Многимъ великимъ художникамъ старость принесла последнюю глубину, последнее одухотвореніе; позднія работы Тиціана, Рембрандта, это не живопись больше, это сама душа. Но къ старому Ренуару именно живопись пришла во всей ся силь и славь: и она замьнила ему душу.

Многое теперь болье ему не нужно. Пъвучія композиціи, какъ еще недавно въ «Раненой купальщиць», въ «Одь цвьтамъ», все меньше его плыняють. Глаза и губы, которые онъ такъ любилъ нисать, мягкій ритмъ спины и ногъ, почувствованный во всемъ міръ только имъ — со всьмъ этимъ онъ готовъ разстаться. То, что онъ пишетъ теперь, это уже не картины, — только живопись. Альберъ Андрэ, его другъ, сказалъ: «Живопись у него въ крови и деспотизмъ этой любви тяготьетъ надъ всей его жизнью», можно было бы прибавить теперь: и надъ самой живописью. Все ушло, все отпало, осталась она одна, такая, какой онъ хотьлъ ее всю жизнь. Эти безпомощные, скрюченные пальцы не возсоздаютъ природу, они ее продолжають на холстъ. И никогда еще не былъ Ренуаръ болье великимъ живописцемъ.

I

Передъ войной существовали три стихіи музыкальнаго творчества: германская, латинская и славянская. Синтезомъ латинской музыкальной культуры къ этому времени были музыка Дебюсси и достиженія импрессіонистской школы, которыя стали національнымъ факторомъ французской музыки, и были слѣдствіемъ періода длительной борьбы съ германской гегемоніей. Національныя достиженія достались латинизму отчасти слѣдствіемъ преодолѣнія, отчасти цѣной разрыва съ германизмомъ.

Славянская музыкальная культура, осуществлявшаяся тогда исключительно Россіей, (также какъ латинская Франціей) послужила для латинской Европы союзницей. Она оказалсь вспомогательной силой для преодолвнія непоколебленной до той поры власти германской музыки. Оглядываясь сейчась на это недавнее прошлое, мы можемъ уже съ достаточной отчетливостью сдёлать этоть выводь, констатируя его, какь историческій факть. Связь между французской и русской музыкой создалась не столько вслёдствіе эстетических вкусовь и влеченій, сколько на почві антагонизма двухъ культуръ: латинской и германской, органически другъ другу противоположныхь, какь по матеріальной, такь и по эстетической природів. Молодая сила русской музыки, съ ея варварской свёжестью и новизной, оказалась вовлеченой въ эту борьбу. Руская музыка стала трамилиномъ, отталкиваясь отъ котораго французы пробудились къ осознанію своего національнаго лица, утраченнаго ими къ концу 19-го стольтія подъ воздыйствіемъ намцевъ. Соки молодой русской музыки напитали здоровьемъ латинскую музыкальную Европу, вызвавъ ее къ самостоятельной жизни, послѣ длительнаго оцѣпененія, въ которое она была погружена въ конці прошлаго столітія, т.-е. въ період'я ложно-классическаго и постъ-романтическаго германскаго «владычества», казавшагося до этого контакта съ русской музыкой несокрушимымъ. Чары Bayreuth'скаго колдуна привели къ оценению весь музыкальный міръ. Не было большаго гипноза, чёмъ тотъ, который былъ созданъ Вагнеромъ къ концу 19-го въка. Непогръщимый въ смыслъ своихъ критическихъ и эстетическихъ оцънокъ, Бодлеръ былъ первымъ въ Парижъ поддавшимся этому гипнозу...

Русскіе музыканты прошли черезъ длительный періодъ вліянія нівмцевъ. Съ момента возникновенія музыкальнаго искусства въ Россіи, какъ самостоятельной національной школы, (т.-е. начиная оть Глинки) они добровольно шли на выучку къ немецкимъ мастерамъ, отдавая имъ первенство передъ всёми остальными въ мірѣ. Позднѣе это стало прочной традиціей, утвердившейся, какъ въ области профессіональнаго музыкальнаго образованія въ Россіи, такъ и въ акалемическихъ музыкальныхъ Между тымь, уже въ періоды дыятельности «могучей кучки», существовала въ Россіи р'єшительно выраженная тенденція преодолінія зависимости русской музыки отъ нфмецкихъ вліяній, съ цфлью созданія своей музыкальной культуры, чисто національной и органически самобытной. Высшими творческими выразителями этихъ стремленій были Мусоргскій и Чайковскій. «Западникъ» Чайковскій быль антиподомь Мусоргскаго. Понимая смысль русской музыки, какъ обработку національной природы средствами западной техники, онъ находилъ немыслимымъ разрывъ съ западнымъ канономъ по существу. Но вм'єсто німецкаго канона Чайковскій предпочель канонь итало-фрацузскій, принявь его въ томъ видь, какъ этоть канонь сложился къ концу 19-го столетія. Это поставило его въ оппозицію къ темъ кругамъ русскихъ музыкантовъ, которые считали связь съ нъмцами для русской музыки чёмъ-то безспорнымъ, непреложнымъ. Мусоргскій утверждалъ разрывъ ръщительно и категорически съ какимъ бы то ни было западнымъ канономъ. Его принципы въ отношении Запада были анархичны. Мусоргский вфриль въ необходимость для Россіи специфически-національной музыкальной культуры, абсолютно независимой отъ какихъ бы то ни было иноземныхъ вліяній.

Римскій-Корсаковь, помимо личнаго творчества, отдавшій много силь созданію прочныхь основь профессіонально-музыкальнаго образованія въ Россіи, заняль позицію промежуточную между Мусоргскимь и Чайковскимь. Онь не быль ни чистымь народникомь, какъ Мусоргскій, ни рішительнымь западникомь, какъ Чайковскій. Его позиція была компромисной, какъ въ отношеніи Мусоргскаго, такъ и Чайковскаго; къ тому же, онъ не принималь уклона Чайковскаго въ сторону латинскаго Запада, а сохраняль вірность первончальной традиціи русской школы въ ея подчиненіи німецкимъ формальнымь методамь. Такая позиція и предопреділила, какъ характерь

его культурной дѣятельности, такъ и его личное творчество. Послѣ него, ту же линію подчиненія русской школы нѣмецкому формальному канону и композиціонному методу, упорно поддерживаль Глазуновъ, принявшій эту традицію по наслѣдству отъ Римскаго-Корсакова, и охранявшій ее слѣпо, не провъряя и не переоцѣнивая. Личное творчество Глазунова въ сферѣ русскаго симфонизма имѣеть, на мой взглядъ, самостоятельное значеніе. Къ нему со временемъ могутъ еще вернуться; но роль его культурной дѣятельности въ отношеніи русской школы, всецѣло опредѣлилась позиціей, занятой имъ въ прямой послѣдовательности и зависимости отъ Римскаго-Корсакова.

Таковы были основныя линіи развитія русской школы къ тому моменту, когда оказался замкнутымъ кругъ дѣятельности «могучей кучки» и ея достиженія стали достояніемъ академизма. Вліяніе нѣмцевъ на русскую музыку въ ея младенческомъ состояніи было живымъ и плодотворнымъ. Тогда это былъ контактъ съ классиками и воздѣйствіе раннихъ романтиковъ. Въ годы Римскаго-Корсакова и Глазунова, связь съ чистыми источниками германской классики и романтизма переродилась въ подчиненіе ложно-классической схоластикѣ, задрапированной въ постъ-романтическую идеологію, которой музыкальная жизнь этой эпохи и характеризовалась.

Мусоргскій быль первымь выразителемь «скифской» проблемы русской музыки. Онь искаль воплощенія сырой народной стихіи, полагая, что единственно она является органическимь выраженіемь Россіи. Въ этомь быль его пафось. Теперь никто не оспариваль того, что на пути овладівнія народной музыкальной стихіей, Мусоргскій создаль и мірь совершенно самобытныхь формальных в цінностей, но еще недавно это упорно отрицалось въ самомь русскомъ музыкальномь кругу, въ кругу академическомь, разумічется, а не передовомь. Понадобилось воздійствіе русской музыки на французскую въ лиці Дебюсси и импрессіонистовь, и обратное воздійствіе этой французской музыки на русскую, для того, чтобы и формальныя достиженія Мусоргскаго стали общимъ достояніемь.

Въ началѣ 20-го столѣтія въ Россіи наиболѣе характерными выразителями новыхъ теченій были: Скрябинъ на крайней лѣвой позиціи, и Метнеръ на крайней правой. Метнеръ и Скрябинъ были полюсами русскаго декадентства и модернизма. Скрябинъ появился въ лонѣ русской національной школы, (1-ая симфонія) но увлеченный въ «экстра-музыкальые» міры, онъсчель національну юпроблему русской музыки чѣмъ-то очень второстепеннымъ и несущественнымъ въ сравненіи съ тѣми эсхатологическими мечтаніями, которыя питали его музу. Въ зрѣлый періодъ своего творчества, онъ

окончательно ушель оть всёхъ традицій русской школы и сталь въ такой же мёрё абсолютистомъ западничества, въ какой Мусоргскій быль націоналистомъ. Метнеръ, вскормленный всецёло нёмецкой музыкой, занялъ, въ отношеніи русской школы какъ таковой, позицію не столько радикально консервативную, какъ тогда казалось, сколько почти парадоксальную въ томъ смыслё, что для него русская музыка, какъ искусство самобытно-національное, вообще, была подъ знакомъ вопроса. Будучи консерваторомъ и эпигономъ постъ-романтическаго наслёдія нёмцевъ, онъ въ то же время искаль новыхъ формъ и новой системы музыкальнаго мышленія, но въ полномъ и рёшительномъ подчиненіи нёмецкой музыкѣ, считая національную культуру русской музыкальной школы какъ бы не существующей. Мнё кажется, поэтому, что независимо отъ индивидуальнаго значенія его музыки, изъ русской музыки онъ выпадаеть и что правильнёе считать его нёмецкимъ музыкантомъ, чёмъ русскимъ.

Въ годы, когда кончилась въ Россіи живая роль національной школы, осуществлявшаяся «могучей кучкой», въ Германіи считали, что нѣмецкой музыкой исчернывается, вообще, вся музыка въ мірѣ. Къ русской же музыкѣ тамъ продолжалось все еще отношеніе только, какъ къ «провинціи» въ своемъ же государствѣ. Метнеръ былъ выразителемъ этой тенденціи въ русскомъ модернизмѣ начала 20-го столѣтія.

Французы же въ эпоху модернизма стали естественнымъ образомъ союзниками русскихъ, такъ какъ «скифская» проблема русской музыки оказалась въ соотвътствии съ созръвшей къ этому времени и для фанцузскихъ музыкантовъ, необходимостью преодолънія зависимости отъ нъмцевъ.

Стравинскій появился въ этой исторической перспективѣ. При немъ живая связь между русской и французской музыкой стала уже совершившимся фактомъ. Его творчество въ первомъ періодѣ послужило укрѣпленію этой связи и обозначило еще большее разъединеніе между музыкой русской и французской съ одной стороны и нѣмецкой въ ея тогдашней формаціи съ другой. Въ отношеніи русской національнй школы, роль Стравинскаго въ первый періодъ его дѣятельности, была какъ-бы поправкой къ Римскому-Корсакову, и нарушеніемъ традиціонной связи русской школы съ нѣмцами. Стравинскій сталъ яркимъ выразителемъ «скифской» проблемы Мусоргскаго и проводилъ ее съ большой силой и рѣшительностью. «Весна Священная» стала знаменемъ втой проблемы. Она стала знаменемъ всѣхъ тѣхъ русскихъ музыкантовъ, кому былъ дорогъ Мусоргскій и его подлинное, не «подчищенное» наслѣдство. Молодая французская школа (уже послѣ Дебюсси)

приняла это знамя, которое въ равной мірі становилось какъ бы симво-

«Весна Священная» родилась изъ непосредственнаго чувства въры въ стихійную народную первооснову, и для Стравинскаго «Весна» была моментомъ высшаго становленія, и одновременно моментомъ разрыва. Становленіемъ было утвержденіе азійнаго духа Россіи, и оно же было разрывомъ со всемь, что этому духу было враждебнымь и чуждымь не только на Западе, но и въ Россіи. Въдь и «кучкисты» стремились къ воплощенію того-же скифскаго лица Россіи, но всв они, кромв Мусоргскаго и Бородина, вливали русское вино въ немецкие меха. Стравинский выпрямиль наследственную линію, шелшую отъ Мусоргскаго и разрушиль ложно-русскія традиціи, установленныя Балакиревымъ и Римскимъ-Корсаковымъ ради «профессіонализаніи». Уходъ Стравинскаго, въ его дальнійшей діятельности, отъ скифской проблемы къ интернаціональнымъ берегамъ, можно ли считать «измѣной» русскому національному ділу? Съ моей точки зрінія, ніть, конечно. Скифская проблема была доведена до возможнаго предёла. Итти дальше въ этомъ направленіи было тогда невозможно. Вернется ли русская музыка снова на этотъ путь или нътъ — это дъло будущаго. Что же до Стравинскаго, то онъ радикально измѣнилъ линію — именно въ этомъ вопросъ, уйдя изъ національнаго плана въ планъ общечеловъческій. Радикальная перемъна его стиля обусловлена перемѣной идеологіи, которая въ свою очередь обусловила и перемъну всего формальнаго процесса его музыкальнаго мышленія. Любопытно, что перемвна стиля у Стравинскаго исторически совпала съ политической и соціальной проблемой современной Россіи, въ которой національное сознаніе выросло въ сознаніе сверхъ-національное и въ стремленіе къ всенародному единству. При оппозиціонномъ политическомъ отношеніи къ современной Россіи, Стравинскій какъ будто-бы осуществиль въ музыкъ тоть же выходь, который быль подсказань сопіально-политической идеологіей современной Россіи, но на различныхъ съ нею основаніяхъ, ибо уйля изъ сферы національной, Стравинскій не разрушиль связи съ прошлымъ. Сведя къ минимуму идеологическую проблему искусства и замкнувшись исключительно въ область формальную и дидактическую, онъ, отказавшись отъ національной музыкальной проблемы, повернулся въ сторону западныхъ формальныхъ каноновъ и, со свойственной ему прямолинейностью, установилъ прочную для себя связь съ наследіемъ западной музыкальной культуры. Въ этомъ его разладъ съ современной Россіей. Въ музыкальномъ искусствъ въ Россіи проблема поставлена сейчась совсёмь по иному. Она снова направлена въ сторону разрыва, но на этотъ разъ уже не только съ Западомъ, а совсей прежней культурой человъчества (и не только «музыкальной»). Проблема эта — въ стремленіи къ созданію органически новой культуры, не національной, а всемірной.

Такимъ образомъ былая скифская проблема музыкальная становится въ данный моментъ въ современной Россіи и для музыкантовъ проблемой про летарской, т.-е. музыкальной проблемой такъ называемой соціалистической культуры.

Дюбопытно, въ какой мѣрѣ народническій сюрреализмъ Мусоргскаго находится въ связи съ проблемой пролетарской культуры. Странно, что въ Россіи до сихъ поръ въ отношеніи къ Мусоргскому этотъ вопросъ не былъ даже поставленъ. Согласился ли бы Мусоргскій, если бы жилъ въ наши дни, увидѣть прямую связь между пролетарскимъ искусствомъ и тѣмъ, что онъ считалъ своей идеей? Я думаю, что врядъ-ли согласился бы, и независимо отъ той безвкусности, которая присуща этому искусству благодаря терпкой смѣси его съ политикой.

 $\Pi$ 

Періодъ культурнаго обновленія, послѣдовавшій послѣ войны, ознаменовался повсюду въ музыкальномъ искусствѣ, тенденціей остро выраженнаго націонализма. Никогда еще эта тенденція въ музыкѣ не выражалась на Западѣ съ такой отчетливостью, какъ въ эти годы. Внѣ зависимости отъкакихъ бы то ни было эстетическихъ или формальныхъ предпосылокъ, переоцѣнка цѣнностей и взрывъ новой творческой энергіи въ Европѣ приобрѣли повсюду специфически національный характеръ. Почти во всѣхъ странахъ западной Европы (а позднѣе и въ Америкѣ) создались музыкальныя группировки, имѣвшія своимъ прототипомъ русскую школу въ первый періодъ ея формаціи, т.-е. «могучую кучку».

Таково было настроеніе музыкантовь въ эти годы повсюду, кром'я Россіи. Состояніе же самой русской музыки, какъ школы, стало съ этого времени совершенно обособленнымъ среди всёхъ другихъ національныхъ группъ. Одной изъ главныхъ причинъ явилось то, что въ послівоенные годы, вслідствіе чисто политическихъ причинъ, русская музыка оказалась расколотой на двіз части, которыя въ своемъ все боліве и боліве независимомъ существованіи, стали двумя самостоятельными величинами. Одна изъ нихъ — русская музыка, въ современной Россіи; другая — ті, кто волей исто-

рической и политической обстановки оказались вовлеченными въ художественную жизнь на Западъ и стали частью ея цълаго, т.-е. частью общеевропейской культуры и почти утратили связь со своей національной почвой. Уже вслъдствіе одного этого обстоятельства, русская музыка находится сейчась въ сложномъ періодъ своего существованія. Рядъ любопытнъйшихъ вопросовъ скрещивается съ проблемой русской музыки въ данный моментъ. Ни для одной изъ существующихъ въ міръ музыкальныхъ группировокъ вопросы эти не такъ сложны, какъ для русскихъ музыкальныхъ группировокъ вопросы эти не такъ сложны, какъ для русскихъ музыкальныхъ группировокъ политической проблемой современной Россіи. Поэтому, пытаясь опредълить состояніе русской музыки какъ школы въ настоящемъ моментъ ея существованія, мы должны разсмотръть объ ея части какъ самостоятельныя величины, т.-е. то, что происходить съ музыкальнымъ творчествомъ въ С.С.С.Р. и то, что совершается въ русской музыкъ на Западъ.

Когда въ послевоенные годы въ Россіи музыка (такъ же какъ и все искусство въ цёломъ) оказалась спустя нёсколько лёть подъ воздёйствіемъ соціально-политической обстановки, создавшейся тамъ послів революціи, въ первые годы революціи не существовало контакта между искусствомъ и политикой. Соціально-политическая жизнь страны развертывалась въ одномъ направленіи, культурная и художественная ея жизнь въ иномъ, и почти независимо отъ политической обстановки. Въ первые годы искусство, и въ частности, музыка, были на положении аристократически-привилегированномъ. Революція внесла новое только тімь, что произошла деформація быта, когда оказались привлеченными къ художественной жизни народныя массы. Это отразилось только на исполнительстве и на педагогике. Музыкальное же творчество политикой не было затронуто. Предоставленное самому себь, оно замкнулось исключительно въ свою профессіональную сферу и въ ней продолжалось изживаніе тъхъ внутри-профессіональныхъ эстетическихъ процессовъ, которые существовали въ русской музыкъ въ дореволюціонную эпоху. Политическимъ деятелямъ было «не до музыки» -- музыканты же закрывали глаза на политику и пытались до конца удерживать, въ сущности, давно изжитую позицію «искусства для искусства». Поздніве. когда политическая власть окрыпла и произошло «углубленіе» революціи, на ряду съ политическимъ и экономическимъ фронтами, былъ объявленъ и культурный фронть въ С.С.С.Р. Съ этого момента театръ, литература и живопись оказались значительно быстре въ контакте съ марксистской доктриной, чёмъ музыка. Объясняется это вовсе не тёмъ, что музыканты по-

литически консервативные, чыть иные дыятели искусства, а исключительно тьмь, что самый матеріаль театра, литературы и живописи гораздо быстрве и легче поддается внъшнему приспособленію и той или иной тенденціозной переработкъ въ угоду новой идеологіи. Измѣненіе самихъ формальныхъ методовъ въ музыка гораздо труднае и сложнае, чамъ въ другихъ родахъ искусства, а вившие прикрвпленные ярлычки или же наскоро пришитыя литературныя программы и поясненія ничего не міняють въ самой музыкъ, природа которой нисколько не измъняется отъ того, что та или иная музыкальная матерія пристегнута къ «капиталистическому» или же къ «коммунистическому» сюжету. Развъ что въ дальнъйшемъ въ Россіи будеть подвергнута переработкъ и органическому измъненію самая матерія музыки и процессъ ея оформленія, но это діло иное и очень сложное. Для этого нужно созрѣваніе новой культуры по существу, органически противоположной музыкальной культурѣ предшествовавшей, т.-е. всему историческому ходу ея развитія. Возможно ли это для музыки? Не знаю. Во всякомъ случав несомненно, что въ С.С.С.Р. проблему эту должны будуть поставить на этотъ путь въ дальнейшемъ, если проблеме пролетарской культуры суждено развитіе. Изживаніе стараго, до-революціоннаго культурнаго насл'ядія въ Россіи еще не кончено. На мой взглядь, безь исключенія, всѣ профессіональные музыканты до сихъ поръ заняты изживаніемъ модернизма и декадентства. Композиторы современной Россіи до сихъ поръ «дорабатываютъ» модернизмъ, преимущественно въ тъхъ композиціонныхъ методахъ и въ томъ направленіи, которые были даны Скрябинымъ и Метнеромъ въ началѣ 20-го стольтія. Вся «эволюція» за последнее десятильтіе сказалась лишь въ томъ, что произопло нъкоторое заражение уже почти отжившими, модернистскими тенденціями западной музыки послів-военных годовь. Лаже Стравинскій по сихъ поръ хоть сколько-нибудь серьезнаго воздействія на русскую музыку не оказаль. Любонытно, что этоть мастерь, сыгравшій такую значительную роль въ западномъ музыкальномъ творчеству въ годы послу войны — на русскую музыку въ самой Россіи почти никакого вліянія не имѣлъ. Его тамъ до сихъ поръ совсемъ не поняли, несмотря на то, чтобы были переиграны вст его сочиненія. Нткоторое вліяніе на молодых оказаль Прокофьевь. но вліяніе это было чисто вившнее и поверхностное. Главной причиной этой отсталости является оторванность музыкантовъ советской Россіи отъ современной жизни на Западъ — отсюда невъдъне и непонимание того пропесса, по которому развивается искусство въ Европъ. Вслъдствіе этой отсталости, музыкальное искусство въ С.С.С.Р. опять вернуло русскую музыку къ

провинціальному въ отношеніи Запада состоянію, въ которомъ она пребывала нъкогда, когда еще плелась въ хвостъ западной музыки. Выходъ изъ этого провинціализма, мий думается, совсймъ не въ томъ, что русская музыка въ С.С.С.Р. будетъ догонять западную Европу и будетъ проходить съ сильнымь опозданіемь по всёмь продёланнымь здёсь этапамь, а въ томь, что она найдеть новые пути и для себя и для Запада, если она ихъ найдеть. Мнъ кажется, что это единственный выходъ, конечно, возможный только, если появятся большія и индивидуальныя творческія силы. Но это опять таки не просто, поскольку индивидуализмъ является офиціально нетерпимой въ Россіи стихіей при методахъ «діалектическаго матеріализма», утверждаемыхъ какъ въ экономическомъ, такъ и въ культурномъ планахъ въ С.С.С.Р. Пока что музыкальное творчество въ Россіи задыхается въ удушливой атмосферѣ провинціальнаго модернизма и декадентства, въ которые выродился модернистическій стиль начала стольтія. Музыка эта опутана сътями схематики въ соединени съ ничъмъ не обоснованнымъ произволомъ, которые безпомощно стараются казаться новаторствомъ и дерзновеніемъ. Холодомъ ужасающей скуки и замученностью въеть отъ этой музыки. Въ ней нѣтъ ни живой силы, которая могла бы быть выраженіемъ творческаго пафоса новой страны, стремящейся явить всему міру прим'єрь строительства новой культуры и воспитанія новаго челов'єка. Н'єть вь ней и трагическаго пафоса непріятія этой жизни... Ни утвержденіе, ни гибель. Вмѣсто того и другого, мертвая маска профессіонализма, скрывающая опустошенность и безсиліе, какъ формальное, такъ и духовное. Единственное, что замётно у некоторыхъ изъ композиторовъ, это попытка чисто внешняго приспособленія къ новымъ условіямъ жизни. Такъ какъ эти попытки основаны не на пафост втры (независимо отъ того будь-то пріятіе или же отрицаніе), онъ сводятся только къ чисто внъшнимъ вещамъ, къ наивному примъненію въ музыкъ литературно-эстетическихъ пріемовъ въ связи съ обі ими тенденціями, т.-е. въ сущности только къ названіямъ. Нѣть никакой разницы между пьесой, называемой «Электрофикація» или же какими-нибудь «Листками изъ альбома» того же автора... Почему то излюбленной формой совътскихъ композиторовъ стала, совершенно отръшенная отъ жизни, схоластическая фортепіанная «соната» не им'вющая въ томъ вид'в, какъ ее тамъ преподносять, ни значенія, ни смысла. Когда проглядываешь этоть безудержный потокъ фортепіанныхъ сонать, несущихся изъ Россіи, видишь, какая глубокая пропасть создалась тамъ между музыкой и жизнью..

Тему своей статьи я ограничиль исключительно вопросами о русской

школь. Поэтому выводы, которые я дълаю, не относятся къ тому или иному композитору въ отдъльности, а къ школь какъ таковой въ ея цъломъ.

Воть имена композиторовь, составляющихь фронть современной музыки въ самой Россіи. Въ Москвъ: Мясковскій, Александровъ, А. Крейнъ, Мосоловъ, Оборинъ, Половинкинъ, Протопоповъ, Рославецъ, Фейнбергъ и Шебалинъ. Въ Ленинградъ: Шестаковичъ, Щербачевъ, Иоповъ, Рязановъ, Дешевовъ и др. Особое мъсто принадлежитъ Мясковскому. Такъ-же, какъ и Прокофьевъ — Мясковскій быль вполн'я выраженной художественной величиной уже въ до-революціонный періодъ Россіи. Въ самое последнее время появилась въ Москвѣ небольшая группа, называющая себя «пролетарскими композиторами». Музыканты этого толка не имъють профессіональных корней, въ чемъ не было бы бъды, если бы они были даровиты. Но то, что они сейчась ділають, не представляеть собою пока никакой художественной цінности, съ какой бы точки зрінія ихъ не разсматривать. Лишенные профессіональнаго опыта и знаній, лишенные какихъ либо формальныхъ установокъ, они вооружаются исключительно демагогическими политическими пріемами, чисто агитаціоннаго порядка. Основной тенденціей этой группы является провозглашеніе прямого контакта между музыкальнымъ творчествомъ и коммунизмомъ. Въ совътской литературъ (и театръ) этотъ «контакть» давно уже осуществился и даль свои послёдствія. Со стороны мувыкантовъ пока это только запоздавшая попытка примкнуть къ общему коммунистическому фронту въ искусствъ. Несомнънно, что и эта музыкальная тенденція получить дальн'єйшее развитіе въ С.С.С.Р. Такъ какъ осуществляется она преимущественно не профессіональными музыкантами, то будетъ повидимому развиваться по линіи наименьшаго сопротивленія, и въ такомъ случав поглотить собою все, что еще осталось въ С.С.С.Р. въ наследіе оть прошлой музыкальной культуры. Говорить по существу о «пролетарской» музыкѣ пока преждевременно. Подождемъ, пока появятся для этого какія-либо конкретныя данныя. Такимъ образомъ въ С.С.С.Р. русская музыка какъ школа перестала существовать. Въ профессіональномъ композиторскомъ кругу она пребываетъ въ состоянии упадочничества и модернистическаго вырожденія. Въ кругу непрофессіональномъ начинается движеніе въ сторону «пролетаризаціи», которое исключаеть національную установку по существу. Что получится изъ столкновенія этихъ двухъ группъ сейчасъ гадать трудно. В вроятн в всего, что старая профессіональная основа будеть совершенно поглощена «пролетаризаціей» и въ ней растворится. Какъ бы тамъ ни было въ будущемъ, въ данный моментъ эти два фактора обуславливають распадъ національной музыкальной школы въ С.С.С.Р. и, въроятно, на продолжительный періодъ времени.

Западная группа состоить изъ слѣдующихъ композиторовъ: Стравинскій, Прокофьевъ, Дукельскій, Набоковъ и Маркевичъ. Также Лопашниковъ, Черепнинъ (Александръ), Обуховъ и Вышнеградскій.

Если бы не Стравинскій, судьба русской музыки на Западв была бы сейчась, ввроятно, совершенно иной. Благодаря Стравинскому, новая русская музыка на Западв вышла на международную арену. Она не утратила при этомъ своего національнаго характера, но отличительной особенностью нашей западной композиторской группы является то, что въ ней ликвидированы тв установки на «экзотику», которыя считались прежде необходимой принадлежностью русскаго стиля, какъ кавіаръ, водка и балалайка. Безъ наличія этой «экзотики», за русской музыкой не признавали въ Европъ права на свое національное лицо. Теперь это уже въ прошломъ. Послъ Стравинскаго, молодые на Западв уже какъ бы по традиціи идуть за нимъ по пути разръшенія общихъ проблемъ, а не специфически національныхъ.

Основное ядро русскихъ композиторовъ на Западъ образуетъ упомянутая парижская группа. Независимо оть идеологическихъ или формальныхъ тенденцій и качествъ каждаго въ отдільности изъ композиторовь парижской группы, въ пъломъ она является современнымъ выражениемъ національной русской школы какъ таковой. Группа эта вдвинута въ западную культуру и разобщена съ Россіей. Отсюда и положительное и отрицательное въ ея двятельности. Положительное въ томъ, что нетъ въ ней провинціализма, существующаго у музыкантовъ въ С.С.С.Р., и достигнута формальная вооруженность въ уровень съ современной техникой на Западъ. Отрицательное — въ томъ, что разрывъ съ Россіей создаль у некоторыхъ изъ молодыхъ идеологію упадочничества, нікій родь реакціоннаго эстетизма. Музыканты эти питають свое творчество памятью о старой русской культурв уже свершившейся, и къ которой нътъ возврата. Особенно въ этомъ смыслъ характерень для нихь музыкальный эстетизмь, основанный на стилизаціи 30-хъ годовъ прошлаго стольтія. Это существенное обстоятельство, которое, нужно надвяться, будеть преодольно, такъ какъ оно часто превращаетъ попытки созданія новаго въ эпигонство. Основнымъ признакомъ, по которому эту группу можно по праву считать продолжениемъ русской школы и ея современной эволюціей, является, несомнінно, общій для всіхь языкь, т.-е. русскій музыкальный языкъ. Въ остальномъ, поскольку эта группа непосредственно свявана съ современной музыкальной жизнью Запада, она находится въ томъ же состояніи, въ какомъ пребываеть вся современная музыка вообще, формальные и идеологическіе перспективы и тупики, передъ которыми находится вообще современное музыкальное творчество, являются общими и для нея.

Поскольку Стравинскій «перерось» границы русской школы — наиболье типичнымъ ея выразителемъ следуеть считать Прокофьева, который на протяженіи всей своей деятельности быль веренъ природе русской музыки и чёмъ дальше, тёмъ все больше свою связь съ нею укрепляль. Творческій оптимизмъ и неистощимая, острая жизненная сила Прокофьева — тотъ высшій даръ, который онъ получиль по наследственной линіи отъ русской музыки, и что ставить его сейчась во главу національныхъ тенденцій школы.

Завѣтомъ русской школы всегда была ея сплоченность и отвѣтственность другъ за друга, независимо отъ «семейныхъ» споровъ, когда бы, и каковы бы они не были. Духовная круговая порука, а не личныя цѣли, была главной основой школы. До тѣхъ поръ, пока будетъ живъ этотъ принципъ національной связи не для себя, а для Россіи, будетъ жива и школа.

#### Отвыть нашимь критикамь.

Въ отзывахъ о шестой книгъ «Чиселъ» разноголосица достигла особой остроты. Писателю не подобаетъ возражать своимъ критикамъ, журналу это иногда необходимо.

Намъ незачѣмъ спорить съ П. Пильскимъ (газ. «Сегодня») потому что онъ, забывая о себѣ, пытается суднть «Числа» съ явнымъ вниманіемъ къ ихъ намѣреніямъ и не замалчивая результатовъ, ими по его мнѣнію достигнутыхъ.

А. Лугановъ изъ «Молвы» (Варшава) къ нашему удовольствію нашелъ нѣчто совсѣмъ новое въ статьяхъ Шаршуна, Варшавскаго, Чиннова, въ прозѣ Фельзена. Въ остальномъ Лугановъ продолжаетъ споръ, который уже велся на этихъ страницахъ между редакціей «Чиселъ» и Антономъ Крайнимъ.

«Числа» не хотять на своихъ страницахъ профессіональной политики. Имъ ничего не говорятъ дореволюціонныя партійныя группы и еще болье имъ чужды наново и на скорую руку сколоченныя «цълостныя міровоззрънія», гдъ все — отъ Христа до аграрной программы — уже возстановлено въ отмънномъ іерархическомъ порядкъ и гдъ въ сущности нътъ ничего, кромъ благодушнаго желанія снова обзавестись удобствами и комфортомъ духовнаго благополучія.

Какъ мы предупреждали читателя еще въ первой книгъ, «утвержденія» «Чиселъ» не претендуютъ на схематическую стройность политической программы, но мы увърены, что полная откровенность

эмигрантскаго человъка съ самимъ собой единственно върный путь для каждаго и, что отказъ что-либо пріукрашать въ жизни и, особенно въ жизни послъднихъ десятилътій, неизбъжно создаетъ особую, нестъсненную тактическими расчетами политиковъ и политикановъ, атмосферу, которую «Числа» и стараются поддерживать по мъръ своихъ силъ.

Если правильно эти наши намъренія понять, развъ не пропасть между ними и безплоднымъ эстетизмомъ.

Но Луганову все еще мъщаетъ хорошая бумага, на которой «Числа» печатаются. Съ наивностью, неудивительной въ опредъленномъ кругу дореволюціонной интеллигенціи, Лугановъ не въ силахъ уловить разницу между праздной роскошью и легко доступнымъ удовлетвореніемъ художественнаго вкуса. Внъшній видъ «Чиселъ» смущаетъ его до такой степени, что онъ договаривается даже до сожальній о цынь «Чисель», будто бы недоступныхъ изъ за дороговизны рядовому читателю, и не замъчаетъ, что, несмотря на «хорошую бумагу», «Числа» въ любомъ магазинъ стоютъ почти столько же, сколько любая изъ тоненькихъ книжекъ очередной повъсти или романа. выпускаемыхъ отдѣльнымъ изданіемъ.

Воспроизведенія картинъ художниковъ тоже какъ будто воспламеняютъ критиковъ лугановскаго типа возмущеніемъ противъ праздной роскоши.

Между тъмъ, удивительная по силъ живопись въ Парижъ, играющая такую огромную роль въ воспитаніи и развитіи русскихъ художниковъ, казалось бы даже и въ тѣхъ отраженіяхъ, которымъ «Числа» посвящены, могла бы постоять за себя. Можетъ быть лирики во Франціи такъ мало, именно потому, что здѣсь Манэ, Ренуаръ, Сезаннъ и другіе и являются національной поэзіей.

Вмъсто стиховъ здъсь — на Блоковскомъ уровнъ — живопись. Подивиться этому, понаблюдать, поучиться — не умнъе ли, чъмъ принципіально дуться на «картинки», считая ихъ напрасными украшеніями журнала...

Кстати о внѣшности журналовъ. Намъ кажется небезынтереснымъ отмѣтить, что далеко не всѣ «общественники» принципіальные противники эстетики: такъ руководители «Новаго Града» скопировали съ абсолютной точностью обложку «Чиселъ» для своего журнала...

30 іюня 32 года въ «Посл. Новостяхъ» появился обстоятельный разборъ «Чиселъ» за подписью Мих. Осоргина.

Ровно черезъ недълю въ «Возрожденіи» появилась статья В. Ходасевича, до послъдней степени и, почти въ каждой фразъ, противоположная упоминаемой выше статьъ.

Для Осоргина, напримъръ, «Шаршунъ нашелъ какъ нужно сказать и у него было что сказать».

Для Ходасевича — «Шаршуны... голоса неудачниковъ, чахнущихъ въ монпарнасскомъ подпольѣ».

Для Осоргина «Числа» — «очень удачное литературное предпріятіе, въ сущности единственный живой художественный журналъ».

Для Ходасевича — «Числа» «не располагаютъ послъдовательной литературной идеологіей».

Наконецъ, для Осоргина — «Въ узкихъ предълахъ своей задачи — быть органомъ молодыхъ эмигрантскихъ писательскихъ силъ, — журналъ себя оправдалъ вполнъ. Онъ — питомникъ, разсадникъ».

Ходасевичъ и это пытается отрицать. Но уже сама по себъ кропотливость и настойчивость его разсужденій на шести столбцахъ газеты внушаетъ подозрънія: да въдь если такъ все это просто и ясно зачъмъ же тратить столько времени и мъста на доказательства.

Хвалить самихъ себя за что бы то ни было «Числа», разумъется, не станутъ — ихъ руководителямъ слишкомъ ясно, что нътъ въ эмиграціи такихъ силъ, которыя могли бы безъ ошибокъ справляться съ труднъйшими задачами большого художественно-литературнаго журнала.

Но нужно въроятно особое умъніе не видъть того, чего видъть не хочется, чтобы отрицать за «Числами» право первенства и преимущества въ поощреніи молодыхъ литературныхъ силъ.

Для основателей «Чисель» было очевидно, и главнымъ образомъ изъ за этого журналъ и возникъ, что больше чѣмъ за десять лѣтъ жизни въ эмиграціи, здѣсь должны были появиться новыя литературныя дарованія. Газеты, занятыя не этимъ, не имѣли возможности имъ помочь. Въ самомъ вліятельномъ и тогда еще единственномъ толстомъ журналѣ эмиграціи одному изъ такихъ начинающихъ литераторовъ отвѣтили буквально слѣдующее: «У насъ и такъ мало мѣста, чтобы печатать Бунина или Ходасевича, какъ же вы хотите, чтобы мы еще васъ печатали».

Въ противоположность этимъ методамъ «Числа» предпочли не приглащать маститыхъ и заслуженныхъ, чтобы имъть возможность какъ можно больше мъста отвести писателямъ молодымъ.

То, что ихъ изръдка и случайно печатали на задворкахъ другихъ изданій,

разумъется, не могло быть равноцъннымъ созданію своего журнала. Одно два имени литераторовъ, которымъ случайно повезло и для которыхъ «Сезамъ открылся» раньше чъмъ программа «Чиселъ» вызывала лестныя для насъ и похвальныя подражанія, дъла не мъняютъ.

Въ заключеніе намъ остается пожальть, что Осоргинъ все еще считаетъ возможнымъ покровительственно и свысока похлопывать по плечу поэтовъ. При его несомнънныхъ заслугахъ никогда никакими расчетами не продиктованной критики этотъ его недостатокъ мы отмъчаемъ не безъ недоумънія.

Наоборотъ именно въ этомъ Ходасевичъ съ его пристальнымъ вниманіемъ къ стихамъ для насъ выгодно отъ большинства критиковъ отличается и мы съ удовол.ьствіемъ отмъчаемъ его симпатіи къ отдълу поэзіи въ «Числахъ».

Родъ заключенія.

Въ майской книгѣ «Красной Нови» за подписью небезызвѣстнаго Ермилова появился примѣчательнѣйшій отзывъ о «Числахъ», изъ котораго нѣсколько строчекъ намъ хочется выписать.

«Самой послъдней литературной новинкой, «сенсаціей» эмигрантщины являются альманахи «Числа». По нимъ мы можемъ судить, чъмъ живутъ «цвътъ», «сливки» эмигрантской литературы. Двъ проблемы стоятъ въ центръ «Чиселъ»: проблема смерти и проблема половой любви...

Фашистская чернь, буржуазное быдло, прародителями которыхъ являются Дантесы и вся свора окружавшая Николая I (!)... на новой основъ продолжаетъ свой каннибальскій танецъ вокругъ Пушсина (!!)...»

Комментаріи, какъ говорится, излишни.

Памяти Бодлера.

Есть у русскихъ привычка — идти гулять на кладбища. Наши, всъмъ знакомыя обращенія на плитахъ отъ покойника къ прохожему — «сядь, вздохни!» «я дома, ты странствуешь!» — обращены именно къ гуляющимъ, къ идущимъ разсъянно и праздно, къ тъмъ, — кому некуда спъшить. Случается русскимъ забрести на парижское монпарнасское кладбище. Нъкоторымъ хочется иногда подойти къ могилъ Бодлера, посидъть у него «въ гостяхъ», подумать — обо всемъ и ни о чемъ.

Еще издалека видны двѣ торчащія вверхъ, огромныя каменныя ступни. На могильной плитъ лежитъ каменное изваяніе — мертвецъ, завернутый въ саванъ. А высоко надъ нимъ — вмъсто креста -- какое - то идіотское, грузное чудище, склонившееся не то съ угрозой. не то съ усмъшкой. Это — «лухъ зла». Памятникъ является, повидимому, аллегоріей творчества поэта. Ничего болъе достойнаго потомки не придумали. Поэзію Бодлера они свели къ карикатуръ, еще разъ подтвердивъ старую истину: не бойся враговъ, бойся друзей. Надгробный памятникъ этотъ есть одинъ изъ рѣдкихъ образцовъ подлиннаго кощунства.

\*\*

Поэзію Бодлера можно воспринять съ двухъ сторонъ, ощутить ее въ двухъ различныхъ плоскостяхъ. Но въ объихъ она остается въщей и значительной, и по существу ничего общаго не имъетъ съ декоративными пошлостями, вродъ кривляющихся каменныхъ дьяволовъ.

Первый, наружный обликъ Бодлера — обликъ разрушителя, поэта, ненавидяща- го все устоявшееся и застоявшееся, поэ-

та, чье творчество опредъляется словомъ « subversif ». Недаромъ, еще много лътъ тому назадъ Бодлеръ плѣнилъ у насъ революціонера П. Я. Недаромъ наша «гражданская» критика неизмѣнно выдѣляла его изъ числа остальныхъ декадентовъ. Говорить по этому поводу объ ошибкъ или слъпотъ -- какъ говорили символисты, перетягивавшіе Бодлера въ свой лагерь — опрометчиво. Элементъ «протеста» у Бодлера очень силенъ. Онъ союзникъ всякой революціи, поскольку революція еще не занялась «строительствомъ», - мастеръ «революціоннаго дъла», учитель недовольства и отрицанія\*).

Но нѣтъ сомнѣній: «протестомъ» Бодлеръ не исчерпывается, и тотъ, кто въ немъ только этотъ элементъ чувствуетъ, поэта искажаетъ или умаляетъ. Не обязательно самому быть идеалистомъ или спиритуалистомъ, надо только умѣть читать и умѣть понимать, чтобы съ достовърностью ощутить за бодлеровскимъ гнѣвомъ и презрѣніемъ — иное. Его поэзія со всѣми ея демонизмами и соблазнами, есть рѣдчайшій въ новой Европѣ примѣръ поэзіи дѣйствительно - христіанской, — по страстному ея вкусу къ страданію, по неисцѣлимой ея зараженности этимъ чувствомъ.

Я имъю въ виду не столько слова и непосредственный смыслъ бодлеровскихъ стиховъ (хотя показательны и они) сколько тонъ ихъ и звукъ. «Le ton fait la musique». Адъ и рай неизмънно присутствуютъ въ стихахъ Бодлера: стра даніе и блаженство. Едва произнесены эти слова — вспоминается Данте. Еще въ годъ выхода «Цвътовъ зла» Барбэ д-Орвильи писалъ что Данте — Magnus Parens новаго поэта. «Есть Данте въ немъ, но это Данте явившійся послъ Вольтера», Формула слишкомъ упрошенная, какъ всякая формула впрочемъ. но върная. Есть въ опаляющей страстности, въ блескъ и жаръ бодлеровскихъ огненныхъ стиховъ что - то сквозь въка идущее отъ Данте. Но за эти въка ослабѣла воля, убылъ восторгъ. Какъ будто Лукавый — le Malin — обточилъ новое оружіє: иронію, - и не нашлось у людей силъ этому оружію сопротивляться. Бодлеръ почти всегда ирониченъ. Поэтому въ замъчаніи «послъ Вольтера» есть на мой взглядъ правда\*).

<sup>\*)</sup> Гете, — котораго такъ трудно понять въ самой «сущности его существа» и который всегда въ этой «сущности» преодолѣвалъ всяческую дущевную богему и личный анархизмъ, молчаливо и упорно противостоитъ Христу, — Гете говорилъ когда - то канцлеру Мюллеру: - «Все, что мы въ себъ питаемъ процвътаетъ; это въчный законъ природы. У человъка есть органъ недовольства, органъ оппозиціи и сомнѣнія. Чѣмъ больше мы даемъ ему пищи, тъмъ онъ становится сильнъе, - пока наконецъ не превратится въ патологическую язву, все пожирающую и все уничтожающую вокругъ себя»... «Незабываемыя слова», отмъчаетъ умный Мюллеръ. Дъйствительно: незабываемыя. Въ нихъ, кажется, самый върный ключь къ «тайному совътнику» въ Гете, ключъ безъ котораго отъ веймарскаго надменно - угодливаго спокойствія все таки иногда мутитъ. Надо прочесть и дальнъйшія разсужденія: для чего и зачѣмъ морить гололомъ «органъ неловольства». Но какъ трудно этому научиться, если только этому надо учиться!

<sup>\*)</sup> У насъ ему родствененъ и близэкъ Некрасовъ. «Металлъ» въ ихъ голосахъ тотъ же, и у Некрасова голосъ пожалуй даже шире, свободнъе. Но сознаніе, его

Закроемъ «Fleurs du Mal», забудемъ отдъльныя впечатлънія отъ отдъльныхъ стихотвореній, подумаемъ о цъломъ. Чъмъ жива эта книга?

Не кажется ли вамъ, что это одна изъ варіацій на тему о блудномъ сынъ? Есть у Бога върные сыновья, послушные, малотребовательные. И есть другіе, которыхъ смущиютъ дурныя желанія — и тогда они оставляютъ «отчій домъ». Бодлеровская поэзія послѣдовательно и отчетливо отражаетъ моментъ ослушанія, затъмъ буйное наслажденіе волей и быстро тающимъ богатствомъ. Она достигаетъ вершины своей съ первыми при ступами отчаянія, передаеть всю гамму его и на этомъ обрывается... Но уже видна тропа, ведущая обратно въ домъ» и уже тамъ, за горами и долами, отецъ вышелъ на порогъ и вглядывается въ пустую даль.

Или скажемъ иначе, не прибъгая къ образамъ и сравненіямъ. Бодлеръ пошелъ къ «идеалу» путемъ наиболѣе длиннымъ и труднымъ, какъ будто назначено ему было «потерять душу» и показать всъмъ теряющимъ ее, что полной безнадежности на землъ не существуетъ, Конечно, такое толкованіе расплывчато. Но въдь сущность поэзіи всегда неуловима и отчетливо разложить ее нельзя. Роль и величіе Бодлера въ томъ, что онъ принялъ на себя бремя цълой, медленно слагавшейся эпохи и впервые позналъ нъкій разрушительный внутренній который намъ теперь достался опытъ, отъ него въ готовомъ — хотълось бы

по сравненію съ бодлеровскимъ трудно и опредълить: дътское невъдъніе... Бодлеру на русскомъ языкъ могъ бы ссотвътствовать Некрасовъ, отравленных, осложненный и охлажденный Иннокентіемъ Анненскимъ.

сказать: обезвреженномъ — видъ. Въ качествъ историко - литературнаго поясненія добавлю: ко времени Бодлера лирическая поэзія если и не измельчала, то потеряла подъ собой почву. Слишкомъ многое въ дробящейся, усложняющейся жизни стало казаться поэзіи недостойнымъ ея чудотворнаго прикосновенія. По эзія постепенно и върно превращалась въ мечтательство, еще немного и она ста ла бы царевной - недотрогой, брезгливой старой дъвой. Бодлеръ въ сущности лишь возстановилъ естественное равновъсіе между искусствомъ и жизнью, но устремивъ свою поэзію въ направленіи уродства и «зла» — какъ бы уронивъ ее, — онъ коснулся самаго дна бытія, предъла человъческаго паденія. Сказать, что со всей зачерпнутой имъ тяжестью онъ взлетълъ легко и свободно. было бы ложно, преувеличеніемъ. Но все таки онъ эту тяжесть поднялъ, - онъ первый и единственный. Полетъ мучительный, но полетъ съ максимальнымъ грузомъ, надъ самымъ дномъ. Если зерно духа, оживетъ аще не умретъ», то, конечно, чъмъ глубже было умираніе, тъмъ върнъе будетъ воскресеніе.

Индивидуальной чертой Бодлера, осложнившей и драматизировавшей его творческое дѣло, было врожденное чувство грѣха, роднящее его — кромѣ Данте — съ Достоевскимъ. Je sais que la douleur est la noblesse unique...

Здѣсь одинъ только шагъ до христіанства, одно только слово. Бодлеръ его не выговорилъ — вся его поэтика запрещала ему это, вѣкъ и духъ вѣка этому противился. Признаемъ, что такъ и лучше. Осталась только «проекція», остался свѣтъ, еще ничего не освѣтившій, невыразимый «идеалъ», горечь, молчаніе. Договоренное слово предало бы то, что можно назвать безсознательнымъ

замысломъ поэта. Молчаніе же — уже наполненное содержаніемъ — не можетъ обмануть «имъющихъ уши, чтобы слышать».

Теофиль Готье съ досадой признавался, что размышленія о Бодлеръ уводятъ его въ область теологіи. Онъ предпочиталъ замкнуться въ области литературной критики. Едва ли Готье правъ, такъ ръзко отдъляя одно отъ другого.

Но примемъ ненадолго этотъ взглядъ, помня условность его, — и попробуемъ оцънить сейчасъ, черезъ три четверти вѣка, бодлеровское «мастерство». Устарѣло ли оно? Вопросъ не такой праздный, какъ можетъ показаться — ибо относится онъ къ поэту - Колумбу. Устарѣлъ ли Бодлеръ? Да, пожалуй. Въ оболочкъ, въ самомъ ходъ и оборотахъ его чуть - чуть декламаціонныхъ стиховъ, въ нѣсколько театральной образности, въ скрипъ и перебояхъ этой геніальной и несовершенной машины. Многія нововведенія и упрощенія были найдены съ тъхъ поръ, да и въ далекомъ прошломъ не мало образцовъ искусства, хотя и менње сложныхъ, зато болъе стройныхъ и устойчивыхъ.. При всемъ томъ « Fleurs du mal ». - книга единственная, несравненная, книга для которой нътъ эпитетовъ, достойныхъ ея. О совершенствъ не можетъ быть и рѣчи. Но самые срывы Бодлера живъе, величественнъе и въ концѣ концовъ прекраснѣе, чѣмъ «достиженія» другихъ поэтовъ. За каждымъ словомъ у него чувствуется не механическая выучка, не ловкость рукъ, а творческій опыть — и классическая, суховатая точность его, впервые обращенная на романтическій хаосъ, иногда ослѣпительна. Матерьялъ романтизма, который до Бодлера былъ только слышнымъ, —

впервые становится видимымъ. Музыка впервые у него — подчиняется зрѣнію, — и новый міръ, въ первоначальныхъ черновыхъ своихъ чертахъ, построенъ... Кажется, во всемъ новомъ искусствъ нѣтъ ничего болѣе выразительнаго, чѣмъ нѣкоторыя вещи Бодлера.

Напомню: « Le crépuscule du matin » дымно - туманный, леденящій разсвътъ надъ Парижемъ — небольшое, описательное стихотвореніе, полное трагизма, столь напряженнаго и столь дъйствительно - новаго, что его хватило бы десятку поэтовъ на множество томовъ «собраній сочиненій»\*). Или Le « Balcon »

L'aurore grelotante en robe rose et verte S'avançait lentement sur la Seine déserte

Долго бились, — и послъ Зенкевича, — нъкоторые русскіе поэты надъ этими строками.

Заря продрогшая, какъ змѣй зеленодынный

Летъла медленно надъ Сеною пустынной...

Свистъ трехъ «з» отдаленно соотвътствуетъ рокоту французскихъ «р». Но откуда — змъй? и дальше «дынный» (любимый эпитетъ Гумилева) — развъ это ядовито - розовый оттънокъ той, летящей изъ - за Нотръ - Дамъ зари? Ничего нельзя сдълать. Я знаю, «со стороны» скажутъ: «и не надо дълать». Не надо переводить: «безцъльное, глупое занятіе». Отчасти върно. Но вопреки теоретической очевидности, вопреки дово-

<sup>\*)</sup> Есть русскій переводъ Зенкевича — очень неплохой, много лучше всѣхъ другихъ, но все же какой - то плотскигрубый, подчеркнуто - тяжкій по сравненію съ взвивающимися къ небу, «серафическими» скрипками Бодлера. Особенно къ концу:

съ его глубочайшей «сладостью». Или « Brûmes et pluies ».

Или третій « Spleen ». Или « Parfum exotique ». Всего не назовешь.

Повторяю: единственная и несравненная книга. Но здѣсь надо оговориться. Она мнъ сейчасъ кажется такой, потому что лежить предо мной и я только что ее перечитывалъ. Разсудокъ однако знаетъ, что если за Бодлеромъ и остается мѣсто «основоположника» современнаго искусства, если значение его въ этомъ смыслѣ внѣ споровъ, то все же есть и у насъ одинъ или два поэта, которые «предъ лицомъ въчности», не слабъе и не бъднъе его. Но надо ли объяснять, что великій художникъ въ моментъ воздъйствія всегда «исключителенъ»? Какъ бы вступая въ отдъльное, особое царство, мы становимся его подданными. едва только беремъ въ руки книгу его. Ничьей больше власти надъ нами уже нътъ.

Читая Пушкина, я неизмѣнно думаю: «это лучше всего». То же и при чтеніи Бодлера. И даже можетъ быть еще сильнѣе: потому, что живой человѣкъ нашей эпохи, не страусъ, не впавшій въ дѣтство, не отрекающійся отъ своего времени и еще не молодящійся, малодушно и тщетно, — такой человѣкъ не только «упивается гармоніей» читая « Fleurs du mal », но будто самъ съ собой бесѣдуетъ и съ неумолимой зоркостью себя судитъ.

Георгій Адамовичъ.

дамъ, казалось бы неотразимымъ, существуютъ стихотворные переводы волшебно - правдивые. Кое - что остается даже и въ тъхъ, которые не совсъмъ удачны. Соблазнъ сказать то же самое на своемъ языкъ будетъ живъ всегда.

## O nossiu u nosmaxz ez CCCP

Полезно хотя бы разъ встрътить поэта. котораго васъ заинтересовали: критику -- въ особенности: одно, хотя бы и бъглое, впечатлъніе, можеть ему что - то очень важное подсказать, чфмъто необходимымъ дополнить черты чужой поэзіи. Несмотря на всѣ недостатки и — часто — уродства литературной среды, ея полезная роль и заключается въ этомъ пополненіи впечатлівній литератур ныхъ — чертами жизненными, и за эту особую атмосферу можно ей простить всъ сплетни, интриги и раздоры, которыми упиваются литературные низы. Какъ бы въ костюмъ водолаза, хорошо защитившись отъ всего, что неизбъжно въ тѣсномъ сборищѣ людей одной профессіи, литератору, и особенно критику, необходимо спускаться иногда на это ръдко такая экскурсія остается лно: безплодной.

Критику — эмигранту, разумъется, нътъ никакой возможности побывать въ новой, какъ и всюду непрерывно мъняющейся, средъ поэтовъ и стихотворцевъ СССР. О многихъ изъ нихъ онъ слышитъ поневолъ впервые.

Нѣкоторые изъ насъ знали прекрасно или только болѣе или менѣе близко — Ахматову, Мандельштама, Пяста, Маяков скаго, Есенина, Пастернака, Зенкевнча, Асѣева, если не дополнять этого списка именами поэтовъ до - Гумилевскаго и до - футуристическаго періода.

Изъ поэтовъ «вскормленныхъ революціей», мы знали Тихонова. Знали Нельдихена (куда исчезъ этотъ интереснъйшій Уотъ Уитменъ въ россійскомъ изданіи, авторъ «Моей біографіи», котораго Пястъ считалъ геніальнымъ, а Гумилевъ, любя, называлъ апостоломъ глупости). Знали Вагинова, тогда еще мальчика - декадента съ остро-

той и своеобразіемъ, если и не развившимися съ тѣхъ поръ, то все же, судя по нѣсколькимъ недавнимъ стихотвореніямъ, и не утраченными. Знали Липавскаго, одну изъ «надеждъ», безслѣдно пропавшихъ.

Знали, наконецъ, кое - кого изъ пролеткультовцевъ то самоувъренныхъ и грубыхъ въ своемъ невъжествъ, то скромныхъ и трогательныхъ въ желаніи все на свътъ постичь и какъ можно скоръе — «хорошо бы въ два - три мъсяца».

Съ тъхъ поръ многое измънилось. Поэты, уъхавшіе оттуда одними изъ послъднихъ, могутъ въ этомъ или въ будущемъ году справлять десятилътіе своего отъъзда.

Сельвинскаго, Уткина и многихъ другихъ мы не знаемъ въ лицо. О доброй половинъ новыхъ стихотворцевъ СССР довольно точную справку даетъ комсомолецъ Жаровъ:

«Я, друзья мои, изъ той породы, У которой въ грозные часы, Въ октябръ семнадцатаго года Не было намека на усы».

Но и оторваннымъ отъ той жизни, разумъется, намъ все же неизмъримо легче судить о ихъ литературъ, нежели имъ — о нашей.

Любонытно по совътскимъ изданіямъ наблюдать за новыми для насъ чертами литературнаго быта. Не умилительно ли напримъръ такое обращеніе, напечатанное на видномъ мъстъ въ альманахъ «Уларъ» 1927 года:

«Стихотвореніе А. Жарова - Перелетъ — просимъ считать не напечатаннымъ. Редакція».

Каковы основанія этого прелестнаго рескрипта? Ревность редактора Безыменскаго къ сотруднику Жарову, одинъ

изъ эпизодовъ ихъ борьбы за первое мъсто въ комсомольскомъ и партійномъ стихотворчествъ? Отсюда всего не узнаешь. Къ счастью, не это главное въ поэзіи СССР.

Внимательно перелиставъ книжки совътскихъ журналовъ, перейдя затъмъ къ сборникамъ отдъльныхъ поэтовъ и безконечно уставая отъ всего лишняго, что неизбъжно нагромождается вокругъ немногихъ крупицъ истинной поэзіи, все же какими то новыми знаніями и даже радостями любитель стиховъ обогащается.

И невольно дълаешь попытку опредълить, лишь очень приблизительно конечно, кое-какія общія явленія новой русской поэзіи по совътскимъ ея образцамъ.

Смъшно было-бы слъдовать кое-какимъ совътскимъ попыткамъ упростить вопросы поэзіи и судить ее по формулъ — «бытіе опредъляетъ сознаніе», формулъ, кстати сказать, очень удобной, чтобы наши гроба объяснить настроеніями изгнанниковъ и упадочниковъ, а ихъ барабаны — успъхами пятилътки.

Говорить о современной русской поэзіи вообще то нельзя, не подразумъвая подъ ней нъчто единое и непрерывное и независящее въ самомъ существенномъ и главномъ отъ совътскаго подданства поэтовъ или отъ ихъ нансеновскаго паспорта.

Характерной чертой въ стилъ новыхъ русскихъ стиховъ, особенно въ СССР, мнъ кажется процессъ, похожій на диффузію жидкостей, процессъ смъшенія «правыхъ» и «лъвыхъ» вліяній. На крайне правомъ флангъ люди, вовсе лишенные слуха и чутья ко времени. На крайне - лъвомъ — люди, лътъ пятнадцать назадъ имъвшіе возможность, даже

при полномъ творческомъ безсиліи, сойти за новаторовъ.

Съ тѣхъ поръ, выражаясь не очень высокимъ стилемъ, дѣло пошло на чистоту. Сейчасъ на крайнихъ флангахъ — лишь небольшая горсть упрямцевъ.

Влеченіе отъ «лѣвизны» къ упрощенію отчетливо выразилъ Пастернакъ:

Есть въ опытъ большихъ поэтовъ Черты естественности той, Что невозможно, ихъ извъдавъ, Не кончить полной нъмотой.

Въ родствъ со всъмъ что есть увърясь И знаясь съ будущимъ въ быту, Нельзя не впасть къ концу какъ въ ересь

Въ неслыханную простоту.

Обратное тяготъніе — отъ простоты къ ухищреніямъ «лъвизны» привело нъкоторыхъ поэтовъ къ неудачамъ.

Большинство послъреволюціонных стиховъ Кузмина — наиболье яркій этому примъръ.

Его прелестная, легкая и въ сущности очень простая по выраженію прежняя поэзія, съ ея танцующей легковъсностью и легкомысліємъ, какъ молодость отъ дряхлости, отличается отъ болѣе позднихъ его стиховъ, какъ бы разложившихся послѣ прикосновенія къ враждебной стихіи «лѣвизны».

Почтительно — ученическое заигрываніе съ нею было въроятно противно природъ Кузмина, недавняго идеолога «прекрасной ясности». Печальные результаты этого не могли не сказаться.

Скромнъе по размърамъ неудача Зенкевича, но лишь потому, что самъ онъ, какъ поэтъ, меньше Кузмина. Его все же примъчательнъйшая «Дикая порфира», изданная до революціи, заставляетъ серьезно пожалъть о теперешнихъ стихахъ поэта, въ свое время привлекавшаго къ себъ суровой и жесткой простотой, а теперь причудливо и вяло подпъвающаго имажинистамъ. И сейчасъ иногда попадаются у Зенкевича строчки очень сильныя и, какъ прежде, жестокія и яркія, но это пропадаетъ среди безстильныхъ и гораздо большихъ по числу другихъ его строкъ.

Нъкоторую тревогу вызывають по элъдніе стихи Мандельштама.

Почитатель его прекрасной поэзіи врядь - ли обрадуется стихамъ въ четвертой книжкѣ «Новаго Міра».

Вызывающе игривый, совсѣмъ какъ у Шершеневича, стиль этихъ куплетовъ, заставляетъ особенно насторожиться потому, что имени Мандельштама въ совътскихъ журналахъ часто не встрътишь, и стихи изъ «Новаго Міра» могли бы сойти за единственный образецъ теперешней его поэзіи.

Утъшительнъйшая въ этомъ смыслѣ новая книжка «Новаго Міра» принесла намъ только что четыре новыхъ стихотворенія Мандельштама, изъ которыхъ самое очаровательное — О Батюшковъ, самое характерное — О Ламаркъ.

И эти стихи, кажется мнъ, не достигаютъ уровня лучшей поэзіи Мандельштама и въ нихъ отдъльныя мъста неожиданны у такого взыскательнаго поэта, но все же здъсь есть и почти вся прелесть мандельштамовскаго голоса.

Этотъ голосъ и Пастернаковскій — едва ли не единственные въ СССР голоса неподдъльной лирики; нельзя, къ сожалънію, къ этимъ именамъ прибавить имя Ахматовой, которая новыхъ стиховъ не печатаетъ или не пишетъ,

Если позволительно такія разнородныя явленія сопоставлять, думается, полезно отмѣтить мимоходомъ коренное различіе между Мандельштамомъ и Пастернакомъ.

Въ первомъ собраны лучи культуры латинской, во второмъ германской, у перваго сквозь кристальную ясность, для него обычную, — виденъ плѣненный хаосъ (въ этомъ у Мандельштама тѣнь какого - то родства съ Тютчевымъ), у второго сквозь хаосъ, наружный, кстати все явственнъе подчиняемый законамъ простоты, видна цѣльность и цѣломудренность «душевнаго здоровья».

Глубочайшая тема Мандельштамовской лирики слышится мнѣ въ одномъ изъ послъднихъ его стихотвореній «Ламаркъ», изъ котораго мнѣ хочется выписать четыре строфы:

Къ кольчецамъ спущусь и къ усоногимъ, Прошуршавъ средь ящерицъ и змъй, По упругимъ сходнямъ, по излогамъ Сокращусь, исчезну, какъ Протей.

Роговую мантію надѣну, Отъ горячей крови откажусь, Обрасту присосками и въ пѣну Океана завиткомъ вопьюсь.

Мы прощли разряды насъкомыхъ Съ наливными рюмочками глазъ. Онъ сказалъ: природа вся въ разломахъ, Зрънья нътъ — ты зришь въ послъдній разъ.

Онъ сказалъ: довольно полнозвучья, Ты напрасно Моцарта любилъ, Наступаетъ глухота паучья, Здъсь провалъ сильнъе нашихъ силъ.

Строчки эти не лучшія изъ Мандельштамовскихъ — на ту же тему. Это стихи почти разсудочные и программные рядомъ съ блестящими строчками Мандельштамовскаго расцвѣта:

Останься пѣной, Афродита, И слово въ музыку вернись!

Или:

Ничему не слъдуетъ учить, Ничего не надо говорить И печальна такъ и хороша Темная звъриная душа...

Но въ «Ламаркѣ» интересно новое подтвержденіе этой завороженности Мандельштама «первоначальнымъ хаосомъ», этой тяги назадъ отъ культуры въ праисторію.

Oh, ne jamais sortir des nombres et des êtres!

Мнъ кажется особенно драгоцънной эта щель, позволяющая разглядъть душу поэта, потому что Мандельштамъ не любитъ «выдавать себя» и сквозь торжественную и безстрастную прелесть его стиховъ не очень легко добраться до его человъческой — смертной и уязвимой — сущности.

Поэзія Пастернака по моему и въ самыхъ замъчательныхъ мъстахъ никогда не достигала Мандельштамовскаго блеска, но зато она почти всегда являлась живымъ отраженіемъ этого поэта во всъхъ стадіяхъ его роста. «Лъвизна» Пастернака-явленіе органическое. Переболъть ею, по моему, и вообще - то полезно было въ эпоху всемірнаго футуризма. Позднія забол'тванія «л'твизной» и къ тому же у поэтовъ, уже сложившихся въ другой атмосферъ, - дъло, конечно, другое. Но объ этомъ миъ уже пришлось сказать нъсколько словъ выше.

Въ послъднихъ вещахъ Пастернака все явственнъе человъкъ, живой, отзывчивый и, мнъ пріятно настаивать на этомъ, — глубоко цъломудренный. Качество, которое умълъ какъ никто цънить Розановъ и которое не можетъ не

напомнить каждому «первоначальных в чистых в дней». У Пастернака ц'вломудренность, къ тому же, не сентиментальная, а — волевая, мужественная.

Такъ какъ его проза неръдко служитъ какъ бы комментаріями къ стихамъ, позволяю себъ выписать нъсколько примъчательнъйшихъ строчекъ изъ «Охранной Грамоты»:

«Всякая литература о полъ, какъ и самое слово «полъ» отдаютъ несносной пошлостью и въ этомъ ихъ назначеніе Именно только въ этой омерзительности пригодны они природъ, потому что какъ разъ на страхъ пошлости построенъ ея контактъ съ нами...

Нравственности учитъ вкусъ, вкусу же учитъ сила!»

Изъ этого чувства у Пастернака въ стихахъ — прелесть нъжности, когда онъ говоритъ о женщинъ:

«Ты появишься у двери Въ чемъ то бъломъ безъ причудъ, Въ чемъ то легче тъхъ матерій, Изъ которыхъ зимы шьютъ».

Для остальныхъ поэтовъ СССР девизомъ могло бы послужить бодрое четверостишіе Маяковскаго:

Дъло земли — вертъться, Литься — дъло водъ, Дъло молодыхъ гвардейцевъ — Бъгъ, галопъ впередъ.

Эта комсомольская бодрость получила голосъ не только у многочисленныхъ пролеткультовцевъ, но и у стихотворца кръпкой, еще дореволюціонной выдълки — Астева, того, о которомъ «самъ» Маяковскій поощрительно замътилъ:

«Есть еще у насъ Асъевъ Колька. Этотъ можетъ, хватка у него моя».

Асъевъ въ высшей степени показательное явленіе. Вотъ ужъ воистину труженикъ поэзіи! Съ героическимъ упорствомъ стоитъ онъ «на посту», отстаивая давно уже и Пастернакомъ и другими оставленный второй этапъ русскаго футуризма. Но корона Маяковскаго для Асъева черезчуръ тяжела.

Какъ ни относиться къ автору «Флейты - позвоночникъ», нельзя не признать, что онъ былъ въ современной литературъ фигурой исключительной. Въ русской поэзіи Маяковскій — отепъ и. въроятно, вершина того, что Муратовъ, говоря о новой архитектуръ, прекрасно назвалъ постъ - искусствомъ. Какъ продолженіе Пикассо упирается въ прикладное искусство и переходить въ узоры для ковровъ и купальныхъ костюмовъ, такъ Маяковскій, кстати по моему, если ужъ ихъ сравнивать, уступающій Пикассо въ геніальности, самъ себя продол жилъ до прикладной поэзіи и въ рекламахъ всяческихъ моссельпромовъ и въ казенныхъ поэмахъ, вродъ «150 милліоновъ», хотя и съ обычнымъ блескомъ, но не на пользу себъ, далъ образцы постъ - искусства. Асфевъ какъ - будто это почувствовалъ и вдохновлялся болъе всего Маяковскимъ романтическаго періода.

Одно время въ центрифугъ вмъстъ съ Пастернакомъ Асъевъ былъ даже въ почтительной оппозиціи Маяковскому. Строго говоря въ этой позъ Асъевъ и замеръ, какъ замираетъ актеръ въ живой картинъ. Онъ весь Маяковскимъ опредъляется, онъ хотълъ бы стать лирической поправкой къ поэзіи своего мэтра. Но Маяковскій ошибся — «хватка» у Асъева не та.

И все таки иногда дивишься энергіи его строчекъ, находчивости этого автора:

Стоящіе возлѣ, идущіе рядомъ Плечомъ къ моему плечу, Сносимые этимъ огромнымъ снарядомъ.

Съ которымъ и я лечу...

Сельвинскій, пожалуй, самый интересный изъ послъреволюціонныхъ авторовъ, имъющихъ отношеніе къ поэзіи. Поэтомъ его трудно назвать, хотя въ предисловіи къ «Пушторгу» и «Улялаевщинъ» есть строчки замъчательной поэзіи. Но обычно у Сельвинскаго въ стихахъ такая примъсь прозы, что справедливъе считать его не стихотворцемъ, а творцомъ особаго смъшаннаго жанра. Въ послъдней вещи Сельвинскаго «Паопао» — языкъ раешника. Эта драма въ стихахъ, кстати, самое неудачное изъ всего, сдъланнаго Сельвинскимъ,

Замъчательна у этого автора способность писать большія вещи вродъ драматической поэмы «Пушторгъ». Въ этой вещи правда нѣтъ подъема настоящихъ поэмъ; въ ней отчетливъе всего родство Сельвинскаго съ Маяковскимъ и даже, какъ это въ критикъ уже справедливо указывалось, съ Грибоъдовымъ, причемъ стихи у Сельвинскаго еще ближе къ прозъ, чъмъ въ «Горъ отъ ума».

Съ поэмами вообще въ современной русской поэзіи не очень благополучно. Вершина ихъ, конечно, «Двънадцать». «Возмездіе» и по сравненію съ «Двънадцатью» и даже само по себъ — неудача.

Въ «Первомъ Свиданіи» много прелести, но ослабляетъ поэму Бълаго какаято недодъланность, недоговоренность.

«1905 годъ» и въ особенности «Спекторскій» Пастернака далеко не на уровнъ его лирики.

То же можно сказать о «Пугачев в» Есенина. У Клюева, о которомъ къ сожалънію давно уже ничего не слышно, есть прелестныя строчки въ стихахъ «Мать Суббота». Но ихъ лишь съ натяжкой можно назвать поэмой и надо сознаться, что на протяжении столькихъ строчекъ Клюевскіе печки, ковриги и печные горшки очень утомительны.

Послъдняя новинка въ области поэмъ — не то поэма, не то драма въ стихахъ — «Емельянъ Пугачевъ» Василія Каменскаго. Но до чего это длинно, вяло и скучно!

«Ташши карневишшии, ташши» —

Это языковой «couleur locale» «Пугачева»

Героиня поэмы Устинья говорить:

«Миѣ ли, миѣ ли, миѣченьки Говорить вамъ рѣченьки».

Самъ Пугачевъ отпускаетъ остроты:

«Хлопуша сумъетъ избавить Помъщика отъ головы Ежели лишняя, вродъ грыжи»...

Среди барабанщиковъ политбюро и нестерпимо казенныхъ «оптимистовъ» Октября наиболъе ловкіе — Жаровъ и Безыменскій.

Въ сущности для «жизненнаго строительства» бодрость и энергія качества прекрасныя. Если бы «гроба» у эмигрантскихъ поэтовъ не были темой ихъ свободнаго и никакими политбюро не стъсненнаго раздумія, если-бы это было программой ихъ личной жизни, ихъ навърно свезли бы всъхъ на кладбище и каждый про себя подумалъ бы — тула имъ и дорога. Но свобода въ поэзіи такъ живительна, что по своей волъ и отъ луши произнесенные стихи о смерти не отличаются по природѣ ничѣмъ отъ хорошихъ стиховъ о любви, о розѣ, о человъческомъ счастьъ.

Невыносимо для поэта только принужденіе.

Это какъ будто способенъ понять Жаровъ, но...

«есть одна заминка тутъ — Грозя помъткой въ партбилетъ Пъть грустныхъ пъсенъ не даютъ».

Безыменскій навърно и наединъ съ собой не допустилъ бы такого еретическаго признанія. Ему все бы «летъть», шумъть, покрикивать:

«Что комсомольцу шпоры, Мчится безъ нихъ онъ въ опоръ!»

Не мало въ СССР стихотворцевъ, для которыхъ мэтры—акмеисты. Одного изъ такихъ поэтовъ, не безталаннаго Тарновскаго, критикъ Раскольниковъ уличаетъ довольно убъдительными цитатами въ заимствованіяхъ у Гумилева.

Есть интересныя строчки у І. Уткина, у Багрицкаго (хотя послѣдній изъ силъ выбивается, чтобы не отстать отъ комсомольцевъ).

Останавливаетъ вниманіе одно стихотвореніе П. Орѣшина съ двустишіемъ:

Два лебедя, какъ два очарованья,

Плывутъ въ бассейнъ моего сознанья. Затъмъ уже начинается рядъ именъ, изъ которыхъ почти всъ не гръхъ вовсе не упоминать, пока ими не будутъ подписаны другія, болъе самостоятельныя вещи. Впрочемъ этотъ обзоръ и не претендуетъ на исчерпывающую полноту.

Николай Оцупъ.

Двъ могилы.

Изъ впечатльній попэдки въ СССР.

Съ паспортомъ гражданина одного изъ новыхъ государствъ, посѣтилъ я нѣсколько лѣтъ тому назадъ русскимъ иностранцемъ свою былую родину. Доѣхалъ до Ленинграда, въ которомъ на-

шелъ больше петербургскаго, чѣмъ ленинскаго, спустился на югъ, къ Москвѣ, и, побывъ тамъ съ недѣлю возвратился во - свояси.

Все время страдалъ, чувствуя былую родину и въ ея новомъ аспектъ — родной и близкой.

Вспоминаю два визита на кладбища, въ гости къ Блоку и Есенину.

Кончающій лѣто августъ, кажется, навсегда останется въ памяти мѣсяцемъ двухъ трагическихъ смертей: Александра Блока и Н. С. Гумилева.

Закрою глаза — и ясно возникаетъ въ подсознательномъ зрѣніи небольшая, закрашенная бѣлымъ жестянка съ маслянисто - черными буквами старательнаго маляра, что прибита къ бѣдному деревянному кресту на Смоленскомъ, и на ней только:

Александръ Александровичъ Блокъ, скончался 7 августа 1921 г.

Кресту - то теперь, значить, больше десяти лътъ. Промелькнуло въ газетахъ недавно: все такой же.

Въ іюлѣ 192.. года былъ я на Смоленскомъ у Блока въ гостяхъ.

Непрерывно звенящіе трамван, съ неисчислимымъ количествомъ уѣзжающихъ по случаю праздника «въ зелень» ленинградцевъ, останавливались на мгно веніе у перекрестка, гдѣ ларьки съ огурцами, абрикосами и квасомъ мирно сосѣдствовали съ крохотными садочками, изъ которыхъ разбитныя дѣвицы бойко торговали неприхотливыми цвѣтами сѣверныхъ клумбъ.

По тротуару, къ раскрытымъ воротамъ тънистаго кладбища и отъ него, текла густая, потная толпа съ корзинками и свертками въ рукахъ. Было имъ Смоленское — мъстомъ маевки. Возвра-

щались одни, смънялись другими. Въ пивной на углу было не протолкаться.

Слѣва же и справа, чередуясь съ торговками, торговавшими съ земли простенькими изъ зелени вѣнками, двѣ шеренги нищихъ, калѣкъ, уродовъ, попрошаекъ, бѣдияковъ, инвалидовъ, женщинъ съ грудными младенцами.

Въ конторъ хмурый сторожъ сразу сказалъ намъ, какъ найти могилу Блока — поэта.

 Первый поворотъ налѣво, а тамъ сами увидите.

И мы пошли по узкой дорожкъ, испещренной солнечными зайчиками и фіолетовыми тънями сочной, на могилкахъ, листвы. Внимательно читали надписи, но мимо могилы Блока едва не прошли. Остановились случайно.

У самой дорожки, такъ что локтемъ задъть можно проходя, безо всякой ограды, деревянный, когда - то побъленый крестъ, потрескавшійся, облупившійся, съ мраморными ниточками синьки въ чешуйкахъ мъла. На крестъ — небольшой кусокъ жести съ надписью, а надъ ней — малюхотная, вся замазанная побълкой, квадратная иконка съ пробивающейся кое - гдъ синей эмалью:

Спаситель, выводящій души изъ ада. Голый могильный холмикъ изъ сухой потрескавшейся глины скорбно проръзанъ какимъ - то дикимъ жестколистнымъ ползункомъ. Въ самыхъ ногахъ — старый высокій кленъ, единственное украшеніе.

Съ двухъ сторонъ — богатыя ограды могилъ: слѣва — тетки поэта Е. А. Красновой, справа — нѣкоего Чернышева. Чернышевская сѣтка. зг отсутствіемъ ограды вкругъ могилы поэта, служитъ для блоковскихъ вѣнковъ. Ихъ — три. Металлическіе, побурѣвшіе. На лентѣ одного оставшіяся буквы говорятъ

объ имени возложившаго: издательство «Алконостъ».

Насупротивъ, черезъ дорожку, такія же запущенныя и ничъмъ необложенныя могилы бабушки поэта — Елизаветы Григорьевны († 1902) и матери — Александры Андреевны († 1923). Во второмъ отъ дорожки ряду, за матерью поэта — ея второй мужъ Ф. Ф. Кублицкій — Піоттухъ († 1920).

Мы сидимъ на деревянной скамеечкѣ подлѣ могилы Блока и молчимъ. Стараемся не смотрѣть въ уголъ, гдѣ у подножья клена бѣлая шелуха арбузныхъ сѣмячекъ. Разбиремся въ карандашныхъ надписяхъ на крестѣ. Поетъ соборный колоколъ кладбищенской церкви Воскресенія, въ которой отпѣвали поэта. Мечется въ воздухѣ воронье.

#### Читаемъ:

Надъ твоей земляной горою Не пробъетъ мой послъдній часъ. Прихожу я къ тебъ съ весною Соловьиный записывать сказъ.

### Другое:

Спи, поэтъ; колокола да вороны На Смоленскомъ домъ твой сторожатъ,

Отъ тебя на всъ четыре стороны... (не кончено).

На обратной сторонъ креста — четверостишье Есенина, въ трагической судьбъ своей перекликнувшагося съ Блокомъ:

Всѣ мы, всѣ мы въ этомъ мірѣ тлѣнны. Все пройдетъ, какъ съ листьевъ ржавыхъ мѣдь.

Будь же ты вовѣкъ благословенно, Что дано процвѣсть и умереть. Совсѣмъ внизу робкое, дѣвичье:

«Спи. поэтъ!»

И когда мы читаемъ эти и другія (ихъ много!) надписи, тихій человѣкъ съ изможденнымъ лицомъ Гаршина проходитъ по дорожкѣ мимо и, снявъ щапку, крестится.

Ръзко врывается въ тишину звонкій вопросъ, заставляющій насъ встать:

— Товарищи! Гдѣ здѣсь могила Блока?

Головка клевера въ русыхъ волосахъ, сърые выпуклые глаза, нервное подергиваніе бровей у переносицы, парусиновое платье, стиранное - перестиранное, пыльныя босыя ноги.

- Въ прошлое воскресенье я была на Волковомъ. Тамъ нъкоторыя могилы такъ заросли крапивой, что подойти страшно. Я выполола у Надсона и Гаршина, а сегодня пришла къ Блоку.
- Какъ видите, полоть нечего. Все засохло.

Знакомимся. Дѣвушка кончаетъ университетъ. У нея Блоковское имя — Фаина; она — комсомолка и кандидатъ въ партію. Цвѣты, принесенные нами на могилу, сразу располагаютъ ее въ нашу пользу. Откровенной бесѣдѣ способствуетъ радушіе моего спутника и сближающая папироса изъ одного портсигара.

Фаинъ хочется бесъдовать, она откровенно не хочетъ уходить, хотя подошедшая къ намъ тетя «дълаетъ страшные глаза» и шепчетъ ей:

- Неприлично такъ знакомиться.
- Какая тетя у васъ prude! И гдѣ въ СССР!
- Да. А сама за стопроцентнымъ партійцемъ замужемъ. Ну, да онъ изъ стоеросовыхъ!
  - Какъ васъ понять?
- Вожди на стънъ, газеты въ портфелъ, жена и все. Весь міръ въ этомъ.

Возвращались въ одномъ трамва и говорили «по душамъ», какъ говорятъ

иногда люди, впервые встрътившіеся и расходящіеся навсегда.

Сиротливое дѣтство, раннія драмы, работа въ с. - д. кружкѣ, потомъ комсомолъ, ВУЗ, и въ результатѣ — надрывъ. И дергающіяся брови, и надтреснутый голосъ, и печальные глаза и — наконецъ — фраза, когда мы проходили мимо нищихъ:

— Какъ ужасно, что они еще существують, что государство не можетъ всѣхъ содержать!

Разсказываетъ о литкружкахъ, о Іеронимѣ Ясинскомъ, о молодежи, собирающейся вокругъ него, объ атмосферѣ святости и извращенности, окружающей Клюева, о борьбѣ какихъ - то группочекъ поэтовъ. Она написала разсказъ. Комсомольцы его раскритиковали. За индивидуализмъ, конечно. И зовутъ ее «пустоцвѣтомъ». Раболала въ одномъ архивѣ — выгнали, чтобы дать мѣсто другому — по протекціи.

Говоримъ Фаинъ о необходимости отдыха. На нее нельзя смотръть безъ чувства острой жалости.

- Я только что изъ санаторіи.
- Каковы же вы были до нея? Скорбная улыбка — отвътъ.
- Да, во мнѣ какой то надломъ. И товарищи это замѣчаютъ. Поэтому пріостановился и мой пріемъ въ партію. Да теперь меня въ нее ужъ и не такъ тянетъ, говоря по совѣсти.

Прощаясь мы сердечно желаемъ ей поправиться.

А Фаина... Фаина у Блока одинъ изъ ликовъ Россіи.

Это было ровно черезъ недѣлю: 17-го іюля гостилъ я у Блока на Смоленскомъ въ Петербургѣ; 24-го, живя въ Москвѣ, собрался къ Есенину на Ваганьковское.

Невыносимый зной томилъ весь день, почти не спадая къ вечеру. По пыльнорозовому небу текли взлетающіе съ Ходынки военные аэропланы. Отъ конечной остановки трамвая до кладбищенскихъ воротъ — широкій и пыльный проспектъ былъ полонъ гуляющими. Ближе къ воротамъ вдоль тротуара сидъли продавцы траурныхъ вънковъ; преобладали никогда мною прежде невиданные хвойные обручи съ ярко - лиловыми или желтыми, какъ у Гамсуновскихъ героинь, лентами. На кладбищъ было людно и прохладно.

Есенинъ уложенъ широко, барственно на разметанныхъ старыхъ могильникахъ. Большой четыреугольникъ роскошной чугунной ограды («работа мирнаго времени») на высокомъ цоколѣ окружаетъ мохнатый зеленый холмикъ. Моя спутница вкапываетъ принесенные блѣднорозовые левкои. Земля усыпана желтымъ песочкомъ. Нѣтъ скамьи и нѣтъ креста.

Къ морщинистой корѣ стараго тополя — единственно - естественнаго въ этомъ прилизанномъ до неприличія мѣстечкѣ — прибита черная дощечка съ бѣлою надписью:

#### «Сергъй Есенинъ».

Подлѣ тополя, внѣ ограды, на скамейкѣ — молодой военный съ двумя дѣвушками. Наше настроеніе окончательно испорчено, и мы охотно вступаемъ въ бесѣду.

Дъвушки — провинціальныя поклоиницы поэта, военный — москвичъ, демонстрирующій имъ столичныя достопримъчательности. Онъ горячо порицаетъ «культъ есенинщины», съ которымъ партія пока еще не въ силахъ справиться, но который понемногу все же слабъетъ. Моя спутница горячится, что не ху-

лиганство и безволіе въ Есенинъ чтитъ, а кондовую русскую пъсенность.

Одна изъ дъвушекъ горячо подхватываетъ:

- Рая, помнишь, помнишь, на вечерѣ Маяковскаго: «Даешь новый бытъ!»
  - Помню.
  - А что? спрашиваю я.
- Знаете ли, Маяковскій Есенина терпѣть не можетъ (въ годъ моей поѣздки самъ Маяковскій еще былъ въ живыхъ). Единственный, хоть и мертвый, конкурентъ во всероссійскомъ масштабъ.
  - А Демьянъ?
- Ну, кто Демьяна считаетъ поэтомъ! Такъ... Сосновскій въ стихахъ... что вышло на вечеръ, слушайте, Прочелъ Маяковскій два - три своихъ стихотворенія, и опять перерывъ. Публика ропщетъ: третій перерывъ, а чтенія никакого. Скоро и 12, послѣдніе трамваи, значитъ. Онъ же въ отвътъ на возгласы: — Это, — говорить, — чтобы всъ успъли запастись книжками Лефа, глъ мои новые стихи напечатаны. Продаются у входа... Тутъ публика совсъмъ разсвирипъла. - «Есенину къ такимъ способамъ прибъгать не приходилось!> кричатъ. Маяковскій въ отвѣтъ: — «Но что еще хуже, его приходилось продавать государственному издательству...> Что тутъ сдълалось!.. — «Вонъ! Клеветникъ! Хоть мертвыхъ оставьте въ покоѣ!.. «Маяковскій — голосъ, какъ труба, — оретъ: — «Меня не перекричите, я самъ всякаго перекричу!.. Что, покойничковъ вспоминать къ ночи боитесь?» Скандалъ былъ страшенный.
  - И чѣмъ же кончилось?
- Ничѣмъ. Онъ, вѣдь, жуликъ, сталъ цитировать Бухарина и такъ все подвелъ, что стали апплодировать.
  - Почему?

Дъвушка замялась. Военный поспъшилъ перемънить тему:

- Здѣсь поблизости еще двѣ могилы: Ширяевца и Невѣрова. Знаете?
  - Да. Благодарствуйте.

Александра Ширяевца, поэта - народника, любилъ Есенинъ, друженъ былъ, горько плакалъ надъ его могилой, и все ладно такъ устроилъ, по - христіански: и высокую цементную гробницу и благообразный крестъ съ черной надписью:

Александръ Васильевичъ Ширяевецъ 1887 — 1924.

На полдорогѣ отъ Есенина къ Ширяевцу — высокая серебристая клѣтка Невѣрова, автора повѣсти: «Ташкентъ городъ хлѣбный», рано умершаго, чуть ли не въ 1921 году. На могилѣ — большой и вычурный памятникъ, безъ креста.

Объ эти могилы — вглубь кладбища, за Есенинымъ, въ бездорожьи, и пробраться къ нимъ сквозь кусты крапивы и всякаго сорняка не легко. Очевидно, многіе за могилу Ширяевца принимаютъ сосъднюю убогую могилку, потому что на крестъ послъдней — карандашная надпись:

— Товарищи! Могила Ширяевца не здѣсь, а дальше — за Невѣровымъ, и нарисована стрѣлка, указующая направленіе.

Вернувшись къ Есенину, мы уже никого не застаемъ. Компанія отправилась на могилу Баумана, героя революціи 1905 г., здѣсь похороненнаго, въ честь котораго на кладбищѣ «аллея Баумана» и въ городѣ «театръ им. Баумана».

Тогда неожиданно мы видимъ, что съ другой стороны тополя—точно такая же дощечка, какъ у Есенина, съ лаконическою надписью: «Галя».

Мы теряемся въ догадкахъ. Прибъ-

жавшія два болтливыхъ подростка — пятнадцатильтнія дъвочки посвящаютъ насъ во всъ подробности, и тогда мы вспоминаемъ уже читанное.

Это — могила Г. А. Бениславской, которую одинъ изъ біографовъ Есенина называетъ «самымъ преданнымъ другомъ его послъднихъ лътъ». Въ ней онъ нашелъ ръдкое соединение жены, любящаго друга, сестры, матери. устали, безъ упрека, безъ ропота несла она тяжкую ношу заботъ о Есенинъ: отъ печатанья стиховъ, раздобыванья денегъ, заботъ о здоровьъ, больницахъ, охраны его отъ назойливыхъ кабацкихъ «друзей», до розысковъ его ночами въ милиціи. Этого ръдкаго и, нужно сказать, единственнаго друга Есенинъ недостаточно цѣнилъ. Онъ часто твердилъ:

— «Галя мнѣ другъ, Галя мнѣ единственный другъ». Но еще чаще забывалъ это.

Когда между ними произошелъ разрывъ, Есенинъ понялъ, что потерялъ цѣннѣйшую опору въ жизни. Онъ вышелъ изъ ея комнаты и въ коридорѣ сказалъ себѣ:

— «Ну тепсрь ужъ никто меня не любитъ, разъ Галя не любитъ!»

Среди множества причинъ, которыя въ итогъ привели Есенина къ гибели, разрывъ съ Бениславской былъ не послъдней.

Драма ея — загадка. Чувствовала ли она себя виновной въ его самоубійствъ?

Во всякомъ случаѣ, она не перенесла его ухода, и весной 1925 г. застрѣлилась.

По словамъ дѣвочекъ, каждое воскресенье приходящихъ сюда «кататься на калиточкъ и здороваться съ Сережей», былъ надъ могилой Гали и крестъ со стихами и мѣстомъ для портрета, и цвѣты. Но съ тѣхъ поръ, какъ мать и се-

стра ея уѣхали изъ Москвы, крестъ кто то распорядился убрать...

«...Или украли?.. Вотъ и у Есенина изъ ограды скамеечку стащили...»

И вообще стало грязнье. Вънки въ безпорядкъ свалены на стороннюю могилу... А. Формаковъ.

## Нъмецкие писатели о Сов. Россіи.

Интересъ къ совътской Россіи. — которая является Западу въ пресловутомъ тройномъ ореолъ: опыта, - примъра, загадки, - не остываетъ у иностранцевъ, въ частности у нъмцевъ, и новыя книги, безпрерывно появляющіяся на рынкъ, критика встръчаетъ уже привычной насмѣщкой. относящейся столько къ качеству ихъ, сколько къ количеству. Нъкоторое недовъріе къ расплодившимся спеціалистамъ по русскимъ вопросамъ не лишено, конечно, основанія, - но критика все-же близорука: именно огромное количество появившихся уже книгъ о Россіи обезпечиваетъ сравнительно высокое качество новъйшей литературы; уже нельзя теперь безпечнымъ интуристомъ прокатиться изъ края въ край и сообщить міру, что «русскіе любятъ ГПУ» (Барбюссъ) и живутъ въ тъснотъ по свойственной ихъ характеру общительности (Теодоръ Дрейзеръ). Нынъшніе путешественники ъдутъ въ Россію, вооруженные накоторымъ знаніемъ русскаго языка, общимъ представленіемъ о совътской Россіи (и очень туманнымъ - о старой) и твердымъ намъреніемъ все **у**видѣть своими глазами и обо всемъ дать объективный отзывъ.

За послѣдніе 5-6 лѣтъ на нѣмецкомъ языкѣ вышло болѣе 100 книгъ о поѣздкахъ въ Россію (Reiseberichte), не считая, конечно, спеціальныхъ, — экономическихъ, политическихъ и другихъ работъ. Не имъя возможности охарактеризовать подробно все сколько-нибудь значительное, я хочу отмътить только самыя существенныя тенденціи въ отношеніи нъмецкихъ авторовъ къ Россіи.

«Какъ-же худо должно быть намъ въ Европъ, сказалъ одинъ изъ путешественниковъ-иностранцевъ, — если мы не перестаемъ съ такой страстной надеждой и ожиданіемъ смотръть на Востокъ!».

Дъйствительно, безкорыстно - любо пытствующихъ, т.-е. равнодушныхъ къ результатамъ поъздки, среди нынъшнихъ туристовъ почти нътъ. Съ волненіемъ смотрятъ на Востокъ и безпартійные наблюдатели, и правые націоналисты и, конечно, коммунисты, — вольные и невольные, купленные и неподкупные.

Изъ « сочувствующихъ я укажу на одного — Юл. Гайду Julius Haidu, «Russland 1932», Phaidon-Verl.), не потому, чтобы его книга была хороша, а потому, что чрезвычайно характерно ея построеніе: «Европа гибнеть — поэтом у пятильткь обезпечень полный успьхь».

Такого рода логика симптоматична, и если другіе авторы порой иначе строять свои силлогизмы, то все-же «Европа гибнеть» очень часто служить, — можеть быть, безсознательно, — и постулатомъ и импульсомъ пофздки въ Россію.

Острое ощущеніе неблагополучія, рѣзкаго перелома, предчувствіе гибели многаго, что создавалось десятилѣтіями, охватываетъ сейчасъ все болѣе широкіе круги нѣмецкой интеллигенціи. Фридрихъ Зибургъ, культурный и тонкій писатель, котораго прозвалъ кто-то «послѣднимъ европейцемъ въ Германіи»,

авторъ извъстной книги о Франціи «Der liebe Gott in Frankreich». передаетъ это настроеніе отчетливъе другихъ. Его книга «Die rote Arktis» полна очарованія, которому трудно не поддаться. Очаровательно искусство изъ поъздки на ледоколъ «Малыгинъ», во время которой въ сущности ровно ничего не происходитъ, создать умную книгу, очень тонко анализирующую сущность «молодой Россіи»; очаровательна иронія добродушно-грустная автора, «послъдняго европейца», бесъдующаго съ комсомольцами, полными жизнерадостности и гордой увъренности въ томъ, что это «у насъ въ Союзъ, наши совътскіе изобръли и ледоколъ, и радіотелеграфъ». Какъ-бы для заостренія контраста, книга написана въ Девонширъ, въ культурномъ и безмятежномъ уголку старой Англіи — и открывается заклинаніемъ «послѣдней девонширской розы»: «Я знаю, ты должна опасть, но помедли, подожди меня, насъ всѣхъ»...

Потому ли, что истерическіе вопли плакатовъ и языкъ статистическихъ колонокъ потеряли свою убъдительность и въ Европъ, или потому, что интересъ нъмцевъ къ Россіи углубился и пріобрълъ страстный и личный оттънокъ, вниманіе туристовъ привлекаетъ теперь не «гигантская стройка», а средній совътскій обыватель, тотъ, кто стоитъ въ очередяхъ, ходитъ на службу, влюбляется, старъетъ и умираетъ, — во имя и за счетъ котораго совершается эта стройка.

О немъ говорятъ авторы лучшихъ, — правдивыхъ и сравнительно безпристрастныхъ книгъ о Россіи: Артуръ Рундтъ (Der Mensch wird umgebaut, Berlin 1932), въ короткихъ наброскахъ запечатлъвшій новый бытъ, Гансъ Зимзенъ (Siemsen, Russland ja und nein, Ber-

lin 1932), Р. Мирбтъ (Sowjetrussische Eindrücke, München 1932), Jl. и Э. Куммеръ (Das Land ohne Sonntag, Leipzig 1932), Эрихъ Кохъ-Везеръ, извъстный политическій дъятель, членъ германскаго правительства 1920-1921 F.F. (Russland von Heute. Dresden 1928). Арминъ Вегнеръ (5 Finger über Dir. Stuttgart 1929), романтическій поэть, Александръ Шана (Lenins Erbe, Bratislawa 1932), Г. Ульманнъ (Kolonisation oder Zerstörung, München 1932), Г. и Е. Вейхманъ (Alltag im Sowjetstaat, Berlin 1931) и много другихъ, писателей, журналистовъ и простыхъ смертныхъ, досужихъ путешественниковъ. Сколько разныхъ глазъ и точекъ зрѣнія. Сколько различныхъ подходовъ и воспріятій — и, конечно, столько-же выволовъ. «Совътская россія — такой сложный, неевропейскій, непонятный европейцу организмъ и ея развитіе и булущее полны такого огромнаго значенія, что отчеть о ней является болъе отвътственнымъ, чъмъ отчеть о какой бы то ни было другой странъ», говоритъ Г. Зимзенъ — «поэтому такъ трудно разсказывать о ней объективно, sine ira et studio. Кому изъ насъ удается видъть въ Россіи не то, что мы хотимъ видъть, а то, что есть въ дъйствительности?».

Но одно общее настроеніе свойственно въ большей или меньшей степени всѣмъ авторамъ названныхъ книгъ: изумленіе, недоумѣніе, порой искренняя боль за человѣческое страданіе, превосходящее доступные представленію европейца размѣры. Зачѣмъ, спрашиваютъ они, эти терпѣливыя очереди, извивающіяся въ сугробахъ, безпризорныя дѣти въ лохмотьяхъ, лишенія, голодъ, страхъ, — если теперь на пятнадцатомъ году революціи, равенства

нътъ и въ поминъ, рабочіе живутъ въ условіяхъ неизмъримо худщихъ, чъмъ нъмецкіе безработные, деньги играютъ не меньшую, а большую роль, чъмъ въ Западной Европъ, а перемъны, улучшенія не предвидится? Удручающую картину совътскаго быта рисують Вейхманъ, А. Шана, Куммеръ и др.: давка въ столовыхъ и чайныхъ, давка въ трамваяхъ, нищета, грубость и страхъ. Но за удивительной для европейца нетребовательностью и безграничнымъ терпъніемъ нъмецкіе писатели угадываютъ настоящую человъчность, готовность къ самопожертвованію во имя. --«да не все ли равно, во имя чего? говорить Р. Мирбть, скептическій и трезвый наблюдатель, какой удивительный народъ! Какая воля къ забвенію себя. къ коллективу! Но наша первая обязанность цѣной всѣхъ возможныхъ усилій, освободить нѣмецкій пролетаріатъ отъ этого страшнаго призрака коллективизма».

Въ конечномъ счетъ огромный вопросъ «Россія» ставится нъмцами именно такъ: что такое Россія и большевизъ? Удастся ли русскій опытъ? Годится ли онъ для насъ?

Если еще и всколько лътъ тому назалъ иностранцамъ свойственно было разсматривать Россію, какъ случайный объектъ коммунистическаго эксперимента ,то теперь они впадають въ другую крайность: Россію отожествляють съ большевизмомъ. «Большевизмъ на 80 процентовъ Россія и только на 20 процентовъ — коммунизмъ», утверждаетъ Зимзенъ. «Большевизмъ возможенъ только въ Россіи, говоритъ Л. Куммеръ, уже 15 лътъ русскій народъ живетъ въ условіяхъ, какихъ Европа не знала никогда, ни при какихъ обстоятельствахъ». Впервые въ нѣмецкихъ

книгахъ звучитъ новая нота, поражающая особенно русскаго читателя, — прокакъ-бы европейская собуждается въсть, чувство отвътственности за то, что происходитъ въ Россіи: ночью, въ половинъ второго, журналистъ Г. Зимзенъ выходитъ изъ Грандотеля («только для иностранцевъ!») на Красную площадь и видить: въ нѣсколькихъ шагахъ отъ ленинскаго мавзолея, у потухшаго костра, въ котлъ отъ асфальта, какъ въ суповой мискъ, спятъ безпризорныя дъсвернувшись клубкомъ другъ на . ти. другъ, въ черныхъ лохмотьяхъ, сквозь которыя просвѣчиваетъ всюду розовое голое тъло. «Боже мой, да что-же тутъ происходить? Что туть было? А мы -- мы живемъ въ нашихъ квартирахъ изъ 3 комнатъ, въ кафе, въ бюро, фабрикахъ, - въ Европъ, въ Берлинъ, и высчитываемъ сколько мандатовъ получатъ націоналъ-соціалисты при слѣдуюшихъ выборахъ въ Рейхстагъ!».

Конечно, не одни только лишенія, терроръ и голодъ замъчаютъ иностранны въ Россіи. Очень многое представляется имъ положительнымъ, — чаще всего отмѣчаются достиженія педагогики, гигіены, просвъщенія и т. д. Особенно-же подкупаетъ «молодость» страны, ея возможности. Спряженіе глаголовъ въ будущемъ времени, употребительное въ Россіи, передается и иностранцамъ. И, конечно, въ активъ большевизма по незнанію заносятся и извѣчно русскія явленія: веселая самоотверженность молодежи, общительность и даже «чудесный русскій театръ, несравненная режиссура и публика, какой не снилось нашимъ театральнымъ директорамъ» (А. Шана).

На свой первый вопросъ — что талкое Россія? — никогда не смогутъ отвътить иностранцы, ничего не знающіе о

довоенной, о николаевской, петровской Россіи, о безконечно сложных культурно-историческихъ явленіяхъ, породившихъ русскую жизнь, — или, что еще хуже, знающіе о нихъ что - то изъ совътскихъ источниковъ.

Но что такое большевизмъ? «Скажите, спрашиваетъ журналистъ А. Рундтъ коммуниста, - почему, стревилнаго мясь къ свободъ, вы идете окольными путями и создаете величайшій гнетъ?». Слъдуетъ уклончивый отвътъ со ссылкой на нъкую проститутку изъ разсказа Л. Андреева: передъ судомъ эта проститутка заявила, что не считаетъ себя христіанкой; она отреклась отъ Христа, но потому лишь, что считала себя недостойной его. — Такъ же и мы, прибавляетъ коммунистъ, - вамъ кажется, что мы господствуемъ насиліемъ и гнетомъ, - но мы дълаемъ это во имя свободы. — Литературная аналогія не удовлетворяетъ Рундта; черезъ нъсколько мъсяцевъ онъ догадывается, что вопросъ его былъ до крайности наивенъ. Они вовсе не идутъ окольными путями къ свободъ, они не ищутъ ее въ европейскомъ ея смыслъ. Свобода буржуазный предразсудокъ, сказалъ еще Ленинъ. Все въ порядкъ. Удивляться было нечему.

Въ этомъ открытіи заключается уже и отвѣтъ на слѣдующій вопросъ: удался-ли опытъ? «Удался или нѣтъ — кто можетъ на это отвѣтить? говоритъ А. Шана, и какое можетъ для на съ имѣть значеніе ихъ удача, если результаты совершенно не совпадаютъ съ тѣми, какіе имѣютъ въ виду въ Европѣ? ...А если не удался — значитъ-ли это, что большевизмъ обреченъ! Это ничего не значитъ. Дважды два — вовсе не всегда четыре. Европейская таблица умноженія непримѣнима въ Россіи».

Русскій опыть не можеть служить для Германіи примъромъ. «Мы можемъ многому научиться у русскихъ, мы должны учиться на ихъ недостаткахъ и ошибкахъ. Но учиться — не значить подражать. Россія — не Германія» (Г. Зимзенъ).

Въ связи съ этимъ у нъсколькихъ авторовъ возникаетъ вопросъ, который, быть можетъ, не пришелъ-бы имъ въ голову до революціи: Европа-ли Россія? На это и Г. Зимзенъ и Г. Ульманъ и другіе ръшительно отвъчають: нътъ «Россію отъ Европы отличаетъ не раса, не климатъ... даже не иной образъ жизни, не иной родъ культуры и цивилизаціи. Первопричина (das Primäre) — это пустота, необъятная, незаселенная ширь этой страны. иное представленіе о пространствъ и (поэтому) о времени... Тотъ, кто хоть разъ пережилъ это, пойметъ, что Россію нельзя отожествлять съ Европой. русскія понятія и условія жизни нельзя перенести въ Европу, --- менъе всего въ Германію» (Г. Зимзенъ). «Европейское понятіе времени тъсно связано съ понятіемъ неповторимой личности, которой отведенъ на землъ краткій срокъ, какъбы дополняетъ Ульманнъ русское знаменитое терпъніе - ничто иное, какъ равнодушіе къ индивидуальному существованію, къ понятіямъ «теперь» «злѣсь». — Все это говорится безъ малъйшаго оттънка національнаго высокомфрія: просто отмъчается различіе, проводится раздъляющая черта.

Въ русской эмиграціи книги иностранцевъ о Россіи вызывають обычно чувства досады и глухой ревности. Реакція законная, — причинъ ее объяснять не приходится.

Конечно, о странъ и народъ можетъ върно судить только настоящій ея зна-

токъ, — или-же «свой». Но при теперешнихъ условіяхъ намъ должны быть дороги и эти слабые, въ персбой звучащіе, противоръчивостью дополняющіе другъ друга голоса, — единственные живые голоса, доходящіе изъ-за глухой стъны.

### Е. Залкиндъ-Аленина.

## Споръ о Достоевскомъ.

Въ Прагъ, въ Семинаріи по изученію Ф. М. Достоевскаго, существующемъ при Русскомъ Народномъ Университетъ, состоялась, въ концъ октября 1932 года, интересная дискуссія, собравшая большую аудиторію, по поводу статьи Г. А. Ландау, «Тезисы противъ Достоевскаго», напечатанной въ шестой книгъ «Чиселъ».

Руководитель Семинарія, А. Л. Бемъ подробно изложилъ основныя положенія статьи Г. А. Ландау. Въ преніяхъ, кромъ докладчика, сказавшаго и заключительное слово, приняли участіе проф. И. И. Лапшинъ, проф. Е. А. Ляцкій, Г. М. Катковъ, Р. В. Плетневъ и С. А. Левицкій.

Была отмъчена своевременность и характерность выставленныхъ въ статъъ тезисовъ, хотя существо нъкоторыхъ утвежденій Ландау и отдъльныя его формулировки подверглись серьезному оспариванію.

А.

# Берлинская хроника.

#### 1. О союзь поэтовъ.

Берлинскій клубъ поэтовъ, основанный въ февралѣ 1928 года, собирается регулярно два раза въ мѣсяцъ. На засѣданіяхъ обсуждаются стихи и проза членовъ клуба. Предметомъ обсужденія служитъ также творчество русскихъ писа-

телей, какъ въ эмиграціи, такъ и въ Россіи. Изданы два сборника стиховъ «Новоселье» (1931) и «Роща» (1932) и предполагается къ веснъ выпустить третій.

Литературныя теченія, представленныя въ клубъ поэтовъ разнообразны, но въ этомъ разнообразіи можно уловить общую тенденцію: отходъ отъ эстетизма (неравнозначный съ отходомъ отъ романтики) и стремленіе къ предъльной искренности, сочетающееся съ бережнымъ отношеніемъ къ формъ. Метафизическая устремленность объединенія можетъ быть яснъе всего выражается въ шутливомъ фактъ избранія Океана, «сим вола безконечности и мощи», въ почетные члены клуба поэтовъ.

## 2. Содружество славистовъ.

Въ маъ 1932 года съ согласія профессоровъ восточно - европейской исторіи и славистики: О. Геча, М. Фасмера, К. Штелина при Берлинскомъ университетъ было основано Содружество славистовъ « Slavistische Arbeitsgemeinschaft ». Оно состоитъ изъ студентовъ и молодыхъ докторовъ, нъмцевъ и русскихъ и ставитъ себъ цълью изученіе славистики въ самомъ широкомъ смыслъ этого слова. Оно не ограничивается филологіей, а занимается также и проблемами исторіи и исторіи литературы. Въ теченіи лѣтняго семестра работало три секціи: секція историко-политическая («Національныя меньшинства въ Россіи и въ славянскихъ странахъ»),секція историколитературная («Проблемы русскаго романтизма»), секція среднев вковой исторін («Ярославъ Мудрый и его время»). Въ зимнемъ семестръ, кромъ названныхъ секцій, будетъ работать секція, занимающаяся проблемами Балканскаго полуострова. Занятія происходять въ по-Gesellschaft мъщеніи Deutsche

Studium Osteropas съ которымъ Содружество состоитъ въ тъснъйшемъ контактъ. Секретаръ Deutsche Gesellschaft К. Менертъ является одновременно предсъдателемъ президіума Содружества. Содружество намътило рядъ открытыхъ выступленій. Первое изъ нихъ состоялось въ іюлъ и было посвящено русской лирикъ отъ Пушкина до нашихъ дней.

## Литературные вечера въ Парижъ.

Изъ литературныхъ вечеровъ этого сезона отмътимъ доклада Ю. Фельзена « О вліяніи европейской литературы на эмигрантскую», В. Вейдле «О чистой поэзіи», Г. Адамовича «О Блокъ» и «О молодыхъ эмигрантскихъ прозаикахъ». Въ ближайшее время «Числа» устраиваютъ диспутъ на французскомъ языкъ: «Андрэ Жидъ и СССР».

#### Осенній Салонъ.

«Гвоздемъ» Салона безспорно является посмертная выставка Лапрада, одного изъ лучшихъ художниковъ нашего времени. У Мерваль есть свой, къ сожалѣнію, слишкомъ уже «декоративный» стиль. Выдъляются также работы Бріянсона и Легеля, а среди русскихъ эффектная танцовщица Терешковича и весьма пріятная по цвъту большая работа Пикельнаго. Прелестны эскизы Ларіонова къ «Лисичкъ» и очень нарядны костюмы Гончаровой.

# Новая постановка Сергия Лифаря.

Творчество въ танцѣ испытываетъ всѣ вліянія новой міровой атмосферы искусства и у особенно одаренныхъ дѣятелей балета оно измѣнилось не меньше, чѣмъ,

напримъръ, музыка или живопись послъднихъ лътъ.

Говоря очень приблизительно, Лифарь отошелъ отъ кубизма и приблизился къ классическому балету. Говоря нъсколько точнъе, хотя и можетъ быть на менъе ясномъ языкъ, — Лифарь освобождается отъ воли композитора. Время «Весны



Сергъй Лифарь

Serge Lifar

священной» для него прошло, онъ воскрешаетъ дыханіе болѣе старыхъ вещей. Композиторъ по его мнѣнію долженъ видѣть въ сознаніи жесты всего тѣла танцоровъ и только плавная цѣльность и музыкальность движенія должны быть центромъ новыхъ балетовъ.

Кубизмъ танца обращенъ къ разсудку, а нужно, чтобы танцовщикъ пробуждалъ настроеніе. Это не значитъ, говоритъ Лифарь, что построеніе танца не должно быть сознательнымъ, это значитъ, что интуиціи въ творчествъ балетовъ возвращается ея доминирующая роль. Волевое творчество развиваетъ голову, забота подсчитывать па и слагать танецъ въ кубистическую схему мъщаетъ сейчасъ Лифарю. Передъ авторомъ Прометея новыя задачи, новый этапъ развитія.

Въ этихъ настроеніяхъ имъ созданъ замъчательный новый балетъ «На берегахъ Борисфена».

Насколько «Петрушка» показалъ Петербургъ, а «Жаръ - Птица» народную сказку, настолько новый балетъ Лифаря долженъ показать бытъ Украины. «Гоголизмъ» этой постановки, ея грустная радость, во время, напримъръ, прохожденія купальщиковъ, на фонъ безконечной степи, — все это очень Россія, какъ и, конечно, имена Лифаря, создателя былета Прокофьева, написавшаго музыку въ этой вещи и Ларіонова и Гончаровой, авторовъ прекрасныхъ декорацій.

Въ соединеніи этихъ талантовъ центральное мѣсто все же, разумѣется, у Лифаря, и вдохновителя остальныхъ и несравненнаго по совершенству танца исполнителя главной роли.  $H.\ O.$ 

### Пикассо.

«Le génie, c'est le sentiment de la ressource». Врядъ ли эти слова Жида всегда върны. Они односторонни; они предполагаютъ геній - разумъ, геній сплошь и до конца дневной. Но къ Пикассо примънить ихъ можно, и даже только примънивъ ихъ къ нему, мы оцънимъ весь ихъ смыслъ. Съ нимъ они

получать цъль и попадуть въ нее безъ ошибки: притомъ не только подчеркнутъ, но сразу же и ограничатъ. Даръ Пикассо лѣйствительно въ этомъ одномъ: въ умъніи найтись, въ неизмънномъ присутствіи духа, въ знаніи о томъ, какъ «выйти изъ положенія». Его какъ силлогизмъ, картины построены его живопись діалектична. Онъ водружаеть препятствія съ тѣмъ, чтобы ихъ осилить: онъ придумываетъ лабиринты, дабы искать изъ нихъ выхода; онъ ставить себъ запачи только для того, чтобы ихъ ръшить.

\*\*

Какъ **усмотр**ѣли классицизмъ даже энгризмъ зъ нъкоторыхъ его рисункахъ и портретахъ — не ясно. Рисунки Энгра передають полноту формы олной незыблемой, но чувственной, живой, только что остывшей линіей. Они отвлекають отъ предмета какъ разъ самое въ немъ конкретное. Пикассо вообще ищеть не форму, скоръй схему. Его линія не обрисовываетъ предметъ, она его изъясняетъ. Его рисунки рождаются не естественнымъ воспринимающимъ чувствомъ, а другимъ, болъе интеллектуальнымъ, знаніемъ, въ нихъ отражается не единовременно воспринятый образъ, а средній результатъ повторныхъ наблюденій. Композиціонное намъреніе здъсь отступаетъ на второй планъ передъ странной, немного жуткой, какъ бы гальванизованной жизнью этой искусно полученной линейной формулы. Здѣсь, какъ и всюду, искусство Пикассо ищетъ не центръ, а границу, не разрядъ, а напряженіе. Это не классическій міръ живого равновѣсія и органическаго соотвътствія частей, это — другой міръ.

Ла это и не міръ вообще, не цѣлостно задуманная вселенная. Прежде всего это выборъ. Пикассо выбираетъ всегда. Сперва для себя — среди вещей, потомъ въ себъ - среди своихъ возможностей, наконецъ, у себя - среди своихъ картинъ. Каждая выставка его - результатъ этого послѣдняго выбора. - и произвола. Въ ней можетъ быть единообразіе, но не единство. Предположимъ. что Пикассо отобралъ для нея среди работъ послъднихъ лътъ тъ, что связаны въ извъстной степени съ прежнимъ его кубизмомъ. Но за это время онъ писалъ и совершенно другія веши: разъ онъ могъ ихъ написать, онъ могъ ихъ и выставить. Въдь въ каждый данный моментъ онъ можетъ написать все, что онъ захочетъ, все, что изберетъ; и выбора его не стъснитъ излишне требовательная совъсть.

뺳

Творчество у Пикассо не столько въ картинъ, сколько до нея. Оно уже въ сознаніи его, въ разборчивости замысла и вкуса. Оно уже въ реквизитъ его мастерской. Эта мраморная рука создана не только въ картинъ, какъ форма; она уже творчески увидъна въ лавкъ старьевщика, гдъ Пикассо ее нашелъ: его искусство началось уже тамъ. въ прекрасномъ «Натюрмортъ съ апельсинами» уже самый замыселъ прекрасенъ, потому что въ немъ уже все заключено. Ничего не прибавилось къ замыслу при исполненіи. Онъ только до конца исполненъ, не написанъ даже, а какъ бы вычерченъ ни разу не дрогнувшей рукой.

Всевозможность, — это слово нужно выдумать, чтобы опредълить искусство Пикассо. Въ немъ встръчаются всъ пути

современной живописи, многіе изъ него идутъ, но ни одинъ къ нему не призодитъ и ни одинъ не завершается немъ. Пикассо умфетъ строить: вфль кубисты учились у него. Но его картина — не всегда самодовлѣющее единство. создающее собственную пространственность. Иногда онъ разсматриваетъ лишь какъ плоскость, заполненную узоромъ: декоративная прелесть дается ему легко. И другая стихія — выразительность — такъ же ему подвластна; она не только первенствуетъ въ его раннихъ вещахъ, она готова къ нему вернуться и теперь. Потому-то всв и учились у него разному - не у него, у его картинъ. Такъ, Прюна вышелъ цъликомъ изъ нъсколькихъ рисунковъ; Люрса, Лагленнъ, Маркусси вдохновлены по разному такими вещами, какъ «Одалиска» (и далеко ея не превзошли); но Пикассо — не въ рисункахъ, не въ «Одалискъ», не въ какой другой изъ своихъ картинъ - и даже вообще не въ своемъ искусствъ... Всъ способности его безграничны, кромъ дара воплощать себя.

B, B,

Мане.

Сперва, чѣмъ больше глядишь, тѣмъ больше онъ ослѣпляетъ: я не нахожу ничего, кромѣ метафоры, для опредѣленія Мане. Міръ его не кажется намъ чѣмъ то круглымъ, закрытымъ со всѣхъ сторонъ, непререкаемо законченнымъ, подобно міру Энгра, Коро, Курбе или Сезанна. Мане его выбралъ, а не сотворилъ; онъ произвелъ какой-то мгновенный разрѣзъ сквозъ живопись и сквозъ природу. Его геній — лезвее ножа, и онъ совершаетъ имъ нѣчто въ родѣ снятія катаракта: цѣлительную и опасную

операцію. Не успъешь опомниться онъ уже ослѣпилъ насъ и заставилъ прозрѣть. Мы начинаемъ видѣть теперь по новому. Мы еще не поняли, но мы обольщены. Кого не обольстить самый острый вкусъ, самая блестящая, самая умная кисть въка? Каждый разъ, каждой вещи Мане, ощущаешь, какъ ударъ хлыста, это безпощадное, разсудочное совершенство. Не оно ли такъ непримиримо, не оно ли возстановляло противъ него людей? Оно ничъмъ не подготовляетъ ихъ къ себъ и ничъмъ себя не извиняетъ. Я понимаю посътителей салона, бросившихся съ палками на его холсты; наше восхищение еще и сейчасъ похоже на ихъ злобу. Мане все еще передъ нами во всей своей безсмертной новизнъ. Къ импрессіонистамъ мы давно привыкли, къ Сезанну тоже, да и все, что когда то удивляло, рано или поздно перестанетъ удивлять; только искусство Мане всегда останется, какимъ осталось, - вызывающимъ, непривычнымъ, новымъ, какъ шестьдесять льть тому назадъ.

Съ общими признаками этого искусства связано и его живописное существо. Существо это - въ столкновеніяхъ и контрастахъ, въ борьбъ всъхъ элементовъ картины между собой, въ ихъ внезапномъ равновъсіи и пойманномъ на лету единствъ. Недаромъ учителями Мане были испанцы, особенно Веласкесъ, художникъ родственный ему уже своей интеллектуалистской прозрачностью и наготой. Въ своемъ стремленіи передать чистую видимость вещей Мане не приходитъ, какъ импрессіонисты, къ распыленію мира, но къ собиранію его въ отточенныхъ, пересъкающихся граняхъ. Красочную и свътовую стихію онъ сводить сперва къ противопоставленію чернаго и свътлаго, потомъ

цвъта и не-цвъта, еще позже цвътовъ между собой, сохраняя притомъ всю ихъ несогласованную, несближенную ясность.

Нигдъ Мане не ищетъ освободиться отъ изобразительной условности, какъ тшетно искали вокругъ него; онъ знаетъ, что живопись безъ нея существовать все равно не можетъ; онъ хочетъ только перемъстить. заострить ее и тъмъ самымъ обновить наше воспріятіе міра. Эта новая условность, это дробящее, разсъкающее зръніе восполняется у Мане единствомъ живописнаго письма. Почеркъ Мане ослъпителенъ. Его кисть преображаеть все, она ведетъ насъ за собою, она, какъ молнія, освъшаетъ міръ. Не только то, что ею создано, хорошо; уже самое создаваніе прекрасно. Если подъ чистотой въ искусствъ разумъть крайнее сосредоточеніе творческихъ силъ на однихъ именно этому искусству присущихъ способахъ выраженія, то чистая живопись — это живопись Мане.

B. B.

#### Выставка Чапскаго

Выставка Чапскаго Въ галлереъ Виньонъ весной 1932 г. заслуживаетъ быть отмъченной не только изъ-за объективныхъ достоинствъ его живописи, но и потому что этотъ художникъ - новое и цънное пріобрътеніе такъ называемой «Парижской школы». Какъ Шагалъ, Сутинъ и другіе выходцы изъ русско - еврейской провинціальной среды нашли себя въ Парижѣ и среди сильнъйшихъ французскихъ художниковъ заняли свое очень замътное мъсто, такъ и у Чапскаго, представителя лучшихъ интеллектуальныхъ силъ русско - польскаго общества современной Польши,

есть серьезныя возможности внести свою личную ноту въ высокое искусство живописи, которое онъ пріталь изучать въ Парижъ, уже успъвшемъ его замътить.

Огромный вкусъ и рѣдкая культурность этого художника, прекрасно разбирающагося не только въ своемъ искус ствѣ, избавитъ Чапскаго отъ запоздалыхъ увлеченій крайностями. Онъ художникъ постъ-кубистическаго сознанія не безъ связи съ «дикими» и не безъ тайной памяти о лучшихъ импрессіонистахъ.

Въ современной Польшѣ Чапскій одинъ изъ живописцевъ наиболѣе своеобразныхъ и передовыхъ. Художественный Парижъ уже какъ бы «помазалъ» его, благословеніе царскаго города современной живописи у Чапскаго, послѣ его выставки — есть. Намъ же пріятно мимоходомъ отмѣтить и глубокую привязанность Чапскаго къ русской культурѣ, его преклоненіе передъ русской литературой, не только классической, но и новой, которую онъ любитъ и знаетъ, какъ далеко не всѣ русскіе художники.

H. 0.

# Письмо изъ Праги.

Два русскихъ художника, впервые участвующіе въ парижскомъ «Осеннемъ Салонъ», Сергъй Мако и Григорій Мусатовъ, вступили сейчасъ въ наиболъе зрълый періодъ своего творчества. Оба живутъ въ теченіе ряда лътъ въ Прагъ и принадлежатъ къ группъ «Скифъ», основной идеей которой является возвращеніе къ землъ первоначальной родины. Мако находитъ ее въ воспоминаніяхъ своей юности, проведенной среди алтайскихъ горъ. Это проявляется въ его опъченіи свътомъ, въ стремленіи къ чи-

стой живописи, основанной на преодольной линіи, на синтезъ Парижской Школы и суроваго воздуха его горныхъ, морскихъ и человъческихъ видъній.

Мусатовъ, болѣе строгій и аскетическій, ведетъ свое начало отъ классической дисциплины иконописи. Технически Мусатовъ приближается къ французской школѣ, но его коренное русское заключается въ настроеніи его картинъ изъ обывательской жизни, за небомъ которыхъ чувствуется степь.

Оба художника являются въ дни всяческой халтуры честными и воодушевленными поклонниками искусства.

Др. Фр. Кубка.

## Роспись Медонской церкви.

Русская религіозная живопись давно уже — со времени Кіевскихъ работъ Врубеля и Васнецова — ишетъ новыхъ путей или, върнъй, стремится выбиться на тотъ единственный возможный путь, на которомъ ей удалось бы совмъстить движение и жизнь съ исконной и незыблемой въ основъ своей преемственностью православнаго религіознаго искусства. Путь этотъ вовсе не такъ легко найти въ хаосъ современнаго безстилія, среди паденія всъхъ національныхъ традицій, кромъ тъхъ, что еще живутъ въ современной французской живописи. Прислушаться къ ея уроку необходимо нынъ всякому художнику, но использовать этотъ урокъ въ области религіознаго искусства — особая задача и, конечно задача невъроятно трудная Нашлась однако скромная, мало кому извъстная до сихъ поръ русская художница, Ю. Н. Рейтлингеръ, всецъло посвятившая себя житейски неблагодарному, но творчески счастливому труду,



Роспись Медонской церкви

которая за эту задачу взялась и даже въ значительной мъръ съ нею справилась. Роспись, только что законченная ею въ русской церкви въ Медонъ, должна разсматриваться какъ весьма важная ступень въ дълъ обновленія нашей религіозной живописи. Глядя на эти большія плоскости, смъло-обобщенныя линіи, дневныя, непритушенныя краски, вспоми наешь Матисса (или все, что во французскомъ искусствъ прямо или косвенно ис-

Décoration de l'Eglise de Meudon

ходить отъ него), но одновременно чувствуешь и глубокую, отнюдь не насильственную, а вполнт органическую связь съ духомъ и стилемъ древней нашей иконописи; связь, ничего не имтющую общаго съ мертвеннымъ внтышнимъ подраженіемъ; связь, объясняемую не натурой стилизатора, а родствомъ вдохновенія, дара и молитвеннаго чувства.

R, R

# O comorpaciiu

Въ настоящее время имъется не малое количество художниковъ, избравшихъ себъ инструментомъ работы, вмъсто палитры, угля, иглы — фотографическій аппаратъ, дающій имъ цълый рядъ новыхъ возможностей.

Ежегодно фотографическіе салоны и выставки показывають намъ новыя достиженія въ этой области искусства и, часто, среди экспонатовъ мы можемъ встрътить вещи, поражающія насъ новизной трактовки и художественостью исполненія.

Современное фотографическое искусство развивается, мнъ кажется, по двумъ направленіямъ.

Одно изъ нихъ — исканіе новыхъ способовъ видѣть предметы окружающаго міра подъ новыми углами зрѣнія и при оригинальномъ освѣщеніи.

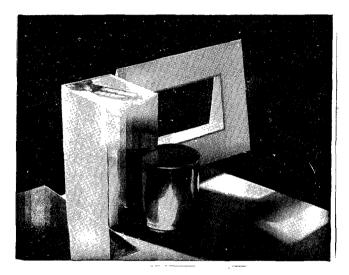
Вниманіе художника сосредоточивается, главнымъ образомъ, на композиціи, и распредъленіи свътовыхъ и тъневыхъ пятенъ.

Эта область фотографіи примъняется часто въ рекламъ. Неръдко въ журналахъ мы видимъ такого рода фотографіи, являющіяся вполнъ законченными художественными композиціями.

До недавнихъ поръ фотографическое

Другое направленіе въ фотографическомъ искусствъ устремлено на художественную печать (такъ наз. художественные позитивные процессы), имъющую примъненіе, главнымъ образомъ, въ портретной и пейзажной фотографіи.

Исканія въ этой области направлены на то, чтобы изображеніе было напечатано не жимическимъ способомъ на желатинной фотографической бумагъ, а



Nature morte es chomospachiu

Nature morte dans la photographie

искусство находилось подъ сильнымъ вліяніемъ живописи и наиболѣе удачными фотографіями считались тѣ, которыя приближались къ живописи и удалялись отъ фотографіи.

Теперь фотографическое искусство вышло на самостоятельную дорогу и неръдко оказызаетъ вліяніе на живопись и графическое искусство, какъ напримъръ, искаженіе перспективныхъ линій для усиленія эффектовъ въ архитектурныхъ пейзажахъ и nature morte'ахъ.

акварельной или масляной краской на рисовальной бумагѣ. Эти способы печати даютъ много свободы трактовки художнику, позволяя ему выдѣлять нужныя мѣста, придавать изображенію тотъ или иной характеръ, уничтожая ненужныя детали.

Благодаря новымъ способамъ художественной печати, фотографическое искусство стало равноцѣннымъ съ другими областями графическаго искусства.

Э. Марковичъ.

# Журналъ Бриджа

Съ іюня 1932 года въ Парижѣ выходитъ на французскомъ языкѣ, подъ редакціей Н. Вакара, ежемѣсячный журналъ, спеціально посвященный игрѣ въ бриджъ: — «Ла Ревю дю Бриджъ». Журналъ отлично издается на мѣловой бумагѣ, обильно снабженъ злободневными фотографіями и рисунками художниковъ. Въ немъ сотрудничаютъ виднѣйшіе міровые «авторитеты бриджа», а писатели, поклонники бриджа спеціально для него пишутъ статьи и разсказы: Тристанъ Бернаръ, академикъ Марсель Прево, Поль Ребу, Жео Лондонъ, Одеттъ Паннетье.

Въ декабрьскомъ номерѣ (№7) «Ла Ревю дю Бриджъ» напечатаны статьи французскаго законодателя бриджа Пьера Белланже, доктора математики Марселя Болль, швейцарскаго чемпіона бриджа и побѣдителя на недавнемъ германскомъ турнирѣ д-ра Пауля Геррмана, Сентъ - Альбана и др., а также данъ подробный анализъ партій, игранныхъ на Парижскій кубокъ 1931 года.

# Ежегодникъ теннисной федераціи.

Русская теннисная федерація въ Парижѣ выпустила второй ежегодникъ. Фотографіи, статьи и замѣтки этой книги дѣлаютъ ее цѣннымъ справочникомъ для русскаго теннисиста. Есть у ежегодника и болѣе широкія заслуги: это небезынтересный документъ эмигрантскаго быта.

Не стоитъ доказывать, что спортъ для многихъ не только развлеченіе, но и школа выдержки, выносливости. -школа характера. Одинъ изъ сотрудниковъ ежегодника утверждаетъ даже, что теннисъ, «создаетъ особую породу люотличающихся самообладаніемъ, смълостью, благородствомъ и имъющихъ даже свои особые внъшніе признаки». Не будемъ смъяться надъ этими преувеличеніями. Они понятны у энтузіастовъ тенниса. Несомнѣнно, что независимо отъ педагогической пользы этого благороднаго спорта, въ немъ есть элементы настоящаго искусства. Лобавимъ, впрочемъ,что въ этой способности всецъло поглощать всъ мысли и время игрока — и опасная сторона тенниса. особенно для тъхъ, чье призваніе другія, все же болѣе глубокія области творчества. Но это лишь оговорка, да и то для смягченія слишкомъ сильныхъ восторговъ.

Душой теннисной федераціи въ Парижѣ являются М. П. Владимировъ, Д. Д. Давыдовъ, А. А. Стаховичъ и др. Ежегодникъ — живое свидѣтельство ихъ интересной и плодотворной работы.

H. O.

#### П. Милюковъ.

Очерки по Исторіи Русской Культуры. т. ІІ, ч. 2-ая. Парижъ, 1931

Надо полагать, что Очерки перерабатывались авторомъ для новаго изданія въ томъ порядкъ, въ какомъ они печатались, сперва III-й томъ, затъмъ II-ой. Оттого, въроятно, ІІ-ой томъ снабженъ заключеніемъ, подводящимъ итоги изслъдованію развитія духовной культуры Россіи, которому посвящены оба тома, и формулирующимъ взглядъ автора на общій характеръ этого развитія-такъ что, пожалуй, ІІ-ой томъ следовало бы считать III-имъ, а III-ій — II-ымъ. Въ заключеніи, представляющемъ собою переработку соотвътствующаго мъста стараго изданія, авторъ оказался вынужденнымъ распространиться о томъ, что онъ разумъетъ подъ культурой, — считаясь съ пущеннымъ Шпенглеромъ (хотя и не имъ впервые установленнымъ) въ общій обороть противоположениемъ культуры и цивилизацій. Авторъ отмічаеть, что во французской терминологіи нътъ термина культура, а то, что называютъ культурой нѣмцы, французы зовутъ цивилизаціей, и разъясняетъ, что и для него культура и цивилизація термины однозначущіе. Цивилизацію, въ томъ смыслъ какъ понимаетъ это слово Шпенглеръ, нельзя противопоставлять Культуръ, ибо въ каждый историческій моментъ имъются на лицо элементы и того и другого. Шпенглеровой антитезъ авторъ предпочитаетъ ту, изъ которой она вышла, — Контову: антитезу «органическихъ» и «критическихъ» стадій развитія.

Однако, въ Контову формулу авторъ вкладываетъ иное, свое, содержаніе. «Критическая» стадія для него — стадія «сознательной» жизни, а переходъ къ этой стадіи равносиленъ для него выходу культуры изъ тъсныхъ рамокъ религіознаго традиціонализма или, что тоже, примитивной «народности», и пріобщеніе къ общечеловъческой жизни. что не исключаетъ сохраненія національнаго начала, напротивъ - впервые способствуетъ его раскрытію. Элементы Контовской концепціи здъсь на лицо, но уголъ зрънія иной. Для Огюста Конта «критическіе» періоды были періодами болѣзни; для своихъ тезиса и антитезиса создатель культа «Гранъ Этръ» ждалъ восполненія въ синтезѣ, въ «новомъ среднев вковь в». «Органичность» не была для него непремънно «безсознательностью» — и въ этомъ отношеніи онъ стояль прочиве на почвъ исторіи, чъмъ авторъ Очерковъ: время св. Өомы, Данте, Людовика Святого, было временемъ завершенія среднев вковой системы и вмъстъ -- ея осмысленія, торжества и «органичности» и «критичности» смыслъ, который усвоенъ этому терми-П. Н. Милюковымъ). Для автора Очерковъ «критическая» сталія есть высшая и окончательная стадія національнаго развитія. Признать это ему тъмъ легче, что, повторяю, Контовскій терминъ онъ понимаетъ иначе, нежели самъ Контъ: «критическая» стадія, согласно П. Н. Милюкову, характеризуется не непремѣнно безвѣріемъ, а отходомъ отъ традиціонной, неразсуждающей въры. Замъчательно тонко и глубоко про-

ведена у него, съ этой точки зрѣнія, параллель между духовной эволюціей русскаго народа и народовъ З.-европейскихъ, -- французовъ, съ одной стороны, нъмцевъ и англосаксовъ, съ пругой и показана большая въ этомъ смыслъ сложность и трагичность русскаго развитія, обусловленная особой структурой православія и порожденными этой структурой отношеніями Общества и Церкви въ «критическій» періодъ, отношеніями которыя я бы выразиль формулой римскаго поэта:nec sine te nec tecum vivere possum. На практикъ, конечно, каждый избираетъ для себя ту, либо другую точку весьма неустойчиваго равновъсія. что неизбъжно влечетъ за собою односторонность оцфнокъ и сужденій, подчасъ разладъ между симпатіями и убъжденіями, ту трагическую «критичность» (въ Контовскомъ смыслъ), которая, по всей въроятности, и была главной причиною, почему русская культура въ ея цъломъ еще не могла стать предметомъ спокойно - сочувственнаго созерцанія, а значитъ и объективнаго научно - художественнаго ея возсозданія - фактъ, недавно отмъченный Г. П. Федотовымъ въ статьъ «Россія Ключевскаго» (Совр. Зап. № 50). Но не восполняютъ - ли этого пробъла какъ разъ «Очерки» П. Н. Милюкова, въ особенности въ ихъ новой столь значительно дополненной, редак-? win

Авторъ изъ двухъ терминовъ дилеммы sine te или tecum избралъ для себя повидимому первый. Отсюда, въроятно тъ умолчанія о существеннъйшихъ явленіяхъ въ исторіи духовнаго развитія Россіи, которыя были мною отмъчены въ рецензіи на 1-ую часть ІІ-го тома Очерковъ («Числа», № 5). Но самое глав ное — не въ этомъ, а въ томъ, что установка автора, характеризующаяся отри-

пательнымъ по существу признакомъ, тъмъ самымъ до крайности объдняетъ схему, опредълившуюся усвоенной имъ періодизаціей: «критическій» періодъ оказывается періодомъ, котораго главный признакъ только тотъ, что изъ жизни нѣчто выпало. Это — періодъ вступленія Россіи въ стадію «европейскаго» (т. е. общечеловъческаго), т. е. сознательнаго, а значитъ и «національнаго» развитія. Но въ чемъ же національная сторона русской міровой культуры? Характерны неопредъленность сужденій и колебанія автора всякій разъ, когда ему приходится касаться этого вопроса. Такъ напр., въ музыкъ Чайковскаго нальнымъ» оказывается «элементъ» непосредственности чувства и искренности его выраженія» (II, 623), а въ живописи Гончаровой — мотивы лубка (ів. 557) - между тъмъ какъ, вообще говоря, авторъ,повторяю, разграничиваетъ «простонародное» и «національное».

Такая схема очевидно не годится для того, чтобы можно было уложить въ нее явленія, принадлежащія къ различнымъ жизненнымъ сферамъ, такъ, чтобы представить ихъ какъ показателей одного и того же жизненнаго процесса. Историки культуры — уже давно (Мишле, Гизо, Буркхардъ, Тэнъ), усвоили себъ точку зрънія, легшую недавно въ основу того, что, въ искусствъ, получило названіе экспрессіонизма — кстати сказать, прекрасно охарактеризованнаго авторомъ въ главахъ о живописи и о музыкъ: виъшнее есть выражение внутрення-Поэтому они историческія явленія группируютъ, для ихъ описанія, не по отдъльнымъ сферамъ дъятельности, а по отдельнымъ моментамъ общаго духовнаго развитія. Для историка культуры исторіи конституцій, музыкальныхъ ладовъ, желъзныхъ дорогъ, стихосложенія.

церковныхъ догматовъ и т. д. - суть только подготовительныя исторіи, причемъ очень многое, для историка - спеціалиста являющееся весьма важнымъ поскольку онъ смѣну явленій въ изучаемой имъ сферъ пытается представить какъ сплошной и замкнутый въ себъ эволюціонный рядъ, — историкомъ куль туры нерѣдко просто отбрасывается. То что далъ авторъ Очерковъ, это скоръе рядъ такихъ спеціальныхъ исторій, написанныхъ съ исключительной компетентностью, съ исчерпывающей полнотою\*), изобилующихъ великолъпными по тонкости, мъткости, проникновенности характеристиками\*\*); но эти отдъльныя исторіи такъ и остаются отдѣльными исторіями, исторіями процессовъ развигія отдъльныхъ жизненныхъ сферъ, меж

\*) Есть, впрочемъ, исключенія. Въ отдълъ о пластическомъ искусствъ авторъ обощелъ молчаніемъ скульптуру. Русская скульптура, правда, не богата, но все-же существуеть. Въ отдълъ о школъ слишкомъ ужъ мало сказано о Московскомъ благор, лансіонъ (Здъсь я ограничиваюсь только отчетной частью

«Очерковъ»).

ду которыми общаго только то, что каждый изъ нихъ проходитъ стадіи отрыва отъ церковной опеки. секуляризаціи. подражанія Европъ, затъмъ самостоятельности и даже вліянія на Европу. Но это въдь признаки чисто формальные. годные для нъкоторой соціологической схемы, а отнюдь не для построенія исторіи данной національной культуры. По счастью, чутье историка неръдко беретъ у автора верхъ надъ его собственными схемами и наводить его на рядъ сближеній несравненно болъе содержательныхъ и углубленныхъ, являющихся уже элементами настоящей исторіи культуры. Авторъ самъ признаетъ, что «такъ велика связанность различныхъ сторонъ человъческаго духа, что стадіи, пройденныя послъдними поколъніями въ литературѣ и въ живописи, оказались тѣми же самыми, черезъ которыя прошла и новъйшая музыка» (II. 645); — а его характеристики Моцарта, Гайдна, Бетховена свидътельствують, что эту «связанность» онъ понимаетъ еще гораздо шире, -- какъ всякій историкъ культуры.

Къ исторической наукъ можно примънить то, что говорить авторъ о музыкъ (на мой взглядъ — самый, во всъхъ отношеніяхъ удачный отдівль книги). — а именно, о смѣнѣ «горизонтальнаго письма» (контрапунктъ) «вертикальнымъ» (гармонія). Сперва музыкальное произведеніе — это рядъ параллельно движущихся голосовъ. Затъмъ — это одинъ голосъ, одна мелодія, поддерживаемая гармоніей, все болье и болье обогащающейся и разнообразящейся, — нить, на которой висять гроздья акордовъ, согласно на рѣдкость удачной метафорѣ автора. Вотъ «Очерки» и представляются мнъ нъкоей полифонической сюитой. при всѣхъ ея достоинствахъ все же возбуждающей въ насъ чувство сожалѣнія,

<sup>\*\*)</sup> Неръдко — путемъ сближеній, напримъръ, Венеціанова съ Карамзинымъ. Перова съ Некрасовымъ, Врубеля со Скрябинымъ. Менъе удачно сближеніе Брюллова съ Державинымъ: «Подобно пъвцу Фелицы, онъ старался вдохнуть жизнь въ отжившія классическія формы: но, продолжая пользоваться этими самыми формами, онъ такъ же быстро устарълъ вмъстъ съ ними» (II, 519). Державинъ меньше всего думалъ объ оживленіи старыхъ формъ. Онъ просто пользовался ими, зачастую ломая ихъ, когда ему приходилось въ нихъ тѣсно. «Устарѣлъ» онъ не въ силу того, что, полчинивъ себя устаръвшимъ формамъ, не смогъ развернуть своего генія, а просто въ силу того, что читатели, порабощенные школьной теоріей словесности, за «формами» долгое время не умъли видъть и цънить генія Державина.

что авторъ не написалъ вмъсто нея болъе соотвътствующей нынъшнему вкусу тщательно гармонизованной сонаты. Вернемся еще разъ къ заключительной части II-го тома. Она открывается краткой полемикой автора съ тъми, кто понятію «духовнаго» придаетъ «значеніе абсолютнаго начала, выводящаго изслъдователя за предълы познаваемаго міра.» Противъ такого ограниченія задачи не станетъ возражать ни одинъ историкъ. Не столь безусловно, однако, можно послѣдовать за авторомъ въ дальнѣйщемъ ея ограниченіи: «Изучая, далье луховную сторону культуры русскаго народа, говоритъ онъ, мы не имфемъ претензіи опредълять сущность русской «народной души». Какъ и въ другихъ томахъ Очерковъ, мы описываемъ здъсь явленія, въ которыхъ общечелов вческое и типически - русское очень тъсно связано. Всъ попытки раздълить ихъ до сихъ поръ кончались неудачей. прежде всего не опирались на строго научный методъ, до сихъ поръ еще и не найденный для такого рода изследованія. Мы охотно признаемъ, что и намъ эта задача была бы не подъ силу».

Разъ можно въ историческихъ явленіяхъ усмотръть наличность и «европейскаго» и «типически русскаго», то, какъ бы тесно ни было связано одно съ другимъ, очевидно, наблюдающій уже раздълилъ ихъ, а значитъ нашелъ и методъ для этого, -- тотъ методъ, какимъ вообще мы руководствуемся - пусть и безсознательно — для распознанія какой либо индивидуальности; т. е. методъ сравненія. Самъ же авторъ и примъняетъ его, сравнивая напр. структуры различныхъ въръ и опредъляемыя ими формы отношенія религіи къ другимъ сторонамъ жизни. Это подводитъ насъ къ другой сторонъ проблемы. «Нарол-

ная душа» для историка не существуеть какъ нъкая метафизическая величина, лежащая за явленіями. Она есть сами эти явленія, но не какъ нъкая сумма ихъ, ни какъ совокупность рядовъ явленій. Ея индивидуальность, для историка, исчерпывается ея - въчно измъняющейся - структурой, опредъляемой соотношеніями, въ каждый данный историческій моментъ, всъхъ жизненныхъ сферъ. Структура эта - или, что то же, жизненный стиль даннаго народа въ данный моментъ его жизни, служитъ показателемъ не «абсолютнаго начала», не въчно тождественной себъ «народной души», о чемъ, авторъ правъ - никто ничего толкомъ не знаетъ, но господствующихъ въ данномъ мѣстѣ и въ данное время тенденцій, того. что уже давно историки культуры разумъютъ «духомъ» (esprit, Geist) даннаго народа и даннаго момента. Такъ понимаемый «духъ» не есть ни мнимая, ни ускользающая отъ наблюденія, т. е. все равно что мнимая, величина. Напротивъ, она - то и есть истинный объектъ научнаго изследованія. Мы видели, что авторъ то и дъло подходитъ къ ней и подчасъ очень близко.

П. Вицилли.

## А. Купринъ, Юнкера. Изд. «Возрожденіе» 1932.

Новый романъ А. Куприна посвященъ быту московскихъ военно - учебныхъ заведеній эпохи Александра III, — върнъе, — московскаго Александровскаго военнаго училища, въ которомъ въ свое время учился и самъ А. Купринъ, Полутно показанъ московскій бытъ того времени. Картины московской жизни переданы съ удивительнымъ мастерстномъ и яркостью. Балъ въ Маріинскомъ Институтъ; дачная жизнь; катанье на

конькахъ на Чистыхъ Прудахъ: Масляннина: тройки; парады; домашнія вечеринки, гдѣ «пѣли, танцовали подъ піанино, играли въ petit jeux, и въ какомъ то круговоротномъ безпорядкѣ влюблялись то въ Юленьку, то въ Оленьку, то въ Любочку, и всегда тамъ хохотали», - эти разныя и несхожія между собой картины скръплены въ одно живое цълое мастерствомъ писателя и любовью къ прошлому, любовью къ Москвъ, любовью къ своей и чужой молодости. Эти картины московскаго быта останутся художественными документами, волнующими современниковъ автора напоминаніями, а для новаго поколънія - идиллическими разсказами о неправдоподобномъ благополучіи.

А. Браславскій.

М. Осоргинъ. «Свидътель исторіи».

Скл. изд. «Москва», Парижъ. 1931.

О М. Осоргинъ можно было - бы написать обстоятельное изслъдованіе. Если - бъ мнъ предстояло сдълать это, я бы началъ съ опредъленія основной сущности Осоргина — съ его способности любить!

Безъ любви нътъ надежды приблизиться къ истинъ.

Мнѣ кажется, что лучшая, — на мой взглядъ, очень хорошая, — книга Осоргина это «Повѣсть о сестрѣ». Это сдержанно - страстное, напряженное, «безхитростное», недоумѣвающее повѣствованіе о гибели молодой, красивой, умной, по внѣшнимъ признакамъ казалось бы созданной для всяческихъ успѣховъ, женщины. Она умираетъ отъ рака. И такъ какъ никому не понятно,зачѣмъ она жила, зачѣмъ была красива и талантлива, когда ей предстояло погибнуть такой

ранней, такой мучительной смертью; и такъ какъ никто, даже самъ авторъ, и вопроса такого не задаетъ, то ощущеніе мучительнаго сожалѣнія, горесть утраты, человѣческой незначительности, еще больше усугубляются. Эта повѣсть «перекликается» со «Смертью Ивана Ильича» и съ «Жизнью» Мопассана. Несмотря на это, «Повѣсть о сестрѣ» живетъ самостоятельный, полной и значительной жизнью законченнаго художественнаго произведенія.

Конечно Осоргинъ писатель, — о личномъ, объ окружающемъ его, о своемъ. Поэтому хороши «Вещи человѣка», «Тамъ гдѣ былъ счастливъ» и куда блѣднѣе пытающійся уже перейти въ эпосъ «Сивцевъ Вражекъ».

«Свидътель Исторіи» романъ еще не оконченный, вышель только первый томъ, поэтому писать о немъ можно только съ оговорками. Въ томъ видъ, въ какомъ книга теперь представляется, тожно сказать, что это вещь мало удачная. По моему въ двухъ случаяхъ можно писателю обращаться къ историческимъ фактамъ: когда онъ пишетъ о дълахъ, въ которыхъ лично принималъ участіе -воспоминанія (напр. «Записки террориста» Савинкова), тамъ пристрастіе искупается отвътственностью; или же такъ называемый историческій романъ, гдъ, отойдя далеко въ сторону, пытается опредълить свой взглядъ на событія. М. Осоргинъ ръшилъ пройти по серединъ: оттого ли что русская революція событіе слишкомъ свъжее и сказать намъ что нибудь интересное, для нашего современника трудно, или почувствовавъ всю неблагодарность историческаго романа. Остроты же личнаго участія, авторъ придать своей вещи не могъ или не захотьль. «Свидътель Исторіи» посвященъ жизни Наташи Калымовой, той самой, которая бросала (или помогала бросать) бомбу, бѣжала во главѣ 12-ти заключенныхъ изъ тюрьмы, пересъкла пустыню Гоби и умерла во Франціи. Читая ея письмо изъ тюрьмы (когда она ждала казни) Толстой написалъ свое «Не могу молчать» и не безъ связи съ Натащей Калымовой писался, мнъ кажется, «Разсказъ о семи повъшенныхъ». Осоргинъ обстоятельно разсказываеть о бомбахъ. объ ограбленіи почты, о томъ какъ связывали надзирательницъ и пр., а въдь это малозначительныя, потому что внъшнія, вещи. Но гдѣ приходится коснуться жизни души, хотя бы самой героини Наташи Калымовой, тамъ Осоргинъ неубъдителенъ. Она была осуждена на смерть, ей сообщили что ея мужъ Медвъдь — Олень - казненъ; что она почувствовала, что подумала, какой душевный сдвигъ долженъ былъ произойти? Впрочемъ, подождемъ конца «Свидътеля Исторіи».

В. Яновскій.

Сергый Горный.

«Ранней весной». Изд. «Парабола». Берлинъ, 1932 г.

«Я разскажу вамъ о своемъ самомъ волшебномъ времени, о времени сладостномъ и неповторномъ. Такомъ напряженномъ. Такомъ значительномъ.

О дътскихъ дняхъ моихъ».

Къ книгъ Сергъя Горнаго «Ранней весной» трудно подобрать лучшій эпиграфъ чъмъ эти начальныя слова одного изъ помъщенныхъ въ ней разсказовъ.

Уже не молодой человъкъ съ любовью склоняется надъ своимъ дътствомъ. Все тогда, и люди и вещи, самый воздухъ тъхъ дней были другими чъмъ теперь, живыми и одушевленными. Авторъ съ любовью описываетъ весь этотъ міръ

дътскихъ видъній и мечтаній, исчезнувшее счастье того времени когда передъ его окрывающимися радостными глазами міръ возникалъ волшебнымъ и прекраснымъ.

Иванъ Ильичъ, умирая въ страшныхъ мученіяхъ, вспомнилъ, что во всей его жизни только въ дътствъ было что то хорошее. Это что то хорошее бывшее въ дътствъ и запечатлънное памятью старается назвать Сергъй Горный.

Онъ не хочетъ отходить отъ времени дътства, такъ какъ то время было большою — первою и, можетъ быть «единственной любовью нашей жизни, и отъ любви, отъ тепла не хочется отходить.

Это такъ понятно».

О томъ, какъ сердце человъка отпало отъ любви и медленно сохло и мертвъло, авторъ не хочетъ разсказывать. Онъ не говоритъ, какъ случилось, что «теперь въ года грузные и пасмурные, во взрослой усталой и такъ и не осмыслившей міра душъ, — нътъ откликовъ, нътъ перезвоновъ, перекличекъ и плеска». Мнъ зспоминаются трагическія слова Аненскаго: «подумай на рукахъ у матерей все это были розовыя дъти».

Мнѣ кажется, что все творчество Толстого выросло изъ страшнаго и неслыканнаго усилія его сердца вырваться опять въ любовь какъ въ «истинно - существующее» бытіе. Онъ заставляль себя это сдѣлать, какъ бодлэровскій ангель терзалъ атеиста. Это былъ послѣдній услышанный людьми христіанскій призывъ къ борьбѣ «до побѣднаго конца» даже въ томъ случаѣ, если очевидно, что «побѣднаго конца» не будетъ и не можетъ быть.

Сергъй - же Горный останавливается только на воспоминаніи о томъ, что въ дътствъ было что то хорошее. Онъ не хочетъ илти дальше. Эта книга только

напоминаніе, а не призывъ. Я долженъ сказать, что такъ же, какъ и въ писаніяхъ о лътствъ Осоргина, въ книгъ «Ранесть нъкоторый привкусъ няя весна» аффектаціи и душевной и литературной. Когда пишутъ о дътствъ, это всегда бываетъ трогательно. Здъсь авторъ какъ бы пользуется силой этой обязательности для каждаго человъка быть тронутымъ, когда ему разсказываютъ о лътствъ. Кромъ того, мнъ кажется, что такая книга могда бы быть написана проще. Напримъръ, конецъ одного разсказа: «На военномъ кладбишъ, за горнымъ институтомъ штабсъ - капитанъ Евгеній Прохоровскій похороненъ.

Bce».

Это «все», явно — разсчитанный стилистическій пріемъ.

Но это второстепенно. Важно то, что книга выросла изъ настоящаго сердечнаго волненія. Въ наше время, когда всъ пишутъ хорошо, но часто попусту, такъ какъ исчезло въ душахъ, «волненіе», — это очень цънно.

В. Варшавскій.

В. Сиринъ.

«Подвигъ». Изд. «Соврем. Зап.» 1932.

Очень трудно писать о Сиринт: съ одной стороны это молодой писатель, въ то же время — признанный «классикъ»,

И вотъ не знаешь что сказать: очень талантливая, но мало серьезная книга — если молодой писатель, безнадежное сни женіе «духа» — если классикъ.

Сирина критики часто ставятъ рядомъ съ Бунинымъ. Бунинъ несомнънно связанъ съ концомъ классическаго періода русской литературы. Какъ словесное ис-

кусство, творчество его стоитъ на уровнъ самыхъ высокихъ образцовъ, даже приближается къ какому то торжественному совершенству, котораго можетъ быть и раньше ни у кого не было. Иногда кажется, что и Толстой такъ хорошо не описывалъ «пейзажи». Но въ то же время изсякло великое и страшное волненіе, изъ котораго родилось творчество Толстого и Достоевскаго (иностранцы въроятно, все таки, правы говоря Tolstoï Dostoïevsky какъ только захолитъ разговоръ о русской литературъ). И все же у Бунина есть что - то полкупающе - величественное, что - то надменно - архаическое. Это творчество человѣка вымирающей, неприспособившейся расы. Послъдній изъ могиканъ.

Побъждаетъ раса болъе мелкая, но болъе гибкая и живучая. Именно какое то нъсколько даже утомительное изобиліе физіологической жизненности поражаетъ, прежде всего, въ Сиринъ. Все чрезвычайно сочно и красочно, и какъ то жирно. Но за этимъ разлившимся въ даль и въ ширь половодьемъ — пустота, не бездна, а плоская пустота, пустота какъ мель, страшная именно отсутствіемъ глубины.

Какъ будто бы Сиринъ пишетъ не для того, чтобы назвать и сотворить жизнь, а въ силу какой-то физіологической потребности. На это скажутъ «ну и хорошо, и птицы такъ поютъ». Но человъкъ не птица.

Искусство какъ отправленіе нѣкоторой природной функціи — вѣроятно вполнѣ законно. Отъ живописи, напримѣръ, кажется и не принято требовать большаго. Но послѣ «Толстого и Достоевскаго» позволительно думать, что литературѣ суждена иная судьба.

Повидимому въ древности литература была близка къ мифологіи, соприкаса-

лась съ тъмъ, что Бергсонъ назвалъ «статической религіей». Лучшіе писатели христіанской эры какъ бы прорывались въ область близкую къ абсолютной религіи. Однимъ изъ послъдствій этихъ двухъ опытовъ было появленіе чистоформальной литературы, искусство хорошо писать. Постепенно это функціональное» искусство стало чѣмъ то самостоятельнымъ, отдълившимся отъ того душевнаго волненія, которое его родило. Появился рядъ писателей, успъшно овладъвшихъ этимъ опредълившимся искусствомъ, но имъ и во снѣ не снилось все то духовное творчество, однимъ изъ производныхъ, вторичныхъ результатовъ котораго оно явилось.

Какъ бы хорошо такіе писатели не писали, все это ни къ чему.

Долженъ сказать, что именно такимъ писателемъ мнъ представляется пока Сиринъ.

Читая «Подвигъ», я все время чувствовалъ, что это очень хорошо и талантливо написано. Правда, мнѣ не очень нравилось. Прустъ говорилъ, что обыкновенно любятъ тъхъ писателей, въ которыхъ узнаютъ самого себя. Въ хорошихъ писателяхъ узнаетъ самихъ себя, свою жизнь большинство людей. Читая Сирина, сквозь нъкоторую экзотичность его образовъ, я все-таки узнавалъ непосредственныя перцепціи пяти чувствъ. Но дальше уже ничего нельзя было узнать.

Одно время мнѣ показалось, что «идея» романа въ томъ, что герой понимаетъ невозможность и неправедность индивидуальнаго личнаго счастья и приходитъ, какъ къ единственному спасенію, къ «подвигу», къ отдачѣ себя въ неосознанной любви къ чему то высшему и къ другимъ людямъ, къ ихъ общему дѣлу. Тогда бы все это имѣло отношеніе

къ чему то важному и существенному и именно теперь им тющему особенный Но я скоро долженъ былъ интересъ. убъдиться въ необоснованности и произвольности моего предположенія. Никакого «жизнеученія» въ основъ романа нътъ. Это какъ бы сырой матеріалъ непосредственныхъ воспріятій жизни. Эти воспріятія описаны очень талантливо, но не извъстно для чего. Все это даетъ такой же правдивый и такой же ложный, ни къ какому постиженію не ведущій какъ напримертвый образъ жизни, мъръ ничего не объясняющее, лишенное реальности, графическое изображеніе движенія. Хорошо написано, доставляетъ удовольствіе. Но дальше ничего. Читателя приглашають полюбоваться и это все. Его никуда не зовутъ. Послъ чтенія, въ его душъ ничего не измънилось. Живописецъ или кинематографическій операторъ изъ Сирина вышелъ бы в фроятно очень хорошій. но врядъ ли ему удастся создать un nouveau frisson.

Можетъ быть это и объясняетъ повсемъстное признаніе Сирина въ въчно существующей и неизбъжной академіи.

Темное косноязычіе иныхъ поэтовъ, все-таки, ближе къ настоящему серьезному дълу литературы, чъмъ несомнънная блистательная удача Сирина.

В. Варшавскій.

Ю. Фельзенъ. «Счастье», изд. «Парабола». Берлинъ, 1932.

Мить кажется, что Ю. Олеша правъ и что въ своей послъдней бесъдъ онъ говорилъ не только о себъ. Ощущенье пустоты, отказъ отъ всякаго рода писательства — «развъ какое нибудь личное высказыванье, развъ дневникъ какой ни-

будь» очень примъчательны. Чувство неблагополучія современной литературы, недовърје къ традиціоннымъ формамъ неискренности повъствованія, боязнь «литературы» — въ наше время не пустыя слова. Блестящіе романы и повъсти, формальныя удачи насъ не удовлетворяютъ. Въ современномъ сознаньи намътилось чувствованье чего то такого, чему прежнее пониманіе романа не соотвътствуетъ. Продолжать традиціи сейчасъ признакъ извѣстнаго рода нечувствія, и всякая попытка, сколь бы она внъшне ни казалась убъдительной, заранње обречена на неудачу.

Ю. фельзенъ отдаетъ себѣ отчетъ въ задачахъ современнаго писателя. Онъ проводитъ себя черезъ большой внутренній искусъ, его достоинства, его срывы и неудачи какъ бы предрѣшены слож ностью заданья. Среди другихъ нашихъ новыхъ писателей, фельзена многіе считаютъ наиболѣе послѣдовательнымъ прустіанцемъ. Дѣйствительно, манера его письма, его аналитическій пріемъ носятъ на себѣ слѣды вліянья Пруста.

Но за всъмъ этимъ - болъе глубоко, болъе внутрение Фельзенъ представляется мнъ связаннымъ съ русскими истоками, а именно съ Лермонтовской прозой. Мотивы его интроспекціи, смотрънья въ себя иные, чъмъ у французскаго писателя; въ главномъ — это русское влеченье къ сути вещей, углубленье въ себя, но съ тъмъ, чтобъ въ конечномъ счеть за предълы себя выйти. Фельзенъ честенъ и безпощаденъ къ себъ, и эта необходимость, честность. жертвуя всъмъ, вплоть до сознательнаго осложненія языка, высказать именно то, что нужно высказать - воля не случайная, усиліе очень важное.

«Мы съ вами отъ добросовъстности, отъ искренности, благодаря постояннымъ

взаимнымъ провъркамъ — всегда стараемся высказаться наиболъе ясно, незамътно - мучительно боремся со словами и досадуемъ на всякую ихъ неточность, и я, пожалуй, изъ нашихъ разговоровъ убъдился съ наибольшей наглядностью, что не человъкъ для языка, а, безъ сомнънія, языкъ для человъка: что мы вправъ ломать существующій языкъ, если не можемъ при его посредствъ себя и свое выразить, и что гръхъ передъ человъческимъ достоинствомъ и назначеньемъ - недоговаривать, малодушно языку уступать. Все это требуетъ медленной и страстной работы надъ каждымъ словомъ: пускай получатся неуклюжія, неловкія сочетанья — по крайней мъръ, будетъ высказано дъйствительно нами задуманное, а не то приблизительное и случайное, что у насъ появляется въ легкомысленной, горячечной спъшкъ изъ - за лъниваго подчиненія какой - нибудь внъшне удавшейся фразъ. Пускай такъ - же не достигнется видимости размаха и «воздуха», но воздухъ во всякомъ творчествъ (простите за дешевое остроумничанье) неминуемостановится «водой» и заманчивыя широкія изліянія насъ отучають и уводять отъ «настоящей сути вещей».

Романъ «Счастье» не написанъ для тѣхъ, кто ищетъ легкаго и пріятнаго отдыха. Фельзенъ требуетъ отъ читателя усилія и вниманья, это писатель для медленнаго чтенія. Но, сдѣлавъ надъ собой усиліе, сосредоточивъ вниманіе, постепенно входишь въ строй мысли автора, начинаешь цѣнить и понимать его намѣреніе — и далѣе — самъ читатель запротестовалъ бы, если бы вдругъ Фельзенъ перешелъ на блестящее повѣствованье.

Дѣло въ томъ, что психологизмъ Фельзена, его детали, его, для поверхностнаго читателя, излишнее «копанье въ себъ», соединены объединяющимъ началомъ: они внутренне мотивированы. Не боясь оказаться подчасъ излишне подробнымъ, возвращаясь къ одному и тому же переживанію своего героя, беря его то въ томъ, то въ иномъ разръзъ, фельзенъ не выдумываетъ, не показываетъ: онъ честенъ. И честность эта возвышаетъ его тамъ, гдъ психологизмъ, какъ намъреніе, неминуемо бы сорвался.

Воля договориться до конца, дойти до сути вещей, таитъ въ себъ опасность, быть можетъ, - гибель. До чего нужно договориться и какая суть можеть намъ открываться? При всемъ своемъ вели-Прустъ представляется мнѣ лишь высшей точкой, которой могла достигнуть матеріальная въ своемъ внутреннемъ существъ Западная Европа. Русскому писателю - можетъ и - не должно ли — открываться больше? — Это вопросъ, который какъ - бы тяготъетъ надъ «линіей» Фельзена. Напояженье его романа къ концу не то, что ослабъваетъ, миъ кажется, не въ то разръщается. Смерть Марка Осиповича, ея измъна, не производять въ Еленъ Владиміровнѣ того переворота, который произойти могъ бы, и все таки Володя, герой, чего то до конца себъ не уяснилъ. Но Фельзенъ по своему правъ. Его книга — одна изъ самыхъ честныхъ книгъ, написанныхъ въ эмиграціи.

Ю. Терапіано.

Н. Берберова «Повелительница» «Парабола», Берлинг, 1932.

Новый романъ Н. Берберовой «Повелительница» съ первыхъ страницъ рас-

полагаетъ къ себъ сосредоточенностью, ясностью композиціи. «Повелитель ница», я думаю, лучшее изъ того, что было до сихъ поръ Берберовой опубликовано.

Берберова стала сдержаннъе, проще; она научилась ограничивать себя въ смыслъ заданнаго, и это отступленіе отъ «линіи Достоевскаго» можно только привътствовать.

Ограничивъ себя въ смыслѣ вопросовъ, которые она хотъла затронуть въ «Послѣднихъ и Первыхъ», Берберова въ «Повелительницѣ» много свободнѣе, зрѣлѣе. Повѣствованіе само собой становится яснымъ и грустнымъ, ненамѣренный трагическій тонъ книги передается читателю.

То, что было уже въ раннихъ произведеніяхъ Берберовой — ея богатый внутренними интонаціями голосъ, энергія и совсъмъ не женская выразительность, пріобрътаютъ теперь все большую убъдительность. Хочется отмътить, очень характерную для Берберовой — ея върность человъку нашего времени: это всегда, даже въ болъе слабыхъ вещахъ ея, насъ задъваетъ — столкновеніе побъдителей и побъжденныхъ жизнью, внутренняя красота будничнаго русскаго подвига. русской женщины особенно.

У Берберовой есть свойство, можеть быть безсознательная ея находка, располагать дъйствіе какъ бы въ двухъ планахъ. Въ то время, какъ авторъ занятъ, или дълаетъ видт., что занятъ только главными дъйствующими лицами, второстепенные его герои, помимо предоставленнаго имъ мъста въ главномъ дъйствіи, создаютъ свое второфайствіе, не менъе напряженное. Любовь Кати и Ивана въ «Повелительни цъ», ихъ отношеніе къ Сашъ, ихъ безвыходность даны очень остро. И то, что

второстепенные персонажи романа намъчены лишь нъсколькими ръзкими штрихами, ихъ еще болъе усиляетъ, главное, существенное, въ нихъ дано. Шьющая на машинкъ въ домъ Шиловскихъ Катя, немногословные разговоры Кати и Ивана съ Сашей, ихъ трагедію, ихъ страданія читатель видитъ.

Героиня романа, Лена Шиловская — «Повелительница» среди всъхъ дъйствующихъ лицъ, представляется мнъ нъсколько надуманной. Слишкомъ много возможностей дано ей авторомъ и слишкомъ малаго она хочетъ, чтобъ заполнить свою — и жизненную и душевную — пустоту.

Берберовой Шиловская нужна, — не для того, конечно, чтобъ нарисовать типъ новой женщины, но для того, чтобы въ столкновеніи Саши съ ней, «особенной женщиной», которую «трудно любить», дать возможность герою почувствовать нѣчто большее.

О чемъ романъ? На фонѣ благополучной любви, благополучной пока, представителей третьяго поколѣнія эмигрантской молодежи Андрея и Жени, бѣженскаго сожительства портнихи Кати со старшимъ братомъ героя шоферомъ Иваномъ (за сценой — мать Саши и Ивана — злое олицетвореніе буржуазнаго мѣщанства) происходитъ встрѣча юноши Саши — со стихіей любви, съ сущностью ея, мучительной, страшной, безысходной.

Рожденіе въ немъ новаго міра, узнаванье о томъ, о чемъ Саша не подозръвалъ — его мука. Лучшія страницы о Сашѣ — пробужденіе въ немъ любящаго, его бунтъ, его возвращеніе.

Лена Шиловская оказывается побъдительницей. Но развъ это она побъждаетъ? Къ чему она можетъ привести — Лена сама по себъ? Уступать себя въ

планъ чувственности, но духовно оставаться свободной, любить и духовно никому не принадлежать — нельзя. Это острота, большая, не чувственная, конечно, душевная острота, но это въдь — себялюбіе.

Въ тотъ моментъ, когда Саша, потрясенный и обезсиленный, возвращается къ Ленѣ, по существу онъ побѣжденъ не Леной, она еще, сама того не подозрѣ вая, внѣ любви, но побѣжденъ большимъ, — самой трагической природой любви, испепеляющей всякаго, кто пытается любить себя лишь ради, во имя свое.

10. Терапіано.

Владимиръ Зензиновъ.

Le Chemin de l'Oubli. Paris, 1932. Иллюстрированн. 18-ю фотогр.

« Oh, wunderschön ist gottes Erde und schön auf ihr ein Mensch zu sein».

Эти строки на клочкъ старой газеты, попавшіяся на глаза автору «Le Chemin de l'Oubli», среди ледяного одиночества и мертваго безмолвія снъговой пустыни, могли бы быть эпиграфомъ книги.

Объ арктикъ и антарктикъ написано не мало. Совсъмъ недавно Бирдъ издалъ обширный томъ о своей экспедиціи, а кинематографъ запечатлълъ ея эпизоды и даже полетъ надъ полюсомъ. Но, не смотря на фотографіи, радіо и фильмъ, полярной страны Бирдъ не даетъ почувствовать, можетъ быть, потому, что основная черта полярныхъ странъ — именно, одиночество.

Книга Зензинова, разсказываетъ о человъкъ наединъ съ жесточайшей природой. Немногіе люди, съ которыми ему приходилось сталкиваться, настолько примитивны, что какъ бы составляли

часть неодухотвореннаго міра: ощущеніе одиночества ими не разрѣшалось. И тѣмъ не менѣе « Le Chemin de l'Oubli » — книга о бодрости и, пожалуй, героическая книга.

Несмотря на невъроятныя, подчасъ превышающія силы человъческія трудности, какія приходилось преодолъвать автору за четыре года ссылки — онъ страстно любитъ жизнь, эстетически ее воспринимаетъ и заставляетъ читателя увидъть красоту съвера.

Въ снъговой ли могилъ «поварни», на трое сутокъ глубоко похороненный пургой, подъ свисть и вой мятели, въ жалкой ли хибаркъ Русскаго Устья, на крышъ которой ему иногда хочется выть отъ тоски, какъ голодному волку, безконечной полярной ночью или томительными, негаснущими днями, въ ужасающемъ ли холодъ, когда дыханіе выходитъ изо рта съ легкимъ потрескиваньемъ не въ видъ пара, а въ видъ легкихъ мгновенно замерзающихъ росинокъ, или недълями въ непросыхающей одеждъ при бойнъ - охотъ на гусей - Зензиновъ видитъ окружающее глазами художника.

Великолѣпныя сѣверныя сіянія, огромныя звѣзды на холодномъ небѣ, ослѣпительные алмазы снѣжныхъ розсыпей, мощный ледоходъ, жданная короткая весна, странное лѣто, почти безъ цвѣтовъ, но съ обиліемъ птицъ и снова зима, стремительная ѣзда на оленяхъ или собакахъ, и опять снѣгъ, снѣгъ и мертвая хватка мороза.

Само время какъ бы застыло въ томъ краю, о которомъ повъствуетъ книга Зензинова. Бытъ, котораго ему довелось быть подневольнымъ наблюдателемъ, существовалъ за въка до политической ссылки — неизмъненъ и по сіе время. И хотя на Аляскъ, по утвержде-

нію того же Зензинова, эскимоски надѣваютъ модныя платья, доставляемыя на аэропланахъ — юкагирская женщина на берегахъ Индигирки въ дымной своей юртъ и понынъ двигается подъ вериговый лязгъ желъзныхъ бляхъ, украшающихъ ея груди и мелодическій звонъ колокольчика, привъшеннаго къ ея поясу.

Труднъе всего ощутить то, что обычно: вымытое тъло, свъжую одежду, жилище, обстановку, утварь, хлъбъ, тепло... Разсказъ о людяхъ, которые моются лишь при рожденіи, да въ деньсвадьбы, спятъ нагими, одъваются въ мъха, питаются только рыбой — сырой, мороженой или вареной, и живутъ, непрестанно отстаивая свою жизнь отъ холода и голода, въ совершенномъ невъжествъ (но все же съ неписанымъ кодексомъ дикой морали и обиходной честности) — заставляетъ ощутить такъ называемыя блага цивилизаціи.

Холодъ лютъ, и, однако, не такъ жели влечетъ къ себѣ сѣверъ узнавшихъ его, какъ пустынножителя раскаленная пустыня. Полярные изслѣдователи служатъ тому примѣромъ. Книга Зензинова, соединяющая въ себѣ серьезность этнографическо - географическаго трудасъ яснымъ и легкимъ занимательнымъ изложеніемъ, даетъ ключъ къ постиженію жестокаго очарованія.

Помимо своихъ художественныхъ достоинствъ она является еще и поучительнымъ матеріаломъ для сравненія отношенія къ политическому противнику дореволюціонныхъ и пореволюціоныхъ властей. Несмотря на то, что Зензиновъ, вслѣдствіе личной стычки съ губернаторомъ, былъ подвергнутъ самой суровой формѣ ссылки, — онъ ѣхалъ вънее, не только снабженный всѣмъ необходимымъ, но сверхъ того оружіемъ, фотографическимъ аппаратомъ, метеоро-

логическими приборами, книгами, лекарствами и даже спиртомъ — на восемнадцати оленяхъ, какъ почетный изслъдователь, и жилъ въ огромномъ своемъ районъ, какъ свободный человъкъ. Режимъ Соловковъ иной.

Ек. Бакунина.

Ал. Буровъ. Была земля «Парабола» Берлинъ, 1932 г.

Если бы тотъ проблематическій «будушій историкъ», о которомъ такъ любятъ говорить критики, пожелалъ ознакомиться съ душой и настроеніями русскаго эмигранта, незадачливаго «бѣженца», щепки срубленнаго лъса, - книга Бурова была бы ему полезна. Въ ней не только есть вниманіе къ жизни, но есть и понимание ея. Представленъ, какъ говорится, калейдоскопъ людей. Для каждаго авторъ находитъ нъсколько чертъ мъткихъ, правдивыхъ, и вмъстъ съ тъмъ какъ бы «смягчающія обстоятельства» въ томъ великомъ историческомъ дълъ, куда вольно или невольно каждый изъ нихъ оказался замъщанъ. Въ эпиграфъ Буровъ утверждаетъ, что «жизнь прекрасна». Прекрасна вопреки всему, несмотря ни на что: надо только «вѣрить и любить». Слова какъ будто безнадежно избитыя, непоправимо стертыя... Авторъ книги «Была земля» пробуетъ убъдить, что это не такъ - и достигаетъ цъли.

 $\Gamma$ . A.

Анна Таль

Клътчатое Солнце, изд. «Парабола». 1932.

Книга женщины о женщинъ явленіе въ русской литературъ довольно ръдкое. Я говорю о книгахъ серьезно - задуманныхъ. До сихъ поръ лучшее, сказанное, о женщинъ — тайное и цънное — принадлежитъ перу мужчинъ. Можетъ быть поэтому только и стоитъ отмътить новый романъ А. Таль — «Клътчатое солнце».

Хотя это не первая книга А. Таль (ей предшествовали и стихи и проза), говорить о ней можно только какъ о началъ — опытъ, неудачномъ — во всякомъ случаъ въ исполненіи. Авторъ не совсъмъ ясно чувствуетъ, ч т о онъ хочетъ сказать, поэтому и то, к а к ъ это сказано, звучитъ неумъло — претенціозно.

Героиня, Ольга Кривецкая расплывчатая, смущенно - истеричная, неубъдительно - положительная личность. Русская - эмигрантка, «нарочно» русская, какъ и «нарочно» не русскіе всѣ ея окружающіе — нѣмцы, французы, итальянецъ, чехъ, американецъ. Ея мятежная душа — («мечется» она въ буквальномъ смыслѣ этого слова: Вѣна, Миланскій соборъ, Берлинъ, Парижскія кафэ, океанскій пароходъ...) къ чему - то стремится, къ какой - то (творческой? любовной?) свободѣ, къ свѣту раздробленному «рѣшеткой тюрьмы». Не совсѣмъ ясно: гдѣ тюрьма? Какая свобода — и къ чему?

Романъ написанъ не безъ волненія — все - же ни къ чему не «привязываешься» — все безразлично. Очень мѣшаетъ внѣшность: — злоупотребленіе «лирикой» — повышенный тонъ. Въ жизни такъ никогда не говорятъ и не думаютъ.

Стараясь разгадать и объяснить свою сложную и слабую женскую натуру, Оль га иногда наталкивается на то, что можно было бы назвать — полуистиной. Но, чаще само слово «женщина» пріобрътаетъ какой - то неожиданный смыслъ.

Напримъръ, разсказывая о борьбъ со случайной, «низменной» страстью она говоритъ: «Я женщина — это вы совсъмъ упустили изъ виду» — что это, въ данномъ случаъ объясняетъ, что оправдываетъ?

Были и есть (въ частности въ англійской литературѣ) писательницы, которыя въ «предѣльной обнаженности» какъ - то облагораживаютъ то, что (инстинктивно влекомая тѣмъ-же желаніемъ) снижаетъ авторъ «Клѣтчатаго солнца».

Происходитъ это, должно быть, оттого, что книга написана не съ «предъльной честностью» — не о себъ, не прямо, не просто о своемъ опытъ. Какая - то декорація, какія - то маріонетки въ которыя трудно вложить хотя - бы немного живой боли, живого счастья. Ольга (и всъ другіе) это какъ - бы «каждая женщина», «каждый мужчина». Писать о «каж домъ» — почти недосягаемо. Во всякомъ случаъ для этого нуженъ большой предтворческій, жизненный опытъ, очень гибкое дарованіе, и можетъ быть еще что - то...

Честнъе, естественнъе писать о себъ, котя въ опредъленномъ смыслъ это и болъе отвътственно и болъе трудно. Очевидно нужно преодолъть какой - то страхъ, какой - то стыдъ.

Примъровъ такого преодолѣнія понятнаго отвращенія къ литературному «я» довольно много въ молодой русской беллетристикъ — это пожалуй самая большая ея заслуга. Думаю, что и для автора «Клътчатаго солнца» подобное усиліе оказалось бы оправданнымъ.

Лидія Червинская.

Маріенгофъ. Бритый человькъ. Изд. «Петрополисъ», Берлинъ, 1932.

Уже много лътъ я не читалъ писателей тъхъ дней, когда еще не было соціальнаго заказа и «попутчики» больше занимались стилистическимъ орнаментомъ, чъмъ идеями революціи (кажется гогла именно формалисты провозгласили, что «искусство есть сумма пріемовъ» и т. д.). Теперь же, открывъ Маріенгофа, я былъ пораженъ. Мнъ было трудно читать. Непонятно, для чего утомительно нагроможденные одинъ на другой какіето жирные неправдоподобные образы. «остраненныя», а иногда и просто малопонятныя слова, все это вызывало чувство досады. Напримъръ фраза: «въ вечера, когда безконечность, разбрызгавшись куринымъ желткомъ, не перепачкивала синій фуляръ неба, мы бродили по улицамъ...»

«Comme aux accoutrements, c'est pusilanimité de se vouloir marquer par quelque façon particulière et unisitée, de même au langage la recherche des phrases nouvelles et des mots peu connus vient d'une ambition scolastique et puérile», — писалъ Монтенъ.

Я вспомнилъ эти слова съ необыкновенной отрадой. Маріенгофъ же представился мнѣ утомительнымъ человѣкомъ, все тщеславіе котораго въ томъ, чтобы одѣваться какъ можно болѣе странно и неестественно, такъ чтобы на улицѣ всѣ пальцами тыкали. Но такъ же какъ не замѣчаешь опечатокъ (сознаніе автоматически подставляетъ правильныя слова), я постепенно привыкъ не замѣчать «имажей» Маріенгофа, и тогда чтеніе его романа мнѣ начало доставлять

удовольствіе. Это все таки на ръдкость талантливая беллетристика.

Герой, отъ имени котораго ведется разсказъ, убиваетъ своего друга «бритаго человъка»,въ продолженіе 15-ти лътъ вызывавшаго зависть, восхищеніе, влюбленность и медленно растущія ненависть и отвращеніе. Бритый человъкъ — олицетвореніе самаго низкаго снобизма, циничный хлыщъ и безчувственный себялюбецъ. Въ душъ его все гладко и пусто, хоть шаромъ покати. Въ одномъ мъстъ онъ говоритъ: «— русская душа? 
Кесъ - кесе? Съ чъмъ это кушаютъ?...
не думаете ли вы, что у насъ въ груди 
такъ же гладко, какъ и на подбородкъ?»

Въ послъдней главъ описывается, какъ бритый человъкъ выдавливаетъ герою угри на лицъ. Вся сцена написана такъ, что читатель испытываетъ физическое отвращеніе. Здѣсь дѣйствительно «пріемъ» достигаетъ своей цъли. Книга заканчивается словами: «Трудно даже повърить, что изъ-за этихъ самыхъ крохотныхъ червячковъ съ издъвательскими головками и бълыми хвостиками, я, на шнуръ отъ портьеры, повъсилъ моего друга». Сцена убійства чрезвычайно неубъдительна и повидимому имъетъ такое же символическое значеніе, какъ въ повъсти Алексъя Толстого «Рукопись найденная среди мусора подъ кроватью».

Самъ герой, отъ имени котораго ведется разсказъ — «униженный человъкъ». Подъ аффектаціей грязнаго циниз ма въ его душъ какъ то стыдливо запрятаны всъ добрыя и чистыя чувства и даже какая - то восторженность. Все это описано по черезчуръ явному рецепту «литературныхъ пріемовъ» и досадно приближаетъ Маріенгофа къ Эренбургу и другимъ писателямъ фальшивомонетчикамъ. Замъчательна же въ этой книгъ очень большая, если можно сказать, физическилитературная одаренность Маріенгофа. Та внъшняя чисто литературная талантливость, такъ щедро отпущенная напримъръ Алексъю Толстому и которой въ то же время иногда лишены писатели болъе значительные.

Можетъ быть лучшее мъсто въ книгъ — разговоръ гимназистовъ въ уборной. Несмотря на гиперболическую размалеванность, въ этой сценъ поражаетъ убъдительность, съ какой описана борьба за «соціальное» признаніе и вызываемые ею чувства тщеславія, униженія и зависти и готовность «приспособиться» и предать ради этого все свое дорогое и настояшее.

Въ книгъ и не пахнетъ соціальнымъ заказомъ (Развъ только то, что «бритый человъкъ» — бывшій лицеистъ). Какъ ни странно, это причинило мнъ нъкоторое разочарованіе. Эмигрантская ли это тоска по соціальности, но теперь человъкъ никакъ не относящійся ни къ какому серьезному и отвътственному общему дълу и въ то же время не ушедшій въ настоящее подполье, человъкъ богемы, какимъ несомнънно является Маріенгофъ, кажется мнъ, не можетъ уже сказать ничего дъйствительно интереснаго.

 $B, B--i\check{u}$ 

Викторъ Третъяковъ. Латышскіе поэты. Рига, 1931 г. Складъ изданія у Вальтера и Рапа.

Викторъ Третьяковъ продълалъ трудную и полезную работу, переведя хорошими стихами на русскій языкъ цѣлый рядъ латышскихъ поэтовъ послѣднихъ десятилѣтій, начиная съ девяностыхъ годовъ.

Символизмъ и въ латышской поэзіи на-

шелъ очень одаренныхъ выразителей, напримъръ Райниса.

Вліяніе русскихъ символистовъ, въ частности Брюсова, а изъ болѣе позднихъ поэтовъ — Маяковскаго и Есенина — кое гдѣ даетъ себя чувствовать.

Книга Третьякова пріятно удивить многихъ русскихъ читателей, не знающихъ, какъ много интереснаго и цѣннаго въ латышской литературѣ и даже вътакой трудной и высокой области, какой у всѣхъ народовъ является лирика.

H.

Вл. Брандъ, С. Войцеховскій, Л. Гомолицкій, С. Киндякова — стихи. Литературное содружество Варшава. 1932 г.

Отпечатанныя на гектографѣ четыре тетрадки четырехъ членовъ литературнаго содружества въ Варшавѣ заслуживаютъ быть отмѣченными,

У Вл. Бранда въ его тихой и грустной лирикъ — пріятная скромность и мягкость. Это стихи чуть - чуть гимназическіе, «для себя», но осторожность и робость автора скоръе отъ вкуса, чъмъ отъ безпомощности. Стихи отъ 1926 г. до 32 г., очень немногочисленные (всего 20) показываютъ постепенное овладъніе техникой и позволяютъ надъяться на дальнъйшій рость этого не яркаго, но чистаго дарованія.

Сергъй Войцеховскій громче и безпокойнъй. Его патріотическіе стихи на среднемъ уровнъ этого рода поэзіи, его лирика еще не позволяетъ сказать ничего положительнаго.

У Л. Гомолицкаго есть пафосъ и размахъ, но за реторикой еще нельзя разобрать его лица. Пріятны строчки, неожиданно для Гомолицкаго, чуть - чуть напоминающія Анненскаго: Вы любите сидъть въ саду, когда Играютъ возлъ на дорожкахъ дъти?

У С. Киндяковой влеченіе къ античному, къ Элладъ. Было бы трудно требовать отъ поэтессы с в о е г о видънія античности, но тема использована не безъ искренности и, въроятно, любви. Описывая, какъ Мишка мохнатая игрушка похожъ и не похожъ на живого Мишку, котораго любятъ, — Киндякова дълаетъ это не безъ граціи. Стихотвореніе Эллада, пожалуй, лучшее въ ея сборникъ.

Арсеній Несмпловъ. Безъ Россіи, Харбинъ, 1931 г.

Само собой случилось такъ, что для эмигрантской молодой литературы Парижъ оказался «столицей», а столицы другихъ странъ — «провинціей». Неправда, однако, что молодые литературные кружки и журналы молодыхъ, издающіеся въ Парижъ, равнодушны къ тому, что дълается въ «провинціи». Напротивъ — всякая дошедшая до Парижа книга, даже отдъльные разсказы, отдъльные стихи и статьи «заграничныхъ» молодыхъ авторовъ, внимательно читаются. Върно одно лишь: сотрудничества, духовной связи, разговора о главномъ и нужномъ между Парижемъ и заграницей еще нътъ. Что причиной этому?Случайное распредъление талантовъ? Не думаю. Талантъ, понятіе очень обобщенное, и вчто врод в наличія природной мускульной силы — «могъ бы поднять». не болъе. Мнъ кажется, отсутствіе воздуха. атмосферы современной поэзіи. т. е. средоточія остроты ощущеній, идей. - само по себъ для поэта губительно. Конечно, атмосфера не можетъ создать поэта изъ ничего; но поэтъ, ея лишенный, остается въ замкнутомъ кругу, гдъ

не съ чѣмъ сравнить свое, некого любить, некого ненавидѣть — литературныя же любви и ненависти — сложная лѣстница развитія данной индивидуальности.

Уединенный поэтъ, если по дарованью своему онъ не совершенно исключительное явленіе. въ одиночествъ труднъе находитъ себя, идетъ по ложному пути или, что еще хуже, слишкомъ упрощенно понимаетъ свои задачи. Арсеній Несмѣловъ, о книгъ котораго сейчасъ бупеть ръчь, находится именно въ такомъ положеніи. Онъ производить на меня впечатлъніе человъка одареннаго, кренняго. Одареннаго въ томъ смыслъ, какъ я говорилъ выше, мускульной силой; искренняго-въ смыслъ первичнаго побужденія, порыва сердца. Искренность же поэта — гораздо сложнъе: это способность не только, по первому побужденію, выражать то, что на душѣ, но умѣнье провърять то, что есть въ душѣ, т. е. разбираться въ себъ, додумывать до конца, искать правды въ своихъ переживаніяхъ, отдълять въ нихъ дъйствительно важное, отъ случайнаго и наноснаго, не своего. Искренность есть отказъ отъ насъ возвышающаго обмана. Лишь благодаря ей становится возможнымъ научиться выбирать слова, знать цъну внъшнему и внутреннему, - стихотворству и поэзіи. Мнѣ кажется, А. Несмъловъ не подозръваетъ о подобномъ искусъ. Поэзія для него — стихи. Онъ довольствуется всякимъ словомъ, всякимъ пріемомъ, внѣшне усвоеннымъ, отъ классиковъ до Есенина и Маяковскаго включительно. Въ смыслъ манеры письма онъ совстмъ еще въ молодомъ возрасть: пристрастіе къ эффектнымъ образамъ, подчеркнутая грубоватость (мы въдь воевали!), быющія въ глаза усъченныя рифмы — въ каждомъ

стихотвореніи. Но дѣло не только въ этомъ. Книга А. Несмѣлова, называется «Безъ Россіи». Она претендуетъ выражать и по мнѣнію автора — по своему онъ искрененъ, и выражаетъ его личную и нашу общую трагедію. Но какъ А. Несмѣловъ не чувствуетъ, что подобное обращеніе — къ Родинѣ на вы, при его добромъ намѣреніи, непростительно:

Пусть дней не мало вмѣстѣ пройдено, Но, вотъ, — не нуженъ я и чуждъ, Вѣдь вы же женщина, о Родина И слѣдовательно, къ чему жъ

Все то, что сердцемъ въ злобѣ брошено,

Что высказано сгоряча: Мы разстаемся по хорошему, Чтобъ никогда не докучать Другъ другу больше...

Гражданская война, бѣженская оторванность и безысходность, разрывъ поколѣній, тѣхъ, «что въ старой Польшѣ, вкапываясь въ глину, прицѣлами обшаривали даль» и отцовъ (выпадамъ противъ отцовъ, иногда находчивымъ, удѣлены и цѣлыя стихотворенія, напримѣръ «Русская Мысль» и отдѣльныя строчки), воспоминанія о прошломъ, немногочисленныя чисто - лирическія стихотворенія (почти ни одного любовнаго) — вотъ темы А. Несмѣлова.

Иногда онъ удачно находитъ нужный ритмъ, слова:

Ловкій ты и хитрый ты Остроглазый чертъ. Архалукъ твой вытертый О коня истертъ.

Но въ большинствъ случаевъ — это нарочитыя, грубоватыя строки вродъ:

Василій Васильичъ Казанцевъ. И огненно вспомнились мнѣ Усищъ протуберансы, Кожанка и цейсъ на ремнѣ. —

Много такихъ «военныхъ стиховъ» писалось въ годы гражданской войны и по ту и по эту сторону! Вотъ чисто лирическіе стихи:

Какъ въ агоніи вздрагиваетъ домъ, Какъ въ агоніи, съ каждымъ новымъ шкваломъ.

Звенитъ стекло, затянутое льдомъ, А вътеръ мчитъ, рыдая объ одномъ, О чемъ то сказочномъ и небываломъ.

А. Несмълову слъдовало бы серьезно поразмыслить о себъ, отказаться отъ в нутрення го благополучія, которое въ немъ явно присутствуетъ, несмотря на внъшнее крушенье и безысходность, ему нужно потерять свою душу, чтобы обръсти ее вновь и тогда, быть можетъ, онъ сумъетъ поэтически возвратиться къ своей темъ.

Ю. Терапіано.

Vaclav Bèhounek. Ruskà Literatura za pètiletku. Praha 1932.

Брошюра В. Бъгоунека интересна русскому читателю, главнымъ образомъ, какъ показательный образецъ воспріятія русскихъ литературныхъ (и не литературныхъ) фактовъ иностранцами, прямо или косвенно оріентирующимися на сегодняшнюю Москву.

Слѣдуетъ, прежде всего, отдать должное автору: онъ достаточно освѣдомленъ о мнѣніяхъ совѣтской «руководящей прессы» и, въ общемъ, ясно представляетъ топографію совѣтской литера-

турной страны. Значительно хуже то, что добросовъстно усвоенные авторомъ лозунги и директивы офиціально одобреннаго литературнаго курса лишили Бъгоунека смълости самостоятельнаго сужденія: казенный оптимизмъ утъшаетъ читателя не надолго.

Авторъ — марксистъ, онъ смотритъ сквозь партійныя очки, и авторитетъ вождей «генеральной линіи» для него превыше всего.

И читатель, имъ руководимый, познаетъ, что пятилътка, вызвавшая невиданный энтузіазмъ рабочихъ массъ, дала и литературъ заданіе «активнаго участія въ жизни», сдълала ее соучастницей въ соціалистическомъ строительствъ. Бъгло остановившись на развитіи идеологіи пролетарскаго литературнаго движенія («Кузница», «Октябрь», «Молодая Гвардія», «На посту», споры съ «Переваломъ», съ теоріями Воронскаго и Троцкаго, «Лефъ» и т. д.), авторъ упирается въ лозунги послѣднихъ лѣтъ: -- «за ленинскія литературныя теоріи», за партійность въ литературъ, за «великое искусство большевизма», за «магнитострой литературы». Въ изложеніи всей этой теоретической стороны русской литературной жизни авторъ ортодоксаленъ, ему и въ голову не приходитъ, что Воронскій, напримъръ, не можетъ быть и равняемъ съ какимъ-нибудь тов. Авербахомъ, что лозунги Кагановича не имъютъ ни малъйшаго положительнаго значенія для развитія искусства; — тъмъ не менъе съ этой частью брошюры еще можно мириться.

Но, когда авторъ переходитъ къ обзору собственно литературныхъ фактовъ, то здѣсь и обнаруживается основной изъянъ его разсужденій о современной русской литературѣ: голый раціонализмъ въ подходѣ къ лите-

ратурнымъ явленіямъ, нечуткость къ качественной сторонъ литературныхъ произведеній, неумъніе оцънить ихъ формальную и внутреннюю оправданность, утвержденную средствами литературной техники.

Такъ изъ всъхъ примъровъ, приведенныхъ авторомъ, о творчествъ «попутчиковъ» и «союзниковъ», только указаніе на «Соть» Л. Леонова, вещь исключительнаго удъльнаго въса, не должно быть оспариваемо. Но нельзя не признать, что и Маріэтта Шагинанъ со своими «Кик» и «Гидроцентралью», и М. Слонимскій съ серіей своихъ выхолощенныхъ книгъ («Лавровы», «Фома Клешневъ» и т. д.), приводимые, какъ «достиженія», ни въ какой степени не могутъ радовать внимательнаго читателя, Надо признаться, что и у Б. Пильняка «Волга впадаетъ въ Каспійское море» и у Всев. Иванова «Путешествіе въ страну, которой еще нътъ» — не лучшія изъ ихъ книгъ и наиболъе здъсь страницы тематически какъ-разъ связаны съ проблемами пятилътки.

Между прочимъ, невърно называетъ авторъ книгу Н. Тихонова «Война» — романомъ. Совершенно не оправдывается фактами утвержденіе автора, что «основной темой попутчиковъ было отношеніе интеллигенціи къ революціи»: и ранніе разсказы и «Барецкій» Леонова, и все начальное творчество Всев. Иванова и Зощенко, и многіе разсказы Б. Лавренева, Пант. Романова и т. д., ръзко тому противоръчатъ, лишній разъ указывая на недостаточную дифференціацію взятаго авторомъ матеріала.

Обозръніе творчества пролетарскихъ писательскихъ группъ ведется авторомъ патетически. Въ результатъ же у читателя можетъ создаться впечатлъніе, что пролетарская литература — все еще во-

просъ будущаго. И опять-таки характерно, что такія условно принимаемыя за «достиженія» вещи, какъ «Бруски» Панферова, ставятся авторомъ наравнѣ съ отличнымъ (первымъ томомъ) «Послѣдній изъ Удэге» А. Фадѣева, а «Тихій Донъ» Шолохова рядомъ съ такимъ сырьемъ и фальшью, какъ произведенія Та расова-Родіонова или Платошкина. Характерно, что авторъ не замѣтилъ «Іюнь іюль» А. Митрофанова (все же условную удачу) и неодобрительно отозвался о «Наслѣдникѣ» Л. Славина, одной изъ лучшихъ книгъ совѣтской беллетристики послѣдняго періода.

Во всякомъ случаѣ, если бы авторъ принялъ серьезно во вниманіе хотя-бы интересныя статьи А. Селивановскаго въ «Октябрѣ» на тему — «О ведущей оси пролетарской литературы» и очень по-казательный матеріалъ писательскихъ дискуссій 1931 года, о творческомъ методѣ литературы, выводы его были бы болѣе осторожными.

Можно не касаться замъчаній Бъгоунека о совътской поэзіи, о дъленіи пролетарской литературы на жанры и глубокомысленныхъ выводовъ о «логической неизбѣжности» полицейскаго отношенія къ искусству въ періодъ реконструкціи страны. Выводъ ясенъ: очеркъ его подслъповатъ и пристрастенъ. Къ счастью, у автора хватило духа (впрочемъ, послъ начавшейся въ 1931 году, эпохи новаго либерализма - смълости большой для этого и ненужно), признать, что «творчество» ударниковъ ни сейчасъ, ни въ будущемъ не можетъ повидимому, имъть съ литературой тъсной связи, что ударники, въ лучшемъ случав, дадутъ кадры газетныхъ работниковъ.

Брошюра заканчивается лирическимъ разсказомъ о исторіи гражданской войны и фабрикъ и заводовъ, создаваемыхъ коллективно, и о роли Горькаго. Въ заключительномъ абзацѣ, авторъ сообщаеть, ссылаясь на пессимистическіе прогнозы М. Л. Слонима, въ «Волѣ Россіи», о разложеніи эмигрантской литературы. Но, русскій читатель, оцѣнившій степень близорукости автора брошюры, можеть, вѣроятно, безъ большого риска, не повѣрить гражданину Бѣгоунеку и въ этомъ пунктѣ.

Н. А---въ.

Русская сказка. Избранные мастера.

Редакція и комментаріи М. Азадовскаго. Изд. «Академіа», 1931. (2 тома, 830 стр.).

Содержаніе этихъ двухъ томовъ — сказки, записанныя въ дореволюціонное время.

Это вовсе не чтеніе для дітей, хотя въ извъстной части сказками зачитывались и будутъ зачитываться дъти. Въ простоватой передачъ сказителей проскальзываетъ иногда нъчто отъ Декамерона, наивное безстыдство, но безъ всякаго оттънка порнографичности, такъ какъ въ немъ нътъ никакого смакованія, а лишь житейская обстоятельность, честная досказанность, даже съ оттънкомъ сдержанности. Для людей оторванныхъ отъ родины, быта, словотворчества — точная запись изустной передачи сказокъ драгоцѣнна, какъ переносящая въ живую, неизуродованную Россію. Сказки приведенныя въ изданіи «Академіа» главнымъ образомъ изъ тъхъ сборниковъ, которые не тронуты исправляющей рукой собирателей. Въ нихъ сохранены синтаксическія и діалектическія особенности ръчи, что передаетъ мъстный колоритъ и тонъ разсказчиковъ. Текстовая часть сопровождена рисунками, заимствованными изъ лубочныхъ изданій и народныхъ картинокъ, иллюстрирующихъ не сюжеты отдъльныхъ сказокъ, а образы живущіе въ сознаніи разсказчиковъ и слушателей.

Кром'в рисунковъ изданіе сопровождено фотографіями и біографическими свълъніями о тъхъ сказителяхъ и сказительницахъ, со словъ которыхъ записаны приведенныя сказки. Это очень оживляетъ книгу и переноситъ читателя въ ту среду, гдъ сказка существуетъ и развивается. пополняясь тъми бытовыми подробностями, которыми изукращиваетъ ее личность разсказчика. Въ наличности и обиліи такихъ вводныхъ деталей отличіе изланія «Акалеміа» отъ болъе раннихъ сборниковъ, подчищенныхъ и выхолошенныхъ подъ предлогомъ охраны основного текста (напр. Сборникъ Афанасьева). Между тъмъ текучесть и полвижность основного текста и создаетъ жизненную убъдительность сказки, отражая въ то же время быть и личность.

«Севодня видъла сонъ будто бы кто меня поцъловалъ до теперя въ устахъ, будто бы слеза его упала на щеку и до теперя горитъ».

«А солдать тъмъ временемъ пошолъ въ кабакъ, напилша пьянымъ и вывалялша въ грезъ и лежить себъ оретъ. Тъ услыхали его и видятъ лежить онъ весь въ грязъ. Шлежли съ кареты, оттерли его и посадили въ карету. Привежли во дворецъ...».

«Давай они ходить, искать, гаркать, кликать...»

«Вотъ молодая женщина сбоку жила. Попъ дворичка черезъ четыре отъ ней»..

«Внападку пить воду».

«Слетались оне, ети два богатыря, какъ изъ грозныхъ тучъ два могучіе

грома, такъ что у объхъ лошади присъли на задницы»...

«Потомъ ета королева блевала и сблевала етотъ пупокъ»...

«Вотъ припала къ душѣ ета нишшая»... И т. п.

Такъ какъ матеріалъ въ сборникахъ распредѣленъ не по отдѣльнымъ видамъ сказокъ, а по ихъ носителямъ, то и сборники являются не антологіей сказки, а антологіей мастеровъ русской сказки. Интересны поэтому краткія свѣдѣнія о сказителяхъ, какъ характеризующія самое изданіе. Сказки вошедшіе въ него записаны главнымъ образомъ со словъ слѣдующихъ лицъ:

Абрама Новопольцова, крестьянина села Помряськина, Ставропольскаго у. Самарской губ., веселаго балагура, основная манера котораго — рифмовка, распредъляющаяся на зачины и концовки сказокъ.

Бълозерскаго крестьянина Ильи Семенова, которому присущъ торжественный складъ ръчи.

Ефима Кокорина, «Чимы», слѣпого крестьянина села Кежмы, Енисейской губ.

Въ біографическихъ свъдъніяхъ о «Чимъ» приводится и вся картина, сопровождающая обычно повъствованіе сказочника: «Еле-еле горитъ своимъ Фитилькомъ крохотная лампочка безъ стекла, стоя на вбитой въ стѣну полочкŧ. Сизыя волны махорочнаго дыма, паръ отъ людскихъ тълъ и копоть дампсчки почти заволакиваютъ ея слабый свътъ. Тъсно набились въ небольшую избу взрослые и малые. Размякли и разопръли они сидя въ своей лопотъ (одеждѣ), подогрѣтые топившейся желѣзной печкой и близкимъ соприкосновеніемъ другъ къ другу. Иные изъ нихъ уже прикурнули и спятъ. Остальные съ не-

сказаннымъ вниманіемъ и жалнымъ любопытствомъ дослушиваютъ разсказъ о необычайныхъ приключеніяхъ сказочнаго героя, который для нихъ, дюдей съ примитивной мыслью и непосредственными чувствами, въ данное время является чуть ли не реальной личностью. а его похожденія — какъ бы осколками дъйствительности, но удивительной, заманчивой, привлекательной своей красочной обстановкой, трагизмомъ положенія дъйствующихъ лицъ, чудесными оживаніями и благопріятнымъ исхоломъ въ конечномъ результатъ. Болъе экспансивные, не могущіе владъть собственнымъ спокойствіемъ, то и дізло подавали реплики и вставляли свои комментарін въ особо по ихъ мнѣнію, поразительныхъ мъстахъ сказки. Да и самъ «Чима» въ одномъ случаѣ какъ краснорѣчивый «посказатель», въ другомъ, поддавшись невольно очарованію сказочнаго повъствованія, то дълалъ многозначительную паузу, запуская понюшку табаку въ свой носъ, заимствуя изъ своей или предупредительно предложенной состьдомъ тавлинки, то измънялъ интонацію голоса, изъ ровнаго повъствовательнаго тона переходилъ на мрачный или повышенный и живой, чтмъ производилъ неотразимое впечатлъніе на слушателей, психологію коихъ «Чима» изучилъ вполнъ». Онъ свободно дополнять сказку собственнымъ воображеніемъ, на основъ доступныхъ ему жизненныхъ положеній, достигая этимъ особенной убъдительности.

«Чима», конечно, не является исключеніемъ.

Сказки Парамона Богданова, крестьянина Бѣлозерскаго края, соединяютъ ска зочную обрядность съ яркимъ индивидуальнымъ мастерствомъ.

Антонъ Ломтевъ, шерстобитъ, Екате-

ринбургскаго уъзда, выдающійся сказочникъ, въ репертуаръ котораго преобладаетъ фантастика и волшебство.

Наталья Винокурова, б. прислуга, сибирская крестьянка. Въ ея сказкахъ отчетливо видны женское начало и психологическія детали. Затъмъ сборники даютъ рядъ солдатскихъ сказителей Аксаментова, Богданова, Краева. Приводятся наиболъе удобосказуемыя сказки порнографической сказительницы села Вирмы (на берегу Онежскаго залива) ---Дементьевой и «Купріянихи», крестьянки села Верейки, Воронежской губ., разбившей у себя подъ окнами цвътникъ и оттъняющей природу въ своихъ повъствованіяхъ. Симонъ Скобелинъ - таежникъ, потерявшій въ тайгъ ноги. Антонъ Кошкаревъ, крестьянинъ Тулуновскаго округа (около 300 верстъ отъ Иркутска) и наконецъ Егоръ Сороковниковъ, крест. села Малый Хобокъ въ Тункинской долинъ, около Байкала, близъ монгольской границы — сказители,оживляющіе своей памятью и воображеніемъ глушь и дичь, въ которой они живутъ.

Вступительная статья Азадовскаго, отбыла бы очень крывающая сборники, содержательна, если бы не была испорчена (очевидно въ силу неизбъжной необходимости), стремленіемъ автора соединить бытовыя детали сказокъ съ тъми соціальными сдвигами, какіе произошли въ Россіи. Впрочемъ, Азадовскій самъ приходитъ къ выводу, что «дать сколько нибудь полный, исчерпывающій отвътъ» на вопросъ о томъ, «въ какихъ формахъ» можетъ отразиться «въ сказкъ и ея поэтикъ вліяніе революціи - очень трудно». Даже больше. Онъ осторожно заключаетъ, что нъкоторые изслъдователи полагаютъ, что эта задача «пока еще преждевременна». «Чтобы въ сказкъ отразилось это вліяніе, основательно, нужно, чтобы новыя начала глубоко внъдрились въ массовый народный бытъ». Для насъ сказки, изд. «Академіа» тъмъ и цънны, что «новыя начала» въ нихъ еще не внъдрились. Азадовскій какъ бы утверждаетъ бытовую и психологическую самостоятельность народной толщи, нащедшую отраженіе въ неизмънности казалось бы текучей, подвижной и перемънчивой устной передачи — сказки.

Сборники «Академіа», будучи записью живой рѣчи, являются дополнительнымъ матеріаломъ къ сокровищницѣ русскаго языка — словарю и пословицамъ Даля. Издатель повидимому, такъ и смотрѣлъ на свою задачу, сопроводивъ изданіе краткимъ словаремъ мѣстныхъ рѣченій.

Ек. Бакунина.

#### Б. Николаевскій.

Исторія одного предателя. Террористы и политическая полиція. «Изд. «Петрополист». Берлинт.

Это не только біографія Азефа и не только, какъ говорится въ подзаголовкѣ, характеристика террористовъ и политической полиціи, — это ярко освѣщенный уголъ общественно - политической жизни Россіи вообще. Совершенно правъ авторъ, говоря въ предисловіи, что «роль Азефа въ обоихъ мірахъ (т. е. революціонномъ и полицейскомъ) была настолько значительна,
что, не понявъ ея, не прослѣдивъ во
всѣхъ деталяхъ, историкъ не сможетъ
понять многаго въ исторіи первой русской революціи.

Есть въ книгъ одна сторона, къ которой можно или слъдуетъ отнестись критически. Это отношение автора къ психо-

логическому анализу главнаго «героя» повъствованія— Азефа. Здъсь можно сдълать автору упрекъ въ слишкомъ упрощенномъ подходъ къ психологіи Азефа,

Такіе феномены, какъ двойственная жизнь, раздвоеніе личности, литературное двурушничество и т. п., еще ждутъ своего научнаго освъщенія.

Все это, однако, не умаляетъ достоинствъ книги, которую можно рекомендовать, не боясь, что читатель будетъ разочарованъ. Она читается съ неослабъвающимъ интересомъ.

Л. Теплиикій.

М. Алдановъ. «Земли, люди». Изд. «Слово». Берлинъ. 1932.

Недавно еще я слышаль: на одномъ литературномъ собраніи критикъ N, возмущенный успъхомъ книгъ Алданова у эмигрантской читающей публики, говорилъ: «какъ будто - бы никто не знаетъ, что это заимствованный жанръ». Въ качествъ первоисточника критикъ назвалъ какого то англійскаго автора. Я не читалъ этого автора. Можетъ быть, дъйствительно, Алдановъ ему подражаетъ, но можетъ быть англійскаго въ Алдановъ только та «первосортность», о которой онъ говоритъ, описывая Лондонъ: «здъсь все первосортно...».

На западъ, во Франціи напримъръ, культура публицистической беллетристики очень высока. По русски же хорошихъ книгъ этого жанра очень мало. Алдановъ начинаетъ почти на пустомъ мъстъ.

Почти всѣ главы этой книги я уже читалъ по газетамъ отдѣльными статьями. Но и во второй разъ перечитывалъ съ первоначальнымъ интересомъ. Вѣроятно, именно эта занимательность повѣство-

ванія и объясняєть успѣхь Алданова у широкаго читателя. Это дѣйствительно занимательное чтеніе. Занимательное и въ то же время грустное.

Въ предисловіи авторъ говоритъ: «Разумѣется, я не ставилъ себѣ цѣлью подводить какіе бы то ни было «итоги» нашей катастрофической эпохѣ. Выводы сдѣлаетъ, если захочетъ, самъ читатель».

Какіе же именно выводы можетъ сдѣлать читатель?

Въ описаніяхъ людей характерный для Алданова отказъ отъ ложнаго и лицемърнаго, преувеличенно мрачнаго или свѣтлаго освъщенія. Алдановъ сываетъ все какъ бы съ точки зръvмнаго и наблюдательнаго. « обыкновеннаго » человъка Къ жальнію, не всьмь это дано. Многіе дълаютъ видъ, что видятъ міръ какъ бы съ точки зрънія генія. (Русскіе, напричасто пишутъ съ точки зрвнія Достоевскаго, забывая, что одной узурпаціи пріемовъ вовсе еще не достаточно, чтобы дъйствительно причаститься этой точки зрънія и увидъть «бездны»). Возможно, что именно, благодаря этой честности и правдивости Алданова, люди, о которыхъ онъ разсказываетъ, щемъ мало похожи на великихъ людей Плутарха, и ихъ дъйствія часто кажутся почти сомнамбулическими.

Разсказывая объ импровизаціяхъ диктатуры Альфонса XIII, Алдановъ замѣчаетъ: симпровизаціи мы ей въ особую вину не поставимъ: быть можетъ, ужъ лучше импровизировать, чѣмъ, ничего не выдумывая, живя со дня на день, радостно и беззаботно вести міръ къ пропасти, какъ это сейчасъ на нашихъ глазахъ дѣпаютъ бездарные правители Европыъ. Въ устахъ человъка, безоговорочно защищающаго капиталистическій строй, эта фраза звучитъ знаменательно. (Зна-

менательно и то, что собственно мало хорошаго онъ видитъ въ этой буржуазной Европъ). Настоящій герой нашего времени — какой то господинъ Х., къ которому послъ войны перешелъ Ферней. Это «очень гордый человъкъ «заработалъ» во время войны огромное состояніе и на свои кровныя (именно кровныя) деньги пріобрълъ Ферней». Да и дъятельность банкировъ, правителей буржуазнаго общества, вызываетъ сомитнія: «если они и своего дъла не знаютъ, то что же они знаютъ и для чего они собственно нужны?» -спрашиваетъ Алдановъ. Или замъчаніе о томъ, что «въ числѣ тѣхъ «знаковъ» (по ходкому нынъ выраженію), подъ которыми живетъ міръ, есть и знакъ Устрика».

Можетъ быть самая грустная глава въ книгъ - это описаніе засъданій Лиги Націй. Все-таки, идея Лиги Націй одна изъ самыхъ высокихъ идей въ Европъ. По Алданову здъсь процвътаетъ культъ лицемърнаго пустословія и «надъ этимъ учрежденіемъ носится легкій запахъ казеннаго пирога». Но, замъчаетъ Алдановъ: «націи имъютъ ту Лигу, которой заслуживаютъ». Послъднія слова въ этой главъ и заключеніе всей книги -- сравненіе Лиги Націй съ дочерью Халдеевъ и цитата изъ Священнаго Писанія: «и будетъ бъдствіе на тебъ, отъ котораго ты не отмолишься, и постигнетъ тебя несчастье, отъ которато ты не откупишься, и внезапно придеть на тебя гибель, которой ты не предвилѣла».

Алдановъ, по настоящему, всѣмъ свонмъ «составомъ» ненавидитъ большевиковъ. Онъ защищаетъ противостоящій большевизму капиталистическій строй. Тѣмъ замѣчательнѣе, повторяю, даваемая имъ неприглядная картина этого строя подъ знакомъ Устрика, и подъ стукъ молотковъ банковскихъ банкротствъ «идущаго къ собакамъ».

Мнѣ кажется, именно здѣсь читатель дѣлаетъ самый «безвыходный» выводъ. Даже читателю, такъ же, какъ Алдановъ ненавидящему большевиковъ и для котораго дорога «священная Европа», образъ «буржуазнаго» міра сего дня кажется мало привлекательнымъ.

Алдановъ объясняетъ захватъ власти большевиками несчастной случайностью. Онъ пишетъ: «знаю, что безнадежно себя гублю въ глазахъ всѣхъ читателей и соціологовъ; но, по моему, недавними историческими событіями доказано, что любая шайка можетъ при случайно - благопріятной обстановкѣ, захватить государственную власть и годами ее удерживать при номощи террора, безъ всякой идеи, съ очень небольшой численно опорой въ народныхъ массахъ. Позднѣе профессора подыскиваютъ этому глубокія соціологическія основанія».

Я не соціологъ и готовъ согласиться съ Алдановымъ. Возможно, что большевики захватили власть благодаря несчастной случайности. Но не думаю, чтобы была случайной благопріятствовавшая и благопріятствующая имъ обстановка. «Физически» низшіе классы населенія въ современномъ обществъ стали сильнъе правящихъ. Правящіе классы могли бы остаться у власти, если бы они сохранили «качественное» превосходство. Но если, дъйствительно, Устрикъ образецъ соціальной доблести въ современно - буржуазномъ ея пониманіи, то трудно говорить о качественномъ превосходствъ. Съ того момента, когда низшіе классы начинаютъ все это понимать и создается благопріятная для большевизма обстановка, «души людей уходять оть капиталистическаго строя». Это выраженіе

Бунакову Алданову не нравится. Мысли Бунакова, что надо увести души отъ большевизма, однако, не предлагая имъ вмъсто коммунизма капиталистическаго строя, онъ считаетъ невърными и опасными, и самъ предлагаетъ строй именно капиталистическій, но въ то же время даетъ такой его образъ, что читатель можетъ сказать: «я издали глядълъ — смущеніемъ томимъ».

Въ заключеніе скажу, что книга «Земли, люди» написана съ тъмъ же блескомъ, что и предыдущія книги Алданова этого же жанра: «Портреты», «Современники». Алдановъ съ совершенствомъ владъетъ опредъленными механическими пріемами для достиженія эффектовъ. Ії fait de l'esprit. Нъкоторыя остроумныя его замъчанія мнъ нравятся, нъкоторыя не совсъмъ. Это дъло личнаго вкуса.

Разсказывая о Плаза Майоръ, Алдановъ говоритъ: «не мъщаетъ побывать на этой площади скептикамъ, совершенно отрицающимъ моральный прогрессъ человъчества (скептицизмъ въдь умъстенъ, какъ приправа, въ чистомъ видъ онъ нестерпимъ)».Одно изъ самыхъ глубокихъ высказанныхъ въ этой книгъ сужденій. Это близко къ той чрезвычайно существенной, мужественной и часто религіозной новой въръ въ прогрессъ. явно рождающейся сейчась въ нъкоторыхъ человъческихъ сердцахъ. русскихъ, особенно среди богословски настроенныхъ русскихъ, къ сожалънію встрѣчается теперь враждебное отношеніе къ прогрессу. «Вы върите въ прогрессъ, да вы отсталый человъкъ», часто миъ говорили съ презръніемъ.

Одно изъ главныхъ достоинствъ Алданова — отказъ отъ попытки вбить жизнь въ какую либо искусственную и произвольную, обязательно - симметричную схему. Его разсказъ поэтому кажет-

ся безформеннымъ, какъ бы распадающимся. Это скоръе фотографіи, чъмъ картина. Но мнъ кажется, что хорошая фотографія и болъе интересна и болъе документально - убъдительна, чъмъ плохая претенціозная картина.

Какъ во всѣхъ книгахъ Алданова — описаніе какъ бы машинальнаго лице-дъйства людей на фонъ «безсвязнаго и безтолковаго авантюрнаго романа исторіи». В. B— $i\ddot{u}$ .

Левъ Славинъ. Наслъдники.

Романъ. Издательство «Книга для всъхъ». Рига, 1931 г.

Это — стилизація записокъ нѣкоего Иванова, прямого потомка одноименнаго героя Чехова, изъ драмы того же названія, и, поскольку Ивановъ можетъ символизировать русскую интеллигенцію, непосредственнаго наслѣдника этого «ордена».

Авторъ разсказываетъ (отъ перваго лица) о судьбъ своего героя, соединивнаго въ себъ кровь русскаго интеллигента и еврейскаго негоціанта, графа Шабельскаго и Абрамсона.

Тема книги — судьба русской интеллигенціи. Поставленная въ романѣ по всѣмъ правиламъ литературнаго фокусничества, тема эта, однако, не раскрыта во всей ея трагической значительности: авторъ легкомысленъ и часто непочтителенъ съ серьезными вещами...

Повидимому, для «остраненія» бытового матеріала романа и, главное, для оправданія основного замысла (мемуары наслѣдника интеллигенціи) у автора въ повѣствованіи стиль сатирическій. Отсюда весь характеръ его разсказа: частое (умѣлое и удачное) шаржированіе, интонаціи мнимаго простодушія и откро-

венности. Отсюда изображение Россіи царской и революціонной, какъ паноптикума, собранія чудаковъ и уродовъ, жуликовъ и проходимцевъ, подлецовъ и юродивыхъ. Отсюда ироническій тонъ въ обстоятельномъ описаніи благополучнаго тыла, устойчиваго и анекдотическаго быта, опереточныхъ персонажей финала трехсотлътней россійской драмы. Отсюда смълый, почти гротескный тонъ (ошибочно принимаемый нъкоторыми за добросовъстный реализмъ) въ описаніи казармы и фронта, въ разсказахъ о революціонной буръ 1917 года и даже о «побъдителяхъ» октября. Отсюда - же очень интересная функція лирической темы въ романъ, исполняющей служебную роль — демонстрацію сдвиговъ въ настроеніи и міроощущеніи «наслѣдни-

И хотя художественно не цъльно показанъ процессъ, приводящій героя къ отреченію отъ наслѣдства — «благородныхъ страстей интеллигента - меланхолія ennui de vivre, гуманность, метанье отъ преферанса къ богоискательству, боязнь шаблона, въчное чувство виноватости, хожденіе въ народъ, иронія во что бы то ни стало, поза одиночества, интересничанье, чувство превосходства, постоянная страсть быть въ оппозиціи и всѣ ея стадіи — отъ брюзжанья до бомбометанья», хотя матеріалъ, особенно въ концъ книги, подавилъ всеже автора и разсказъ мъстами черезчуръ схематизированъ, — «Наслѣдникъ» долженъ быть занесенъ въ активъ совътской беллетристики.

Ник. Андреевъ.

Хрестоматія по исторіи русской литературы. Часть ІІ-ая. Складъ У. М. С. А. Парижъ, 1932 г.

Составилъ проф. И. Бицилли.

Вотъ «учебное пособіе», которое перелистываешь и читаешь, какъ увлекательную книгу. Разумфется, прежде всего матеріалъ говоритъ за себя и особенно, можетъ быть, для эмигранта, у котораго такъ ослаблена связь съ Россіей и которому такъ нужно въ душъ эту связь возстанавливать. Неподражаемый по дъловитой простотъ стиль писемъ, документовъ, записокъ, эта атмосфера теоретическихъ споровъ на литературныя темы, этотъ постепенный переходъ къ Карамзину съ его «Письмами русскаго путешественника» и «Бъдной Лизой», и посейчасъ оставшейся жемчужиной русской прозы, вся эта «радость узнаванья» въчнаго и безсмертнаго въ обветшалыхъ по формъ, но волнующихъ образцахъ, эти «сюрпризы» для не спеціалистовъ, изъ которыхъ многіе въроятно не знали или не помнили, кто и когда сочинилъ «Выду я на ръченьку» или «Стонетъ сизый голубочекъ» и наконецъ это дъйственное присутствіе составителя, скромно отошедшаго на залній планъ, но все оживляющаго вкусомъ въ подборъ вещей, въ устраненіи лишняго, въ сопровожденіи текста мѣткими и нужными поясненіями и справками. — таковы качества этого отличнаго сборника.  $H, \theta.$ 

С. Шишмаревъ. Тихонъ Тимофеевичъ и его практика.

Въ этой книгъ авторъ разсказываетъ о необычайныхъ дълахъ и «комбинаціяхъ» темнаго приволжскаго дъльца, процвътающаго въ провинціальной трясинъ

низости, невъжества и жадности. Разсказываемыя происшествія поистинъ необычайны; описываемый быть безпросвътенъ и страшенъ. На протяженіи всей книги ни одинъ изъ многочисленныхъ персонажей Шишмарева не только ни разу не проявляетъ признаковъ благородныхъ человъческихъ устремленій, но даже не бываетъ способенъ на элементарную честность. На аренъ книги сталкиваются только человъческія низости, дъйствующими лицами руководитъ только корысть, скучнъйшій изъ пороковъ. Тъ, кто оказывается сильнъй и хитръй, вырываютъ добычу у болъе слабыхъ. Побъжденнымъ невозможно сочувствовать; ихъ даже жалъть нельзя.

Книга написана богатымъ и красочнымъ языкомъ. Авторъ отлично знаетъ провинціальный бытъ Поволожья.

Александръ Браславскій.

#### Къ юбилею «Современных» Записокъ».

Выпускъ пятидесятой книжки «Современныхъ Записокъ» былъ отмъченъ всей эмиграціей, какъ событіе. Люди разныхъ направленій и взглядовъ привътствовали редакцію журнала. Слова: «праздникъ», «культурный подвигъ», «торжество», «патентъ на благородство» мелькали въ поздравленіяхъ письменныхъ и устныхъ.

Мы считаемъ пріятнымъ долгомъ присоединиться къ хору привътственныхъ голосовъ. Значеніе «Современныхъ Записокъ» въ духовной жизни эмиграціи безспорно. Заслуги журнала огромны.

Но привътствіе ръдко обходится безъ пожеланій.

Намъ хотълось бы пожелать «Современнымъ Запискамъ» больше отчетливости въ выборъ между творчествомъ культуры и ея охраненіемъ. Объ задачи одинаковы высоки, оба дъла одинаково насущны, — но «совмъстительство» въ этой области не удается никогда. Не безъ удивленія слышали мы въ послъднее время о томъ, что «Современныя Записки» претендуютъ на роль единственнаго журнала эмиграціи, — а слъдовательно

полагають, что справиться съ объими задачами имъ подъ силу. Опытъ пятидесяти книжекъ показываетъ обратное: дъло охраненія удалось самому долгольтнему изъ нашихъ толстыхъ журналовъ блестяще, дъло творчества — удалось въ меньшей степени.

Творчество всегда сопряжено съ рискомъ, — «кто не рискуетъ, не выигрываетъ», по старинной пословицѣ. Въ немъ неизбѣжны ошибки, которыя опрометчиво и несправедливо было бы приравнять къ недоразумѣніямъ. Въ игрѣ «Современныхъ Записокъ» никогда не было риска. Была только величайшая, всѣмъ явная «почтенность», несравненная «солидность», которая по временамъ пугала какъ будто бы самихъ редакторовъ. Новѣйшая русская литература создается большей частью внѣ «С. З.» и независимо отъ нихъ.

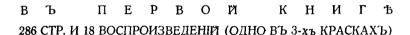
Единственное, поэтому, о чемъ надо было бы просить редакцію журнала: не считать себя вправѣ быть единственными... Это дало бы возможность привѣтствовать «Соврем. Записки» безъ всякихъ оговорокъ.

# YHCAA

« TCHISLA », 1, RUE JACQUES MAWAS, PARIS, XV.

РЕДАКТОРЪ: **Н. А. ОЦУПЪ.** СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦІИ: **Е. В. БАКУНИНА.** ПРЕЗИ-ДІУМЪ ИЗДАТЕЛЬСКАГО КОМИТЕТА: **Б. Ю. ПРЕГЕЛЬ и А. Ц. ЛИФШИЦЪ.** СЕКРЕТАРЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА: **А. КЛОДНИЦКАЯ.** ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТ-ВО: **«ДОМЪ КНИГИ»,** 9, RUE DE L'EPERON PARIS И PETROPOLIS VERLAG A. G. BERLIN.

Стоимость экземпляра на бумагъ "Альфа" — 25 франковъ.



ВЪ КНИГЪ ВТОРОЙ-ТРЕТЬЕЙ 336 СТР. И 26 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЙ (ДВА ВЪ 3-хъ КРАСКАХЪ)

В Ъ К Н И Г Ѣ Ч Е Т В Е Р Т О Й 288 СТР. И 20 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЙ (ОДНО ВЪ 4-хъ КРАСКАХЪ)

В Ъ К Н И Г Ѣ П Я Т О Й 302 СТР. И 24 ВОСПРОИЗВЕЛЕНІЯ (ОДНО ВЪ 4-хъ КРАСКАХЪ)

В Ъ К Н И Г Ѣ Ш Е С Т О Й 286 СТР. И 18 ВОСПРОИЗВЕДЕНІЙ

ОСТАЮЩЕСЯ ВЪ НЕБОЛЬШОМЪ КОЛИЧЕСТВЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЭТИХЪ КНИГЪ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У Е. В. БАКУНИНОЙ 4, RUE AUGUSTE BLANQUI GENTILLY (SEINE), FRANCE,

РЕДАКЦІЯ И КОНТОРА «ЧИСЕЛЪ» ОТКРЫТА ПО ЧЕТВЕРГАМЪ ОТЪ 6-7½ ч. 1, RUE JACQUES MAWAS, PARIS, XV° РУКОПИСИ И ПИСЬМА НАПРАВЛЯТЬ СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦІИ ЕК. ВАС. БАКУНИНОЙ: 4, RUE AUGUSTE BLANQUI GENTILLY (SEINE) FRANCE.

#### СОДЕРЖАНІЕ:

Николай Бълоцвътовъ	5
Михаилъ Горлинъ	6
Георгій Ивановъ	8
Лазарь Кельберинъ	10
Довидъ Кнутъ	12
Викторъ Мамченко	14
Николай Оцупъ	16
Софія Прегель	18
Владиміръ Смоленскій	20
Юрій Софіевъ	22
Юрій Терапіано	24
Игорь Чинновъ	26
An Ardonona "Timomo"	27
Ан. Алферовъ — "Дурачье"	
Ек. Бакунина — Тъло	34
А. Буровъ — Была земля	51
3. Гиппіусъ — Перламутровая трость	82
Ю. Фельзенъ — Письма о Лермонтовъ	125
А. Штейгеръ — Кирпичики	141
В. Яновскій — Разсказъ медика	149
Г. Адамовичъ — Комментаріи	153
П. Бицилли — Вънокъ на гробъ романа	166
Н. Оцупъ — Литературный дневникъ	174
1. Серебряный въкъ	
2. Климъ Самгинъ	
Г. Ивановъ — О новыхъ русскихъ людяхъ	184
Д. Мережковскій — Блаженства	195
The second of the second secon	100

Ю. Терапіано — Человъкъ 30-хъ годовъ	210
В. Вейдле — О Ренуаръ	213
А. Лурье — Пути русской школы	218
11. VI y p b c 11y111 pycokon mkonbi	210
Отвътъ нашимъ критикамъ	230
Г. Адамовичъ — Памяти Бодлера	232
Николай Оцупъ — Поэзія въ СССР	236
А. Формаковъ — Двѣ могилы	242
Залкиндъ-Аленина — Нъмецкіе писатели о совътской Россіи	247
А. — Споръ о Достоевскомъ.	251
Берлинская хроника:	
1. О Союзъ поэтовъ	251
2. Объ институтъ славистовъ	251
Литературныя собранія	252
Бабзе — Осенній Салонъ	252
<ul><li>H. О. Новая постановка Лифаря</li><li>В. В. Пикассо - Манэ</li></ul>	252
В. В. Пикассо - Манэ  Н. О. — О выставкъ Чапскаго	253
Фр. К у б к а — Письмо изъ Праги	254 256
В. В. — Роспись Медонской церкви	256
Э. Марковичъ — О фотографіи	257
Журналъ Бриджа	259
Въстникъ теннисной федераціи	259
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	200
П. Бицилли — П. Милюковъ. «Очерки по исторіи русской культуры»	260
А. Браславскій — А. Купринъ. «Юнкера»	263
В. Я новскій — М. Осоргинъ. «Свидътель исторіи»  В. Варшавскій — С. Горный. «Ранней весной»	264
В. В аршавскій — В. Сиринъ. «Подвигъ»	265 266
Ю. Терапіано — Ю. Фельзенъ. «Счастье»	267
Ю. Терапіано — Н. Берберова. «Повелительница»	269
Ек. Бакунина — В. Зензиновъ. « Le chemin de l'oubli »	270
Г. А. — А. Буровъ. «Была Земля»	272
Л. Червинская — А. Таль. «Клътчатое солнце»	272
В. В аршавскій — Маріенгофъ. «Бритый человѣкъ»	273
Н. — В. Третьяковъ. О латышскихъ поэтахъ	274
Н. О. — О варшавскихъ поэтахъ	275
Ю. Терапіано — Объ Арсеніи Несмъловъ	275
Н. Андреевъ — Вацл. Бъгоунекъ. «Русская литература за пятилътку»	277

Ек. Бакунина — «Русская сказка»	279
Л. Теплинкій — Б. Николаевскій. «Исторія одного предателя»	281
В. Вар шавскій — М. Алдановъ. «Земли, люди»	282
Н. Андреевъ — Левъ Славинъ. «Наслъдникъ»	284
Н. О. — П. Бицилли. Хрестоматія	285
л Браставскій — С. Шишмаревъ, «Тихонъ Тимофеевичъ и его	
практика	285
Къ юбилею «Современныхъ Записокъ»	287

#### ВОСПРОИЗВЕДЕНІЯ НА ОТДЪЛЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ.

Ренуаръ, Письмо. Ренуаръ, Купальщица. Манэ, Баръ. Манэ, Скверъ. Манэ, Кафэ-концертъ. Манэ, Ателье. Чапскій, Въмясной. Чапскій, Ложа. Мако. Мусатовъ. Фотографіи: Сергъй Лифарь; пейзажъ.

#### воспроизведенія въ текстъ.

Ренуаръ, Декоративное панно. Ренуаръ, **Служанка.** Роспись медонской церкви. Фотографіи: Лифарь; натюръ-мортъ.

#### МАТЕРІАЛЪ ДЛЯ ДЕВЯТОЙ КНИГИ.

На слюдующую книгу «Чиселъ» перенесены: «Психологія жалости» С. Горнаго, «О Гете» М. Кантора, «Культура слова, какъ культура лжи» Г. Ландау, «Балъ» Б. Поплавскаго.

#### издательство «ПЕТРОПОЛИСЬ» Берлинь

#### БЕЛЛЕТРИСТИКА:

	Долл.
М. Зощенко. Веселое приключеніе.	0.30
М. Зощенко. Воспоминанія о Ми-	
шелѣ Синягинѣ	0.36
М. Зощенко. Семейный купоросъ.	0.35
В. Инберъ. Мъсто подъ солнцемъ.	0.60
В. Крымовъ. Люди въ паутинъ	1.75
В. Крымовъ. Барбадосы и Кара-	
касы	1.25
А. Маріенгофъ. Бритый человъкъ.	0.60
А. Маріенгофъ. Циники	0.60
Н. Никитинъ. Полетъ	0.48
Н. Никитинъ. Шпіонъ	1.—
Памяти Маяковскаго. Сборникъ	0.40
Б. Пильнякъ. Красное дерево	0.40
Б. Пильнякъ. Штоссъ въ жизнь	0.40
С. Розенфельдъ. Гибель	1.—
П. Романовъ. Новая скрижаль	1.—
Современные польскіе поэты	1.—
А. Сытинъ. Пастухъ племенъ	0.90
А. Толстой. Черное золото	1.—
А. Толстой, Петръ I	1.75
А. Толстой. Восемнадцатый годъ	1.75
Ю. Тыняновъ. Кюхля	1.20
Ю. Тыняновъ. Смерть Вазиръ -	
. Мухтара	1.75
Мухтара	2—. 1.—
Д. Фибихъ. Угаръ	1.—
Д. Четвериковъ. Бунтъ инж. Ка-	
ринскаго	0.60
И. Эренбургъ. Бурная жизнь Ла-	_
зика Ройтшванеца	1.—
И. Эренбургъ. Виза времени	1.75
И. Эренбургъ. Единый фронтъ	1.75
И. Эренбургъ. Заговоръ равныхъ.	0.48
И. Эренбургъ. Любовь Жанны Ней	1.—
И. Эренбургъ. Хуліо Хуренито	1.—
И. Эренбургъ. Фабрика сновъ	1.50
И. Эренбургъ. 10 лошадин. силъ	1

### PETROPOLIS - VERLAG

Meinekestrasse 19. - BERLIN. W .15

#### Д. С. МЕРЕЖКОВСКІЙ

Т. І. Русская библіотека, Бълградъ.

## Іисусъ

#### **Неизвъстный**

неизвъстное евангеліе

1. Былъ ли Христосъ. 2. Неизвъстное Евангеліе... 5. По ту сторону Евангелія.

жизнь іисуса неизвъстнаго

1. Какъ Онъ родился. 2. Утаенная жизнь.. 9. Его лицо (въ исторіи). 10 Его лицо (въ Евангеліи).

#### Седьмая-восьмая

книга

# "чиселъ"

продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ

м. слонимъ

# Портреты совѣтскихъ писателей

(Есенинъ, Маяковскій, Пастернакъ Замятинъ, Вс. Ивановъ и др.) Изд-во «Парабола — Домъ Книги».

#### книжное дъло "домъ книги", парижъ

#### новинки нашего склада:

	Долл.
М. Алдановъ. Земли, люди	1.50
Н. Берберова. Повелительница. Романъ	0.96
С. Бердяевъ. Чечня и разбойникъ Зелимханъ	0.30
Г. Газдановъ Великій музыкантъ. Повъсть	0.30
С. Горный. Ранней весной	1.20
Р. Гуль. Красный маршаль - Тухачевскій	0.90
Пятнадцать лъть совътскаго строительства. Сборникъ	0.30
В. Ракинтъ. Бриджъ. Введеніе въ игру	0.50
П. Савицкій. Мъсторазвитіе русской промышленности	0.80
Статьи и матеріалы. Изъ чтеній въ кружкъ любителей русской	
старины въ Берлинъ	1.20
А. Стеффенъ. Паденіе Антихриста. Съ пред. автора	0.36
А. Таль. Клътчатое солнце. Романъ	0.80
Л. Троцкій. Исторія октябрьской революціи. 2 т. т	4.50
В. Уперовъ. Реклама. Сущность, значеніе, средства	1.20
«Утвежденія». Книга 3-ья	0.30
Ю. Фельзенъ. Счастье. Романъ	1
М. Цетлинъ. Декабристы (въ печати)	-
«Числа». Литературно - художествен. сборникъ. Книга 7/8	1.—
С. Шишмаревъ. Тихонъ Тимофъичъ и его практика	0.80
И. Эренбургъ. Испанія	1
И. Эренбургъ. Москва слезамъ не въритъ. Романъ	1.—
Е. Айсбергъ. Радіотехника. Съ 173 схемами	1.50
Е. Айсбергъ. Теперь я понялъ радіо	1.50
Проф. В. Пересвътъ - Солтанъ. Архитектурныя формы и стили	1.00
всъхъ временъ (съ проектированіемъ)	1.05

на складъ всъ русскія изданія вышедшія за рубежомъ.

<sup>&</sup>quot;MAISON DU LIVRE ÉTRANGER", 9, RUE DE L'ÉPERON, PARIS (6')

# ЧИСЛА

#### СБОРНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ФИЛОСОФІИ:

Адресъ Редакціи: 1, rue Jacques-Mawas, Paris XV<sup>e</sup>.

Въ вышедшихъ книгахъ "Чиселъ" напечатали оригинальныя произведенія и отвъты наанкетуслъдующіе авторы:

ГЕОРГІМ АДАМОВИЧЪ, М. А. АЛДАНОВЪ, АН. АЛФЕРОВЪ, ВАДИМЪ АНДРЕЕВЪ, ЕК. БАКУНИНА, А. БАХРАХЪ, Н. БАХТИНЪ, М. Ю. БЕНЕДИКТОВЪ, А. ЕВЪ, ЕК, БАКУНИНА, А. БАХРАХЪ, Н. БАХТИНЪ, М. Ю. БЕНЕДИКТОВЪ, А. БЕРЛИНЪ, П. М. БИЦИЛЛИ, Р. БЛОХЪ, ГР. П. БОБРИНСКОЙ, БОРИСЪ БОЖНЕВЪ, А. БРАСЛАВСКІЙ, И. А. БУНИНЪ, А. П. БУРОВЪ, В. ВАРШАВСКІЙ, В. В. ВЕЙДЛЕ, А. ВЕРИНГЪ, Ю. ВОЛИНЪ, КН. С. ВОЛКОНСКІЙ, З. Н. ГИППІГУСЪ, И. ГОЛЕНИЩЕВЪ-КУТУЗОВЪ, М. ГОРЛИНЪ, СЕРГЪЙ ГОРНЫЙ, М. ГОТЬЕ, М. ДУБИНСКІЙ, О.ДЫМОВЪ, ВАЛЬДЕМАРЪ ЖОРЖЪ, Б.К. ЗАЙЦЕВЪ, Б. ЗАКОВИЧЪ, ЗАЛКИНДЪ-АЛЕНИНА, ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ, М. Л. КАНТОРЪ, ДІАНА КАРЕНЪ, Л. КЕЛЬБЕРИНЪ, Д. КНУТЪ, А. КОРАЛЬНИКЪ, АНТОНЪ КРАЙНІЙ, Л. КРЕСТОВСКАЯ, ФР. КУБКА, АНТОНИНЪ ЛАДИНСКІЙ, РЕНЭ ЛАЛУ, ГРИГОРІЙ ЛАНЛАУ ИВАНЪ. ЛУКАШЪ А. ЛУРЬЕ В. МАМЧЕНКО. Ю. МАНЛЕЛЬШТАМЪ ДАУ, ИВАНЪ ЛУКАШЪ, А. ЛУРЬЕ, В. МАМЧЕНКО, Ю. МАНДЕЛЬШТАМЪ, И. В. ДЕ МАНЦІАРЛИ, А. МАРАКУЕВЪ, Э. МАРКОВИЧЪ, Л. МАРТЭНЪ-ШОФЬЕ, Д. С. МЕРЕЖКОВСКІЙ, Н. МИЛЛІОТТИ, П. Н. МИЛЮКОВЪ, К. В. МОЧУЛЬСКІЙ, Д. С. МЕРЕЖКОВСКІЙ, Н. МИЛЛІОТИ, П. Н. МИЛЛОКОВ Б. К. В. МОЧУЛЬСКІЙ, Н. Д. НАБОКОВЪ, ИРИНА ОДОЕВЦЕВА, В. ОКСЪ, М. А. ОСОРГИНЪ, НИКОЛАЙ ОЦУПЪ, А. ПЕНЕРДЖИ, Р. ПИКЕЛЬНЫЙ, ПЕТРЪ ПИЛЪСКІЙ, ПАЛИСАДІЕВЪ, БОРИСЪ ПОПЛАВСКІЙ, СОФІЯ ПРЕГЕЛЬ, Г. РАЕВСКІЙ, Р. РЕЖАНЪ, А. РЕМИЗОВЪ, АНДРЭ ДЕ РИДЕРЪ, В. САВИНКОВЪ, Ю. Л. САЗОНОВА, В. СИРИНЪ, М. Л. СЛОНИМЪ, В. СМОЛЕНСКІЙ, Б. СОСИНСКІЙ, ЮРІЙ СОФІЕВЪ, К. СЮА-М. Л. СЛОНИМЪ, В. СМОЛЕНСКІИ, Б. СОСИНСКІИ, ЮРІИ СОФІЕВЪ, К. СЮА-РЕСЪ, В. ТАТАРИНОВЪ, Л. ТЕПЛИЦКІЙ, Ю. ТЕРАПІАНО, В. ТРЕТЬЯКОВЪ, Н. А. ТЭФФИ, Г. П. ФЕДОТОВЪ, ЮРІЙ ФЕЛЬЗЕНЪ, Г. ФЕРСТЕРЪ, П. ФИРЕНСЪ, А. ФОРМАКОВЪ, С. ФРАНКЪ, АЛ. ХОЛЧЕВЪ, М. О. ЦЕТЛИНЪ, МАРИНА ЦВЪ-ТАЕВА, Л. ЧЕРВИНСКАЯ, ИГ. ЧИННОВЪ, СЕРГЪЙ ШАРШУНЪ, А. ШВЫРОВЪ, ЛЕВЪ ШЕСТОВЪ, И. С. ШМЕЛЕВЪ, А. ШТЕЙГЕРЪ, В. ЯНОВСКІЙ И ДР. ХУДОЖНИКИ: АНДРУСОВЪ, АРАПОВЪ, БЛЮМЪ, ВЛАМЭНКЪ, ГОЗІАССОНЪ,

художники: Андрусов Б, Арапов Б, Блюм Б, Вламэнк Б, Тозгассон Б, Гончарова, В. Готье, Делакруа, Добринскій, Домье, Дюфи, левъ Закъ, инденбаумъ, ланской, ларіоновъ, липшицъ, лучанскій, люрса, манэ, мако, милліотти, минчинъ, мусатовъ, де пизисъ, пикельный, писсарро, ренуаръ сутинъ, сюрважъ, терешковичъ, тишлеръ, чапскій, шагалъ, шилтянъ, яковлевъ, цадкинъ.